П. В. ЗАСОДИМСКИЙ

ХРОНИКА СЕЛА СМУРИНА

R.S

П. В. ЗАСОДИМСКИЙ

ХРОНИКА СЕЛА СМУРИНА

АРХАНГЕЛЬСК
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1986

Р1
З—36

Составление, вступительная статья и примечания кандидата филологических наук О. В. Шеляпиной.

Текст печатается по изданиям:
П. В. Засодимский. Хроника села Смурина. Роман. — М.: ГИХЛ, 1959.
П. В. Засодимский. Из воспоминаний. М., 1908.

Засодимский П. В.
З—36 Хроника села Смурина: Роман; Из воспоминаний /[Сост., вступ. ст. и примеч. О. В. Шеляпиной]. — Архангельск; Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1986. — 350 с., 1 л. портр.

Книгу П. В. Засодимского составили роман «Хроника села Смурина» о жизни русского крестьянства второй половины XIX века, а также три отрывка из воспоминаний писателя: о его работе в сельской школе, о встречах с замечательными людьми — Н. А. Некрасовым и М. Е. Салтыковым-Щедриным.

З $\frac{4702010100}{М157(03)—86}$ 25—86

Р1+8Р1
ББК 84Р1+83.3Р1

БОРЕЦ ЗА НАРОДНОЕ СЧАСТЬЕ

> Человек, живущий лишь для себя, никогда не может чувствовать себя удовлетворенным. Только в борьбе за общечеловеческое дело можно найти счастье.
>
> П. В. Засодимский

Павел Владимирович Засодимский отдал русской литературе сорок пять лет своей жизни. Деятельность его как писателя началась в конце 1860-х годов, когда «Россия сохи и цепа, водяной мельницы и ручного ткацкого станка стала быстро превращаться в Россию плуга и молотилки, паровой мельницы и парового ткацкого станка»[1]. Революционный подъем 1859—1861 годов сменился жестокой правительственной реакцией. Однако передовая общественная мысль в стране не была подавлена. Продолжателями идей революционных демократов выступили в 70—80-е годы народники. П. В. Засодимский называл народников «народолюбцами», находившимися «в близком духовном родстве с лучшими людьми шестидесятых годов». К числу «народолюбцев» принадлежал и он сам.

Творчество Засодимского мало известно современному читателю. Из его многочисленных произведений в советское время переиздавались лишь «Хроника села Смурина» да несколько рассказов. Между тем он написал большое количество романов и повестей, запечатлевших российскую действительность пореформенной поры. Его перу принадлежат сочинения для детей, статьи и очерки на разнообразные темы, воспоминания, исторические произведения, переводы, стихи. Много сил отдал писатель журналистике, просветительской работе, народному образованию. Он всегда был в гуще общественной и литературной жизни. В круг его знакомых входи-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, с. 597—598.

ли Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, В. М. Гаршин. Близкими друзьями Засодимского были публицисты Н. В. Шелгунов, С. Н. Кривенко, Н. К. Михайловский, писатели А. И. Левитов, Н. Ф. Бажин, А. И. Эртель, И. В. Федоров (Омулевский), Г. И. Успенский, Н. Н. Златовратский. Он переписывался с Л. Н. Толстым, знал Д. Н. Мамина-Сибиряка и И. А. Бунина, печатался в одном журнале с В. И. Лениным. Связанный с движением революционных народников, он участвовал в «хождении в народ», сотрудничал в нелегальной печати. Произведения его подвергались цензурным преследованиям, а сам он за выступление на похоронах Н. В. Шелгунова (1891 г.) был выслан из Петербурга и много лет находился под надзором полиции.

А. М. Горький, размышляя о судьбах русской литературы, писал: «Хотелось бы мне поговорить... о русской литературе в прошлом ее, где... так называемые... «второ- и третьестепенные писатели» были велики своим честным отношением к судьбам родины, к жизни народа, к литературе — святому делу их жизни[2]. Эти слова Горького обязывают нас с большим вниманием отнестись к творческой и общественной деятельности Павла Владимировича Засодимского.

1

Биография Засодимского, типичная для разночинца-народника, объясняет многие черты его писательского облика. Предки Засодимского и по отцовской, и по материнской линиям были коренными вологжанами. Сама фамилия Засодимский происходит от названия речки Содимы, протекающей недалеко от города Кадникова. За ней находилась Ильинская церковь, в которой служил дьячком прадед писателя Андрей Ильинский[3]. Сын Андрея Ильинского Михаил носил уже фамилию Засодимский. Это был замечательный для своего времени человек. Окончив Вологодскую духовную семинарию, он, подобно Ломоносову, пешком отправился в Москву и был принят в Славяно-греко-латинскую академию. По окончании академии он «вступил в императорский Московский университет студентом, где обучался у разных профессоров элоквенции, истории и математике»[4]. Возвратившись в Вологду, М. А. Засодимский преподавал в местной духовной семинарии, служил в губернском магистрате и одновременно занимался литературным творчеством:

[2] Горький А. М. Письмо к Н. Д. Телешову. — В кн.: Телешов Н. Записки писателя. М.: Московский рабочий, 1958, с. 109.

[3] Государственный архив Вологодской области (далее: ГАВО), ф. 1063, оп. 1, д. 13. Церковь называлась Ильинской или Ильинско-Засодимской.

[4] ГАВО, ф. 833, оп. 1, д. 707, л. 3—4.

писал в прозе и в стихах. Павел Владимирович гордился своим дедом и считал, что «любовь к литературе и склонность к писательству» у него от деда по отцу.

По материнской линии Засодимский происходил из старинного дворянского рода Засецких, с давних пор обосновавшегося на вологодской земле. В алфавитном списке помещиков Вологодской губернии первой трети XIX века числилось до двух десятков дворянских семей Засецких. Среди них дед П. В. Засодимского, Павел Михайлович, морской офицер в отставке, владелец богатой усадьбы Фоминское, в пятнадцати километрах от Вологды[5]. В детские и юношеские годы Павлуша Засодимский часто бывал у своего деда. Позднее он подробно рассказал об этом в своих воспоминаниях. Младшая из дочерей П. М. Засецкого, Екатерина, вышла замуж за небогатого чиновника Владимира Михайловича Засодимского. В последние годы своей службы отец будущего писателя, получивший к этому времени чин надворного советника, был окружным начальником по министерству государственных имуществ в городе Никольске Вологодской губернии[6]. Вместе с женой они часто бывали в старинном русском городе Великом Устюге. Здесь 1 (13) ноября 1843 года родился у них сын Павел.

Раннее детство Засодимского прошло в уездном городке Никольске, затерявшемся среди северных лесов. Это была самая безоблачная пора его жизни. В семье росло три дочери и два сына, Павел был младшим[7]. Окруженный лаской нежно любящих его матери и няни, он чувствовал себя вполне счастливым. Особенно благотворным было влияние матери, женщины редкой душевной красоты, целиком отдавшей себя семье, воспитанию детей. Добрая от природы, Екатерина Павловна прививала детям гуманные чувства — любовь к природе, сострадание к бедным. Она же научила сына читать и писать. Под ее влиянием он пристрастился к книгам. Чтение стало его любимым занятием.

«Я зарывался в книги, создавал свой особенный мир и жил в нем и чувствовал себя отлично», — вспоминал позднее Засодимский. Читал он все, что было в библиотеке отца: «Жизнеописания великих людей древности» Плутарха, «Робинзона Крузо», романы Вальтера Скотта, «Историю Наполеона I», сочинения Державина, Пушкина, Гоголя. Под влиянием прочитанного возникло желание сочинять самому.

Видя способности сына, Екатерина Павловна стала готовить его в гимназию. В феврале 1856 года он поступил в дворянский пан-

---

[5] ГАВО, ф. 32, оп. 1, д. 56, л. 134—146.

[6] Центральный Государственный Исторический архив (далее: ЦГИА), ф. 1349, оп. 4, д. 474, л. 194—195.

[7] ЦГИА, ф. 1349, оп. 4, д. 474, л. 192.

сион при Вологодской гимназии «своекоштным воспитанником» и пробыл в нем семь лет.

В гимназические годы, совпавшие с бурной эпохой 60-х годов, Засодимский по-настоящему приобщился к передовой русской литературе, выработал в себе художественный вкус. В этом была огромная заслуга учителя русской словесности Н. П. Левицкого.

До конца жизни помнил Засодимский вечерние «беседы», которые устраивал любимый учитель для гимназистов старших классов. На них обсуждались сочинения новых и старых авторов, велись задушевные разговоры о жизни, о литературе. Большой интерес вызвали романы Тургенева («его Лаврецкий, Рудин, Базаров захватывали за живое и кружили головы») и сочинения Герцена. «Позже наряду с Герценом сильное влияние оказали на мое умственное развитие и на склад моих убеждений Чернышевский и Добролюбов»[8], — писал Засодимский.

Среди его любимых учителей был и учитель истории Н. Я. Соболев. Человек увлеченный («одними учебниками не ограничивался»), отличный педагог, передовой по своим взглядам (в начале 60-х годов он примыкал к революционной организации «Земля и воля», идейным руководителем которой был Н. Г. Чернышевский)[9], он быстро завоевал симпатии гимназистов и имел на них большое влияние.

Когда Засодимский вышел из гимназии, ему было девятнадцать лет. Родители к этому времени совсем разорились, и отец советовал сыну остаться в Вологде и стать чиновником. Но Павел Владимирович решил избрать для себя иной путь. «Идти в чинуши? Ни за что!» В университет — вот куда стремились его думы и мечты. И он отправился в Петербург.

Поступив вольнослушателем на юридический факультет, Засодимский погрузился в изучение философии и общественных наук, увлекся историей, «особенно той частью истории, где трактовалось о народных движениях и государственных переворотах»[10]. Все свободное время он проводил в библиотеке Академии наук. Но средств к существованию не было, и через год с небольшим университет пришлось оставить и поехать в провинцию в качестве домашнего учителя.

Возвратившись в Петербург, Засодимский, как в свое время Н. А. Некрасов, жил случайным заработком и «сильно бедствовал, голодал по целым неделям, пробавляясь чаем с ржаным хле-

---

[8] Автобиографическая заметка П. В. Засодимского. — Голос минувшего. 1913, № 5, с. 146.

[9] Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. ГИХЛ, 1958, с. 304.

[10] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (далее: ИРЛИ), ф. 93, оп. 3, д. 529, л. 1.

бом». В эту тяжелую для себя пору он обратился к литературе. Начал он с публицистики. Первым выступлением в печати было письмо Засодимского в защиту болгарского народа («Голос», 1867, 20 июля). В нем с присущей молодому человеку страстностью он призывал русских граждан помочь угнетенному народу, страдавшему от турецкого владычества.

2

Серьезную литературную работу Засодимский начал в журнале «Дело», во главе которого стоял бывший редактор «Русского слова» Г. Е. Благосветлов, талантливый журналист, в прошлом один из активных членов организации «Земля и воля».

Период сотрудничества в журнале «Дело» (1868—1872) — важный этап в творческом пути Засодимского, когда он, попав в литературную среду, твердо решил стать профессиональным писателем. Общение с такими людьми, как Г. Е. Благосветлов, Н. Ф. Бажин, А. П. Щапов, Д. Д. Минаев и другие, стало серьезной школой для начинающего литератора, содействовавшей укреплению его демократических взглядов.

С апреля 1868 по октябрь 1869 года П. В. Засодимский жил в родной Вологде. Здесь он познакомился с сосланными сюда сотрудниками «Дела» Н. В. Шелгуновым и В. В. Берви-Флеровским. Знакомство с Шелгуновым быстро переросло в дружбу, которая продолжалась многие годы. В знак глубокого уважения Засодимский посвятил Н. В. Шелгунову повесть «Темные силы», задуманную в Вологде.

Большую роль в дальнейшей судьбе Засодимского сыграло сближение с писателем И. В. Федоровым (Омулевским) и публицистом С. Н. Кривенко. По словам писателя, они были очень симпатичны ему «как люди честные, даровитые, идейные», близкие ему по убеждениям. В квартире у Омулевского в Петербурге 1 января 1870 года Засодимский встретился со своей будущей женой, Александрой Николаевной Богдановой, ставшей ему верным другом и единомышленницей на всю жизнь. С. Н. Кривенко старался привлечь Павла Владимировича к общественной деятельности: благодаря ему состоялось первое публичное выступление писателя на съезде фабрикантов, заводчиков и техников в июне 1870 года в Петербурге. В речи Засодимского на съезде были высказаны очень смелые мысли о необходимости улучшения положения рабочих: об увеличении заработной платы, об уменьшении числа рабочих часов, о праве проведения стачек и собраний. Это — требования, которые выдвигал пролетариат в период революции 1905 года, то есть спустя 35 лет [11].

---

[11] Засодимский П. Из воспоминаний, с. 221.

Творчество Засодимского раннего периода развивалось в русле демократической беллетристики 60-х годов. В решении социальных вопросов он выступал как демократ-просветитель. Видя резкие социальные контрасты как в городе, так и в деревне, он критиковал господствующие классы, все его симпатии были на стороне честных тружеников, живущих «впрохолодь и впроголодь».

В повести «Темные силы» (1870) правдиво показано бедственное положение городских ремесленников в условиях капитализма. Важно отметить, что создавалась она на вологодском материале. «Эту повесть я задумал еще в 1869 году, живя в Вологде, — писал Засодимский, — и тогда же сделал ее первые наброски под влиянием бесед с Шелгуновым и окружающей меня пьяненькой, несчастной голытьбы — столяров, портных, сапожников и всякого рабочего люда»[12].

В раннем творчестве Засодимского намечается и крестьянская тема (повесть «Волчиха», статьи «Одно из крестьянских зол» и «Хлебная житница»), но пока еще не является главной. В скором времени она целиком захватит писателя.

В начале 70-х годов в России начинает развертываться движение революционных народников. П. В. Засодимский не остался в стороне от этого движения. Огромное впечатление произвела на него встреча с П. Л. Лавровым, автором знаменитой книги «Исторические письма». Писателю оказалась очень близкой идея Лаврова о том, что интеллигенция в долгу перед народом и должна «идти в народ», чтобы помочь ему. В 1870 году Павел Владимирович познакомился с земляками-вологжанами Ф. Н. Лермонтовым и М. В. Купреяновым, входившими в «Большое общество пропаганды» (кружок «чайковцев») и с профессиональной революционеркой С. А. Лешерн, которая предложила Засодимскому поехать в Новгородскую губернию сельским учителем. Энтузиазм, охвативший передовую молодежь в эпоху расцвета «действенного народничества»[13], увлек и Засодимского: осенью 1872 года он уезжает в село Большие Меглецы Боровичского уезда и становится учителем в школе, открытой революционеркой Лешерн.

В роли сельского учителя писатель пробыл недолго, всего около двух с половиной месяцев, так как в этой должности власти его не утвердили. Но за столь короткий срок он успел сделать многое: кроме занятий с крестьянскими детьми, обучал грамоте взрослых крестьян, писал для них письма, читал вслух книги и газеты, грамотным выдавал литературу из школьной библиотеки, участвовал в крестьянских сходках и в результате очень близко сошелся с местным населением.

---

[12] ИРЛИ, ф. 93, оп. 3, д. 529, л. 2.
[13] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 304.

3

В это же время Засодимский начал писать свой первый роман из крестьянской жизни «Хроника села Смурина» (первоначальное название «Печать антихриста»). Роман принес ему славу как писателю и стал его Главной книгой. Работал он над ней с увлечением в течение полутора лет, в апреле 1874 года рукопись его была закончена и передана в самый передовой журнал того времени «Отечественные записки», возглавляемый Н. А. Некрасовым и М. Е. Салтыковым-Щедриным.

Обращение к жанру романа не было характерным для писателей-народников, в их творчестве преобладали малые жанры — очерки, рассказы, сцены. П. В. Засодимский создал первый роман из крестьянской жизни, в котором дана широкая картина пореформенной деревни. В основе его сюжета острый социальный конфликт: борьба крестьянской бедноты с кулаками.

В. И. Ленин, характеризуя реформу 1861 года, отмечал, что «...падение крепостного права встряхнуло весь народ, разбудило его от векового сна, научило его самого искать выхода, самого вести борьбу за полную свободу»[14]. Именно это явление тонко уловил Засодимский и воплотил в своем романе в образе крестьянского вожака Дмитрия Кряжева.

Когда «Хроника села Смурина» вышла в свет, критики стали упрекать автора в надуманности образа этого героя, созданного якобы по книжным образцам. В ответ на упреки критиков Засодимский писал, что Кряжева он не выдумал: «...мой Кряжев — ни кто иной, как крестьянин Псковской губернии Максим Бурунов, в начале 70-х годов обвинявшийся в политическом преступлении...»[15].

Нам удалось разыскать материалы указанного судебного разбирательства. Дело крестьянина Бурунова, обвиняемого «в подстрекательстве крестьян к неповиновению местным властям, в распространении ложных слухов о неплатеже податей и оскорблении волостного старшины словами», слушалось в октябре 1871 года в Великолуцком окружном суде Псковской губернии»[16].

Личность Бурунова, вставшего на защиту своих односельчан, заинтересовала Засодимского, он тщательно изучил материалы судебного процесса и использовал их при создании образа Кряжева.

---

[14] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 141.

[15] ИРЛИ, ф. 93, оп. 3, д. 529, л. 4.

[16] Центральный Государственный архив Октябрьской революции СССР (ЦГАОР СССР), ф. 109, оп. 211, д. 274, л. 1

Герои-протестанты из крестьян встречались в нашей литературе и до Засодимского (в произведениях Н. И. Наумова, Н. А. Некрасова). Герой «Хроники села Смурина» — деятель более широкого масштаба. Окрыленный мечтой о счастливой жизни для народа (эта мечта выражена в «чудесном сне», который приснился Кряжеву)[17], он готов вступить в открытую борьбу с кулаками, чтобы подорвать их власть. Заручившись поддержкой г-жи Водяниной (прототипом ее является революционерка С. А. Лешерн), Кряжев решает провести в жизнь целую систему мероприятий: открыть ссудо-сберегательную кассу, общественную лавку, школу, кузнечную артель — и начинает активно действовать. В Смурине разгорается острая борьба, ярче всего она проявляется в массовых сценах, им отводится в романе значительное место. Именно в этих сценах раскрывается противоположность интересов крестьян и кулаков, ненависть кулачья к Кряжеву.

Война Кряжева с мироедами Закручья (часть Смурина, где живут кулаки) достигает кульминационного момента, когда он решает открыть кузнечную артель. Против него ополчается вся кулацкая «нечисть», поддержанная местными властями. Кряжева обвиняют в том, что он «вел с мужиками неподобные речи, мутил их, подбивал не слушаться властей, недоимок и податей не платить»[18] (в этом же обвиняли Бурунова). В конце концов кулаки одерживают над ним верх, доводят его до тюрьмы. Терпят крах и все его начинания.

В чем причина поражения Кряжева?

В борьбе с закручьевскими тузами он оказался одинок: разобщенная и запуганная беднота не поддержала его. Но главное — Кряжев разуверился в полезности своей деятельности. Он понял, что «одной кассой, лавкой, а либо артелью» невозможно подорвать силу кулаков и улучшить положение односельчан. Писатель приводит Кряжева к осознанию того, что нужны иные, более действенные средства решения социальных вопросов: «Бери выше, хватай глубже». Как призыв к революционному действию воспринимали эти слова многие современники писателя.

В «Хронике села Смурина» множество действующих лиц, представляющих почти все слои русского общества того времени. Изображая бедноту села Смурина, Засодимский рисует разнообразные и весьма колоритные фигуры крестьян. Типичный крестьянин поре-

[17] Прием сновидений является излюбленным в произведениях народников и имеет принципиальное значение.

[18] Здесь и далее текст цитируется по кн.: Засодимский П. В. Хроника села Смурина. М., 1959. (Кроме специально оговоренного).

форменной поры, задавленный нуждой и лишениями, дан в образе Василия Кряжева. Тихий, робкий, жалкий «по внешности» и «в душе», он попал в кабалу к кулаку и никак не может встать на ноги. Дмитрий Кряжев и жалеет, и осуждает брата: «От вашего смиренства, — говорит он, — окромя горя, никакого толку не выходит... то-то и беда, что вот много вас этаких». Привлекает внимание и образ крестьянина Аггея. Аггей борется с кулаками не открытием касс и общественных лавок, а иным путем: бьет у них окна, учиняет драки и, наконец, поджигает дом своего «благодетеля» кулака Прокудова. В его лице изображен стихийный бунтарь, «олицетворение дикой озлобленности... протеста против разгула гнетущей силы кулачества»[19].

Крестьянскому миру в романе противопоставлены «новые хозяева» жизни — кулаки. К оценке их деятельности Засодимский подходит как писатель-социолог: он видит в них эксплуататоров — врагов бедняцкой массы, такими он и рисует их в романе. Кулаки различаются по роду своей деятельности (Прокудов — ростовщик, Кудряшов — кабатчик, Чирков — крупный торгаш и землевладелец) и по характерам (расчетливый Прокудов, скряга Беспалый, хитрый лицемер Лисин, ханжа Чирков). Все вместе они составляют коллективный образ хищников, единых в своей страсти к наживе, в ненависти к бедноте села Смурина, в особенности к Дмитрию Кряжеву, вставшему на их пути. Изображаются кулаки в откровенно обличительной, щедринской манере. Писатель смотрит на них глазами беднейшего крестьянства и не скрывает к ним своей антипатии.

В оценке буржуазного строя Засодимский близок к революционным демократам: он констатирует приход капитализма в России (кулаки у него — большая сила в деревне) и показывает его последствия — обнищание крестьянства, союз кулаков с властями и духовенством, постепенное оскудение дворянства, падение нравов в народной среде и т. д.

Но в «Хронике села Смурина» у Засодимского проявляются и ошибочные народнические воззрения: в капитализме он видит лишь отрицательные стороны и не представляет перспектив его дальнейшего развития. Народническая ограниченность не позволила Засодимскому понять до конца всей сложности процессов, происходящих в деревне в пореформенный период. Антагонизм между кулаками и бедняками он представлял несколько упрощенно, у него, как и у других писателей-народников, «есть только два героя: эксплуататор и эксплуатируемый. Эти герои отделены друг от дру-

---

[19] Цебрикова М. К. Беллетрист-народник. — Русская мысль, 1896, кн. II, с. 78.

га целой бездной, и никаких переходов от одного к другому, никаких связующих звеньев не замечается»[20].

В иной манере, чем кулаки, изображается в «Хронике села Смурина» интеллигенция. Госпожа Водянина дана в романе недостаточно ясно: на первый взгляд это просто либеральная барыня, от скуки протянувшая свою «белую барскую руку» в помощь Кряжеву. Но по намекам, имеющимся в тексте, можно судить о принадлежности Водяниной к революционным кругам.

Многие черты, характерные для революционной молодежи 70-х годов, запечатлены в образе смуринского учителя Верхозова (создавая этот образ, Засодимский использовал и некоторые факты собственной биографии). Типичный разночинец, прошедший суровую жизненную школу, он отличается прямотой и смелостью суждений, с глубоким уважением отзывается о народе. Земский деятель Корянов спрашивает у Водяниной: «Откуда вы такого выкопали? На гвоздях не спит?» В последних словах заключается прямой намек на близость Верхозова к людям типа Рахметова из романа Чернышевского «Что делать?».

Реакционная и либеральная критика встретила роман неодобрительно, обвинив Засодимского в тенденциозности, в незнании крестьянской жизни и т. д. В кругах передовой интеллигенции роман имел большой успех. «Хроникой» зачитывалась молодежь, находя в ней ответы на многие волновавшие ее вопросы и, главным образом, на вопрос «что делать?», причем решала этот вопрос в пользу революционной деятельности. Последнее не могло не вызвать беспокойства властей. Вятский губернатор, например, доносил министру внутренних дел, что такие книги, как «Хроника села Смурина», «с жадностью разыскиваются и прочитываются» молодежью и «содействуют заражению молодых людей теми зловредными мыслями, за которые ныне преследуются и даже заключаются в тюремные замки»[21].

На популярность романа указывала в 1912 году и большевистская газета «Правда»: «Широкую литературную известность П. В. Засодимский приобрел своею «Хроникой села Смурина»[22].

4

После создания «Хроники села Смурина» Засодимский целиком отдается литературе и журналистике. Он живет то в Петербурге,

[20] Плеханов Г. В. Литература и эстетика, т. II. М., 1958, с. 324.

[21] Цитируется по ст. Теплинского М. «О народничестве» Отечественных записок». — Русская литература, 1964, № 2, с. 68.

[22] Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литературе. М., 1937, с. 135.

то в провинции, много путешествует, продолжая изучать жизнь крестьянства, заводит новые знакомства, особенно среди литераторов. Самые близкие, дружеские отношения складываются у Павла Владимировича с А. И. Эртелем, автором известного романа «Гарденины». Познакомились они в 1875 году в Усмани Тамбовской губернии и очень быстро сошлись, «породнились родством чувства и мысли», как писал Засодимский. Дружба их продолжалась тридцать три года, их обширная переписка, наиболее интенсивная во второй половине 70-х годов, раскрывает их отношения и то, как и чем жил Засодимский в эти тревожные годы, когда «хождение в народ» было разгромлено и в Петербурге один за другим проходили судебные процессы над революционерами.

Жилось писателю в это время трудно. В письме Эртелю от 16 марта 1877 года он писал: «Живу все так же — 20 часов в сутки бодрствуешь и усиленно живешь все существом своим... а 4 часа — спишь, как мертвый. Если б в сутках вдруг вышло по 48 часов, то и тогда более 8 часов на сон было бы никак не урвать».

Когда в 1878 году в Петербурге стала издаваться тайная социалистическая газета «Начало», Засодимский опубликовал на ее страницах гневную статью «Бойня 31 марта» («Начало», 1878, № 2). Появлению статьи предшествовали события, взволновавшие весь Петербург.

На другой день после знаменитого процесса «193-х» (разбиралось дело участников «хождения в народ») стало известно, что революционерка Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника Трепова. Окружной суд под председательством А. Ф. Кони оправдал ее, и при огромном стечении публики друзья вынесли ее на руках из зала суда. Между тем полиции было дано задание вновь арестовать «преступницу». На одной из улиц Петербурга была устроена засада, произошло вооруженное столкновение, мостовая была залита кровью.

П. В. Засодимский был свидетелем этой сцены и, возмущенный происшедшим, подробно рассказал об этом в указанной выше статье. Он писал, что вместе с Треповым «были пригвождены к позорному столбу и вся администрация, вся система правления, все внутренние порядки императорской России», — и призывал к мести.

В начале 1879 года на Невском проспекте в Петербурге Засодимский открыл частную библиотеку. В организации библиотеки ему помогали народники Л. Бух и В. Луцкий. Поэтому очень скоро она стала своеобразной конспиративной квартирой, где собирались революционеры, хранилась нелегальная литература и даже оружие. Таким образом, связи Засодимского с подпольем продолжали оставаться весьма тесными. Это подтверждает и его сотрудничество в журнале «Слово» — одна из ярких страниц биографии писателя.

Засодимский работал в этом журнале с момента его открытия (январь 1878 года) и до запрещения его царскими властями (апрель 1881 года). За три с небольшим года он опубликовал в нем двенадцать произведений, в основном на тему о крестьянстве: эта тема, по его мнению, составляла «клокочущую злобу дня». Писателя продолжает волновать судьба многомиллионной массы русского крестьянства, так и не получившего в результате реформы ни земли, ни воли.

О земле мечтают все герои нового романа Засодимского «Кто во что горазд» («Слово», 1878, № 1—5)—бывшие дворовые крестьяне. Земли у них столько, что «высунешься из окна, плюнешь — того и гляди: на чужую землю угодишь». Нет у народа и воли, ибо «бьют-то и ноне больно, только без шума, не с размаху»[23].

Основу сюжета этого произведения составляет та драма в жизни русского мужика, о которой говорил М. Е. Салтыков-Щедрин: «Эта драма очень большая и называется борьбою за существование»[24]. Положение крестьян в условиях нашествия капитализма поистине безвыходно, и это очень правдиво показано в романе. «Такой правдивости давно мы не видали в нашем этнографическом романе», — писал критик «Северного вестника».

В 1880—1881 годах Засодимский принимал деятельное участие в артельном журнале «Русское богатство» сообща с Бажиным, Кривенко, Гаршиным, Златовратским, Успенским и другими. В этом журнале он опубликовал огромное количество произведений: роман «Степные тайны», ряд повестей и рассказов, статьи, рецензии, отрывки из воспоминаний, обзоры текущих событий.

В романе «Степные тайны» («Русское богатство», 1880, № 1—7), созданном в период второй революционной ситуации, правдиво отражены особенности исторического момента: бурное развитие капитализма, кризис «верхов», бедствия угнетенных классов, повышение активности трудящихся масс. Не случайно на основании «высочайшего повеления» роман «Степные тайны» значился в числе запрещенных книг до 1905 года.

К 1885 году был закончен один из лучших романов Засодимского «По градам и весям» («Наблюдатель», 1885, № 1—5). Этим произведением, написанным в традициях русского реалистического романа, писатель отдавал дань глубокого уважения памяти своих друзей, погибших в неравной борьбе с самодержавием.

В образе центрального героя Феофана Верюгина (одним из его прототипов был Феофан Лермонтов) воплощено все лучшее, что

---

[23] В дальнейшем текст произведений цитируется по кн.: Засодимский П. В. Собр. соч., тт. 1—2. СПб, 1895.

[24] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. М.: Худ. литература, 1970, т. 9, с. 322.

было характерно для революционеров-народников: любовь к народу и преданность ему, мужество, целеустремленность, отказ от личной жизни во имя общественного блага. В гимназические годы Верюгин услышал слова своего учителя: «Помните... что вы учитесь на счет народа!.. После, когда вы станете на ноги, вы должны заплатить этот долг». Слова эти запали в его душу на всю жизнь. «Служить народу — стало его девизом, стало преобладающей мыслью и самым сильным чувством».

Сблизившись в университете с революционерами, Верюгин стал пропагандистом. И вот теперь под видом землемера он странствует «по градам и весям» русской земли. Характерно, что всюду он видит почти один и тот же пейзаж: «серое небо, серую землю, стаю ворон над полем и мужика...за сохой». Для Верюгина и для автора «вечный мужик за своей сохой — эмблема русской земли».

Но в эпилоге романа дана другая картина. Мы видим Верюгина в одном из петербургских предместий, «где дымят высокие фабричные трубы и где толпы закоптелых рабочих встречаются на улице». Настроение у Верюгина приподнятое: он «быстро шел, бодро смотря вперед, в даль, сиявшую золотом солнечных лучей». Верный действительности, Засодимский не мог не видеть того нового, что появлялось в жизни.

В 1891 году умер друг Павла Владимировича Н. В. Шелгунов. На его похоронах при огромном стечении народа писатель произнес речь, которую петербургский градоначальник Грессер назвал «возмутительной» и «зажигательной». Через несколько дней вместе с Н. К. Михайловским его выслали из Петербурга без права жить в столицах. В Вологде, где он вновь поселился, в губернском жандармском управлении было заведено «Дело о состоящем под негласным надзором полиции литераторе Павле Владимировиче Засодимском». В течение полутора лет он скитался по провинции, негласный надзор не прекращался над ним до конца его жизни.

Однако преследования со стороны властей не могли поколебать взглядов Засодимского, его принципов. Он никогда не печатался в таких изданиях, направление которых не отвечало его идейной позиции. Друг семьи Засодимских писательница К. В. Лукашевич писала о Павле Владимировиче: «Он один из немногих, которые ничем не поступятся против своих убеждений, против правды и чести. Таков он в литературе, таков и в своей скромной, уединенной жизни».

5

Огромное место в творческом наследии Засодимского занимала публицистика. Желание высказаться по вопросам, которые волновали общество и его самого, было в нем органической потребностью:

более ста двадцати статей, очерков, фельетонов, воззваний на политические, литературные и другие темы создал он за свою жизнь. Мы остановимся лишь на некоторых из них, связанных с вологодским краем.

П. В. Засодимский был очень привязан к родной вологодской стороне. В своих воспоминаниях он писал: «Для меня она — родина, и со своими дремучими беспросветными лесами и трущобами она представляется для меня самым лучшим краем на белом свете». Павел Владимирович часто бывал в родных местах, чаще всего в усадьбе тетушки Е. П. Даниловой — Горке. Этот тихий уютный уголок вдали от городов привлекал его: здесь он отдыхал и, «набравшись сил... много, усиленно работал». В Горке были написаны «Степные тайны», «По градам и весям», «Семейство Подошвиных», «Грех», воспоминания, ряд рассказов для детей и взрослых.

Писатель много путешествовал по родному краю и хорошо знал его историю, культуру, положение трудящихся масс. Вологодскую землю он называл краем, «богом обиженным», где большинство крестьян влачит жалкое существование, имея скудные, четырехдесятинные наделы земли («Наше общественное недомыслие»—«Дело», 1870, № 6). Приехав на родину в 1880 году, Засодимский увидел печальную картину: деревня обнищала еще больше, попав под власть кулаков. Крестьяне голодали, были плохо одеты: «Старый полушубок есть. В нем — в избе, в нем — и на улице». («Письма с родины» — «Русское богатство», 1880, № 9—10).

Вологодский край издавна славился своими кустарными промыслами, в особенности плетением кружев. Писатель знал, в каких тяжелых условиях приходилось трудиться кружевницам, которых сажали за коклюшки с пятилетнего возраста, и взволнованно рассказал об этом в статье «Вологодские кустарные промыслы» («Мир божий», 1893, № 11). О великоустюгской черни он с гордостью писал: «Здешняя черневая работа доведена до совершенства». Вологодский материал привлекался Засодимским в статьях на самые различные темы. В статье «Пастыри и овцы» («Слово», 1879, № 12), критикуя местное духовенство за вымогательство, взяточничество, пьянство, автор подчеркивал, что подобные явления распространены повсеместно и могут быть искоренены лишь радикальными мерами. Как видим, используя местный материал, писатель делал выводы далеко не местного значения.

Очень популярны в свое время были детские рассказы и сказки Засодимского. Его детские сборники получили широкий доступ в народную школу и были настольными книгами для многих поколений детей дореволюционной России. Темы его детских рассказов очень разные (он пишет о жизни городской и деревен-

ской бедноты, о школе, о животных). В художественном отношении рассказы неровны. Но во всех произведениях проявляется горячая любовь писателя к детям, стремление «пробудить в отзывчивой, впечатлительной душе юного читателя гуманные, светлые взгляды, создать около него атмосферу общечеловеческой любви, деятельной и сильной»[25].

Как и многие другие писатели, П. В. Засодимский пережил увлечение толстовством. Он преклонялся перед гением Толстого и в 1891 году послал ему на суд рассказ «Перед потухшим камельком», который очень заинтересовал Льва Николаевича. В ответном письме он писал автору: «Рассказ прекрасный, и значение его не только ясно, но хватает за сердце»[26]. Влияние идей Толстого ярче всего проявилось в романе Засодимского «Грех» (1893), где идет речь о нравственном возрождении человека.

Роман «Грех» был завершен тогда, когда народническое движение в России окончательно изжило себя, произошло «вырождение народничества в мещанский оппортунизм»[27], и начинался новый, пролетарский этап русского освободительного движения. Значительная часть интеллигенции пошла на сделку с правительством. Засодимский писал об этом: «...многие мои бывшие соратники, имевшие свое определенное мировоззрение... сделались оппортунистами, что меня очень огорчает».

Конечно, народнические воззрения продолжали довлеть над писателем (он верит в незыблемость крестьянской общины), но все, что происходит в стране, вызывает в нем живейший интерес. Стараясь не отставать от жизни, Засодимский знакомится с трудами Маркса и Энгельса, с 1898 по 1903 год сотрудничает в журнале «Научное обозрение», основателем и бессменным редактором которого был М. М. Филиппов, талантливый русский ученый, много сделавший для распространения марксизма в России. Постоянным читателем «Научного обозрения» был В. И. Ленин, опубликовавший на его страницах три статьи.

П. В. Засодимский был очень близок к М. М. Филиппову, запросто бывал у него дома, принимал активное участие в делах редакции до конца существования журнала. В «Научном обозрении» он опубликовал две статьи научного характера и два рассказа — «Долина слез» и «Мысей действует».

По мере нарастания революционных событий в стране Засодимский все активнее вмешивается в политическую жизнь. В 1901

---

[25] Саввин Н. Наша детская литература. — Педагогический листок, 1908, кн. 7, с. 490.

[26] Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. М.: ГИХЛ, 1962, с. 658.

[27] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 283.

году он пишет письмо редактору реакционной газеты «Новое время» с резкой критикой правительственного режима.

В годы реакции, наступившей после поражения первой русской революции, Засодимский написал статью «В наши дни», которая была опубликована в Вологде в 1922 году, десять лет спустя после смерти писателя. Статья поражает обилием запечатленных в ней фактов зверств и насилий царской полиции, казаков, черносотенцев над ни в чем неповинными людьми.

Важно отметить, что писатель не только обличает, но и предсказывает наступление новой жизни в России:

Иные люди в мир придут,
Иные чувства и понятья
Они с собою принесут.

Все это говорит о том, что до конца своей жизни П. В. Засодимский оставался демократом и народником в лучшем смысле этого слова, человеком, кровно заинтересованным в судьбах родной страны.

В письмах Засодимского последних лет все чаще и настойчивее звучала мысль о необходимости оставить столицу с ее шумом и суетой и поселиться в деревне, с которой он не порывал связи никогда. Хотелось на склоне лет вернуться на родину, в вологодский край. Однако мечта его не сбылась. Последние годы жизни, с 1908 по 1912 год, он провел в Новгородской губернии. Умер П. В. Засодимский в Опеченском Посаде Боровичского уезда 4 (17) мая 1912 года.

О. Шеляпина

ХРОНИКА СЕЛА СМУРИНА

Из жизни русского крестьянина

РОМАН

КНИГА ПЕРВАЯ

I. КУЛАК

Смурино — большое село. В нем, по последней ревизии, значилось около трехсот душ с чем-то, а теперь всех жителей насчитается, пожалуй, до семисот человек. Двести смуринских дворов расположено по обоим берегам реки Вожицы, через которую в самом селенье перекинут мост, утвержденный на огромных серых камнях и устланный сверху соломой и прутьями. Левый берег, густо застроенный, покрыт почернелыми, низкими, набок скривившимися избами с соломенными кровами. На противоположном берегу красуется ряд новых, высоких двухэтажных домов с тесовыми красными кровлями, — и меж ними, словно неиароком, замешались лишь три или четыре грязные хатки с дырявыми корзиночными трубами. Эта часть села называется Закручье. Около сотни маленьких закоптелых кузниц лепится по левому обрывистому берегу Вожицы. На одном конце селенья шумит водяная мельница. В Смурине есть волостное правление, два кабака, лавка, в полуверсте — церковь, между селом и церковью — хлебный магазин, а еще далее, у лесной опушки — погост. На левом берегу поля и луга переходят в топкие болота, поросшие мелким вереском и олешняком; на правом же почва холмиста, и горизонт замыкается сосновым темным бором.

Была весна 1871 года. Тихий и ясный майский вечер догорал над Смуриным, над его тесовыми и соломенными стрехами, над его белою церковью, над его озимыми полями, отливавшими изумрудом, над его лугами, лесами и болотами.

Красноватые солнечные лучи ударяли и в светлые окна одного большого двухэтажного дома в Закручье.

Там, в просторной комнате, оклеенной дешевыми серенькими обоями и уставленной наполовину красными деревянными стульями и наполовину скамьями, сидел в переднем углу, за простым, белым столом, высокий тучный мужик — лет под пятьдесят — и пил чай, усердно подувая в блюдце. Его серые позаплывшие глазки уставились на громадный пузатый самовар, где в расплывшемся и приплюснутом виде рисовалась ему его собственная физиономия. Хотя толстяк был в одной пестрой ситцевой рубахе да в потертых плисовых штанах, запущенных в сапоги, но все-таки пот крупными каплями проступал на его широком лоснящемся лице. Невозмутимое спокойствие и довольство отражалось в ту пору на этой жирной, красной роже, из которой, казалось, при малейшем давлении сало так и готово было брызнуть. На лавке, у окна, женщина пряла шерсть и сильно напоминала собой сказочную бабу-ягу. Она сидела, наклонив голову, и сердито исподлобья оглядывалась по сторонам. В глазах ее светилось недовольство; сухие тонкие губы крепко сжимались; седые брови понахмурились; по лбу складки прошли... И все ее осунувшееся желтое лицо дышало злостью, как у истой яги-бабы. Веретено в ее костлявой руке, жужжа, быстро опускалось почти вплоть до пола и вновь, быстро подскакивая, поднималось вверх; шерстяная нить тянулась и тянулась без конца. Поодаль, в углу, куда не падал солнечный луч, пригорюнившись, поместилась молодая девушка. Ее черные волосы и смуглое лицо казались еще чернее и смуглее от светлого платья, красиво сидевшего на ней и прикрытого спереди черным фартучком. Ее большие темно-карие глаза были заплаканы и смотрели грустно. Девушка сидела, тяжело дыша, и то закрывала рукой свое горевшее лицо, то принималась с силой дергать кончик носового платка, зажатого в другой руке. На полу, середи комнаты, валялся на брюхе мальчуган лет пяти и, засучив рубашонку чуть не до плеча, с великим наслаждением сосал обломок сухого кренделя. Его пухлое личико было все в грязи, а в светлых льняных волосенках набилось много всякого сору. Толстый, жирный черный кот, растянувшись, лежал на стуле.

Весеннее солнышко мягким кротким светом озаряло всю эту живую картину. Матовым блеском отливал его

яркий луч, скользя по серебряным окладам образов, и светлым пятном падал на запыленное и подернутое паутиной стекло старых стенных часов, покоившихся в длинном футляре. Пробегая же по суздальским картинам, украшавшим стены, солнечный луч переливался положительно всеми цветами радуги...

Григорий Иванович Прокудов — благополучный хозяин этих тесовых хором — слыл на Смурине за богача. У него, говорят, было тысяч до пятнадцати капиталу. От отца в наследство ему досталась едва лишь треть этой суммы. Большею же частью своих богатств он был обязан самому себе — своей совести, не сознававшей неудобства упреков. Он, казалось, и жил лишь для того, чтоб наживаться. И нужно правду сказать: в деле наживы он до того набил руку, что копейка у него родила рубль. Прокудов не зарыл в землю своего таланта, сумел ловко всем воспользоваться — и отцовскими денежками, и добрыми и злыми чувствами, и добродетелью и пороком, людскою глупостью и нуждою. И вот он набил свою мошну туго, выстроил новый дом, завел при доме мелочную лавку и склад железа. Лавочная торговля давала рубль на рубль; железо, раскупаемое смуринскими кузнецами, приносило не менее выгод; скупка гвоздей и шпилей, выкованных смуринцами, и перепродажа этих изделий в городе составляли также постоянный и верный источник доходов. Кроме того, он снабжал крестьян в долг и деньгами, и хлебом, и всяким товаром — тоже на сходных условиях. При покупке, при продаже и при ссуде Григорий Иванович всегда равно выигрывал, так что трудно было бы решить, что более обогащало его. Каждый переживаемый им миг, каждая, по-видимому, самая ничтожная сделка играла свою роль в деле обогащения. Каждый шаг, каждое движение руки было у него рассчитано, смерено и взвешено самым аккуратным манером. Если он подносил кому-нибудь рюмку водки или предлагал чашку чаю, то это значило, что он совершенно основательно надеется за рюмку приобрести штоф, а за несколько чаинок — целый фунт.

— Без расчету нельзя, друг ты мой! — говорил он. — Без расчету только дурак живет...

Односельчан своих Прокудов держал в руках, держал не в ежовых рукавицах, а как есть в цепях. Но так нежно и мягко налагал он эти цепи, что носившие

их совсем не чувствовали к себе прикосновения его рук: всем казалось, что цепи наложил на них не Григорий Иванович, а какой-то другой, лихой человек. Прокудов был со всеми обходителен, голоса не возвышал, споров, ссор и раздоров избегал. О пьянстве, о лени, о нерадении и невежестве мужицком он всегда отзывался с подобающим сожалением; сам же вёл жизнь умеренную, водку пил только в праздники, и то не больше двух-трех рюмок.

— Что в ней хорошего! — рассуждал он. — Только одурманит проклятая; из человека зверя сделает. То ли дело чай! Щепоточку травки да сахару кусочек — вот те и все! И сладко и дешево...

Жили Прокудовы хорошо. Зимой они держали двух работников, летом принанимали еще третьего. В поле у них менее шести-семи человек почти никогда не работало, потому что каждый должник должен был отработать в лето дня три или четыре, смотря по условию; должников же за зиму накоплялось порядочно. На дворе стояло шесть лошадей, восемь коров с теленком, до дюжины свиней, да десятка два гусей и кур разгуливало по улице. Словом, дом был полная чаша. По воскресеньям Григорий Иванович ходил с семьянами в церковь, за каждой обедней ставил свечку за престол «господу Саваофу», со звоном клал на блюдо гривну, причем тихим манером брал копеечку сдачи. Убогому и странному из окна его дома всегда подавали «ради Христа» ломтик хлеба или грош. В храмовой праздник — в ильин день — Прокудов угощал духовенство и гостей на славу. Духовенство, сельские и городские власти крепко пожимали ему руку и водили с ним хлеб-соль, а миряне ломали перед ним шапки.

Сегодня — суббота, канун николина дня. Сегодня Прокудов много пораспродал железа, выгодно накупил гвоздей и шпилей, свел лавочные счеты, и в итоге прихода вышла очень почтенная цифра. На одном обвесе и обмере рубликов двенадцать с лишком перепало... Вот отчего в этот тихий майский вечер Прокудов сидит в своей светелке довольный и с чувством попивает чаек.

— Ух, важно... Не хошь ли? Пей! — обратился он к жене, опрокидывая чашку и проводя рукой по лбу, по бороде, и распуская пояс.

— Поштуй лучше питерячку-то! — резко промолвила та и едва не оборвала тонкой шерстяной нити.

— Ну? Ты хошь? — спросил он девушку.

— Благодарствуйте! — послышался из угла глухой, дрожащий голос.

— Чего «благодарствуйте»! Ты губы-то не дуй, добро... слышь? — огрызнулся Григорий Иванович. — Нечего глаза-то тереть! Поругали только... Ведь тебя то ись пальцем не тронули...

— То-то вот и худо! — перебила пряха, не отрываясь от работы. — Поругать-то мало... Все вы баловники, потатчики!

Пряха метнула на девушку такой сердитый взгляд, что словно хотела им сжечь ее.

— Притянуть бы ее к столу-то за косы — благо, вишь, длинны, — да арапником... Вот те и охвицеры! Всю бы дурь вышибло... Ой, да я бы!.. — закончила пряха, стискивая зубы и со злостью стуча по скамье веретеном.

Девушка уже не плакала; глаза ее были сухи, губы сжались, румянец спадал с лица. Вся поза ее выражала отчаяние и испуг...

История Евгешиной жизни не долга. Восьми лет она осталась сиротой без отца, без матери и жила у Прокудова, приходившегося ей дядей по отцу. Три года тому назад, когда Евгении едва минуло семнадцать лет, Прокудовы послали ее в Питер из боязни, как говорили на деревне, чтобы красивая девка не отбивала женихов у их рябой и золотушной Груни. В Питере нашлись знакомые, пообещались поставить Евгению «на место». И вот в одно холодное и сырое октябрьское утро с узелком под мышкой Евгения ушла «на машину», а на другой день вечером укатила в Питер. Но недавно в семье Прокудовых произошла убыль: Григория Ивановича сподобил бог выдать свою Груню за смуринского богача Антона Кудряшева, и в доме, таким образом, не стало работницы. А из Питера той порой стали будто бы доходить до Прокудовых дурные вести о Евгеше. По слухам выходило, что девка живет не «на месте», а в любовницах у какого-то офицера и ходит в бархате и в шелку. Правду ли, ложь ли говорили слухи; жила ли Евгения в любовницах, или нет, до того Прокудовым не было дела. Им нужна была работница, и, следовательно, Евгешу надо было заручить восвояси. Дядя уже дважды отписывал ей, чтобы она побывала домой; но девушка не слушалась, ссылаясь на хорошее

место, на то, что ее господа «любят и жалуют», что барыня ее грамоте научила и проч. Дядя отписал построже, но Евгения выслала ему при письме лишь три рубля денег, а о себе ни гу-гу. Наконец Прокудов, по наущению своей Матрены Дмитриевны, решился прибегнуть к крутым мерам, попросив в волостном правлении не высылать девке паспорта, а паспортные деньги призадержать и вручить ему. Евгения вынуждена была возвратиться в деревню и явилась туда накануне того дня, как начинается наш рассказ. Хотя Евгеша ни шелков, ни бархатов, ни денег из Питера с собой не принесла, кроме книжки да нескольких платьев; хотя ничего предосудительного замечено в ней не было, но Матрена Дмитриевна все-таки предлагала маленько проучить девку для того, по ее словам, чтобы той «легше было опосля питерских порядков за работу стать». Но Прокудов, вообще недолюбливавший в своем доме ни шуму, ни гаму и никаких скандалов, на проучку не согласился.

II. КОШКА И МЫШКА

В ту минуту, как пряха вымещала свою злобу на веретене, дверь отворилась, и в комнату с поклоном вступил мужик в истрепанном азяме* и без шапки.

— Чай да сахар! — проговорил он, неуклюже пожимая руку, лениво протянутую ему хозяином, и косясь исподлобья на баб.

— Садись! — сказал хозяин, указывая гостю на лавку у противоположного конца стола. — Что скажешь?

— Да что... — протянул тот, усаживаясь и запахиваясь азямом.

— Чаю не хошь ли? — предложил хозяин.

— Благодарю покорно! Отчего же... Можно.

Гость ухмыльнулся и осмотрелся по сторонам. На вид он был невзрачен. Сухие сполщенные светло-русые волосы и немного потемнее всклокоченная борода оттеняли его худощавое, загорелое лицо; серые глаза его выглядели робко, недоверчиво, а голова сидела на плечах с таким жалким видом, словно бы обладатель ее ежеминутно ожидал получить затрещину. Из-под изодранного коричневого азяма виден был ворот грязной рубахи;

* Объяснение малоупотребительных и диалектных слов дается в словаре в конце книги.

грубые холстинные штаны висели снизу клочьями и далеко не доходили до пят босых, до крови наколотых ног.

— К нам, Евгешенька, пожаловали? Знать, соскучились в Питере-то? — промолвил гость, посмотрев искоса на девушку.

Та прошептала что-то в ответ, а на губах пряхи мелькнула кривая усмешечка. Хозяин меж тем нацедил из самовара в чайник воды, ополоснул и воду с чаинками вылил в чашку, затем чашку придвинул к гостю и положил перед ним кусочек сахару. Все это делалось с самым добродетельным видом и с чувством полнейшего самодовольства, словно Прокудов, действительно, оказывал гостю великое благодеяние и ласку, нацеживая ему теплой водицы.

— Пей! — угощал хозяин.

— Благодарю покорно! — отозвался гость, придвигаясь к столу. — А я, Григорий Иваныч, к твоей милости... насчет семян-то... Уж удружи!

— Это овса-то? Гм! Овса-то у меня у самого разве только на посев хватит... — со вздохом проговорил хозяин. — Лонись овсецом-то, сам знаешь, бог пообидел...

— Так-то так, — согласился гость нехотя, видно предчувствуя, что кулаку пришла охота поломаться.—Да ведь мне, Григорий Иванович, немного и надо. Не о возах речь...

— Исшо бы о возах! — вставил хозяин.

— Самую малость не хватило, — продолжал гость, как бы не дослышав слов хозяина. — Осьминку дашь — и ладно! Выручи, заставь бога молить!..

— Экой вы народец чудной! Выручи! Легко сказать! — завздыхал хозяин. — Рад бы я радостью весь мир выручить, да выручка-то во-о! — И Прокудов выразительно постукал себя по затылку кулаком. — Выручать-то нонече не того, не с руки. Выручи вашего брата, а вы же потом на нас жалитесь...Вон братец-то твой единоутробный что поговаривает, слыхал поди? Живодеры мы и такие-сякие, и в аду-то про нас, почитай, местов не хватит! Гм! Народ-то нонече стал неблагодарен; потому избаловался, бога забыл, отцов не почитает...

— А я, Григорий Иванович... Вот те Христос, хошь с места не встать... — заговорил гость, как-то вдруг неестественно оживляясь, — опричь доброго слова, николи о

тебе не скажу, потому не за что! Да без тебя мы все пропадом пропадем, как червь! Потому у тебя и совет, и разум... а помочь ежели... все!

— Я, Василий, оченно хорошо это чувствую! — снисходительно заметил Григорий Иванович. — Коли бы все ваши деревенские так-то вот, как ты, ну тогда известно дело... А теперича что? Хоть бы братец твой, примером сказать! Как уж он не костит меня на всех перекрестках! Срамота! А мне-то разве это не обидно? Ты как своим умом-то смекаешь? Тоже, вон, племянник родной... Выкормил, выпоил, от моей земли и таперь кормится, в моей хатке живет, а глядит на меня волком, ровно съесть хочет. А братец твой любезный! Ну! Уж точно, что ворон, воронье горлышко! Закаркает, так святых вон неси... Кассу теперича заводить почал. Ну, и заводи, коли охота! А для чего этак-то говорить, что будто эфтой самой кассой богачам крылья обломать можно? Дело он говорит это, а?

— А-ах, Григорий Иваныч, ей-богу, ну, право! — промычал гость, покачивая головой и строя кислую гримасу. — Ты мне вот все братом тычешь, а я, ей-богу, ничего, как есть... потому наше дело — сторона.

— Ну и что ж, и заводи! — продолжал кулак. — А до нас ему все-таки не дохватить стать — так полагать надо. Свою-то шкуру лучше бы поберегал: исшо того гляди самому крылья сперво-наперво оборвут. Вот что!

С минуту помолчали.

— Вот опять выборы, — начал хозяин. — Прямое дело — посадить Семена Васильева! Мужик зажиточный, грамоте учен, и в городе знакомство есть, с мировым и со всяким поговорит. Одно слово — человек! А твой брат уже верно против него... Аггушка наш тоже... Хошь и не говорит, а по глазам вижу! А уж другого такого волостного нам не найти, хошь весь околоток выверни!

— А ты, Василий, как насчет эфтого? — наливая гостю еще чашку ополосков, спросил немного погодя хозяин, как бы мимоходом, но глазки его пристально глянули на азям.

— Это что? Насчет выборов-то? — нерешительно протянул гость. — Да как тебе... против мира, знамо, не пойдешь.

— Да уж твой братец мути не мути, а мир хочет Семена Васильева — вот те и весь сказ! — настойчиво

заметил Прокудов. — Он, может, и тебя подбил? Что ж, не малой робенок, сам смыслишь!

— Нет, Григорий Иваныч! Это уж ты напрасно! — отнекивался гость. — Потому — изба моя с краю, ничего не знаю. Да мы что? В нас-то, гляди, не больно и нуждаются!

— Жука-то ты мне не подпущай! Прибаутки-то про себя храни, про случай... с бабам их разводи! — строго заговорил хозяин, хмуря свои рыжие брови. — Ведь и ты пень промеж колод.

Опять помолчали.

— Ну, так как? — спросил Прокудов. — Ведь за язык тебя не тянут, а так к слову пришлось... Говори, за кого хошь...

— Да, надо быть, за Семена Васильева... Мужик-то точно, что... — согласился Василий.

— Двоишь, брат! Вижу, что двоишь... — позевывая и с легким вздохом перебил хозяин. — Богу али черту? Одному кому ни на есть... Обем зараз не угодишь...

Прокудов ехидно улыбнулся и отворотился к окну.

— Провалиться то есть-во-о! — И гость закрестился и заискал глазами образа.

— Гм! — промычал кулак, с самодовольством поглаживая бородку, и свысока посмотрел на приниженную фигуру мужика.

— Так овсеца-то, Григорий Иваныч, можно заполучить? — полутоном ниже заговорил тот, допив последнюю чашку, опрокидывая ее на блюдце вверх дном и кладя на нее огрызочек сахару.

— Кассу-то нешто и взаболь завтра открывают? — спросил хозяин, видимо, отдаваясь потоку увлекавших его дум.

— Завтра после обедни... Хотят молебен петь.

— Гм! А брат что? Хорохорится небось?

— В правленье его хотят поставить, а барышня попечительницей у них будет.

Григорий Иванович промолчал; толстые пальцы его забили по столу какой-то непутевый марш.

— Овсеца-то, Григорий Иванович... — начал опять Василий.

— Да ну тебя! Осмина-то набежит, может! — проворчал кулак. — Только слышь: уговор лучше денег. К покрову-с четвериком да день косьбы.

— Помилуй! Четверичок-то уволь! — взмолился крестьянин.

— А-ах, Василий, Василий! Уважить тебя хочу, от себя отрываю. Чувствуй! Да чего тут! Хошь бери, хошь нет! У самого последние зерна на исходе.

Василий сосредоточенно почесал в затылке.

— Ну, вот так и пропишем! — заметил Прокудов, стаскивая с полки из-под божницы свою толстую записную книгу в красном переплете и кладя ее перед собой на стол.

Затем он раскрыл ее и, мусляя пальцы, принялся осторожно ее перелистывать, причем оказалось, что книга была достаточно уже закапана чернилами и испещрена цифрами и разными непонятными знаками собственного произведения Григория Ивановича. Отыскав чистую страницу, Прокудов опять полез на полочку за чернильницей и за пером.

— Коего ляда тут прописывать-то? И на слове бы можно... — заметил Василий, по безграмотству недолюбливавший письменных документов.

— Люблю я, братец, все по форме чтобы... — возразил кулак и, свесив немного набок голову, пыхтя и краснея, принялся немилосердно скрипеть по бумаге гусиным пером.

Он то отклонялся от бумаги, то чуть не клевал в нее носом, морщился и щурил то один, то другой глаз. Не без усилий, с охами и вздохами условие, наконец, было дописано, и внизу его Василий по безграмотству поставил три креста, причем брызнул чернилами себе в лицо. Должник и не предчувствовал, что по письменному условию он обязан косить два дня, а не день, как было выговорено на словах...

— Таперича отмеришь, что ль? Мешки-то я прихватил... — спросил Василий.

— Правду-то сказать, поустал я... — со вздохом промолвил кулак, обтирая перо и бережно укладывая на полочку свои письменные принадлежности. — День-то ведь сегодня, знаешь, такой... Гвоздь принимал да железо отпущал вашим. Пудов до ста перемеряли, тоже нелегкое дело! Года-то не молодые — вот спину-то и ломит. Охо-хо, грехи, грехи! Да уж пойдем. Работников-то, вишь, разослал. Все за получкой. Собирать-то с вас тошнёхонько! Не глядел бы!

Григорий Иванович, кряхтя, поднялся со стула, по-

тянулся, почесался, сходил куда-то за ключом и в сопровождении Василья отправился в амбар, стоявший в нескольких шагах за домом. Амбар был важный, большой, с тесовой кровлей, с огромными весами и с обломком чугунной доски под «галдареей». Василий, не входя в амбар, через дверь заметил, что в сусеках много ржи, и овса, и всякого жита. Когда хозяин насыпал последнюю мерку, мерка оказалась неполною на четверть.

— Добавь исшо совочик! — попросил мужик.

— Довольно! — строго отрезал Григорий Иванович, со стуком захлопывая за собой дверь.

И щелкнул большой заржавелый ключ и дважды тяжело повернулся в замке. «О, господи! Хлеба-то, хлеба-то экое место!» — подумал Василий и тихо привздохнул.

III. БРАТАНЫ

Пока Василий Кряжев с Григорием Ивановичем занимался деревенскими делами, пока он умасливал кулака, а кулак ломался, пока писали условие и мерили овес, последний солнечный луч запал за темные леса, румяная вечерняя заря уже догорала над Смуриным и в синей вышине мерцали звезды. Коров давно уже пригнали, мальчишки уехали в почное, и деревенская улица пустела, когда Василий, согнувшись под тяжестью мешка, тащился домой. Дворов за пять до края деревни он свернул в сторону, подошел к избушке и опустил мешок наземь у завалины. Изба, как и сам хозяин, была неприглядна на вид. От старости она уже покривилась и одним боком ушла в землю. Потемнелая соломенная кровля слезла на сторону, понахлобучилась. Жерди подпирали крылечный навес. Два подслеповатых оконца, будто щурясь, невесело глядели на улицу. По всему было видно, что избушка давно уже стояла на белом свете, много видов видала, и не одно поколение жалко ютилось под ее дырявой стрехой в зимние метелицы и стужи, в летний зной и в непогоду.

— Принес? Ну, тащи... чего напоказ-то выложил! — раздался резкий бабий голос, и лохматая голова, повязанная пестрой тряпицей, высунулась из окошка.

Василий обошел крылечко, втащил мешок на взъезд и, приперши ворота, согнувшись, вошел в избу. Внутри изба была так же неказиста, как с улицы, хотя ради праздника она только что была вымыта, что можно

было ощущать по гнилому запаху и сырости. Те же черные стены, тот же щелеватый пол, закоптелая печь, темный образ в переднем углу и повсюду тараканы. Как единственное украшение висела на стене картинка, напачканная красками, с изображением медведя и козы и с подписью:

Медведь с казою забавлялись и друг на друга удивлялись;
Увидя медведь казу в сарафане, а козынька мишке моргнула глазами,
И с этого разу они подружились, музыке и пляске вместе научились.

Той порой, как муж разболокался, Агафья поставила на стол крупянку и вынула из поставца солонку, ложки, нож и хлеба горбуху, завернутую в грязное полотенце.

— Чего запропал-то? — обратилась она к Василию.

— Чаем угощал! — отвечал тот, присосеживаясь к чашке.

— На-кось, кантует ишшо! — заметила жена, покрестилась и села за ужин.

Кроме двух больших рук, к чашке протягивалась еще маленькая, худенькая ручонка, из-за стола еще виднелось маленькое грязное личико, позавешенное прядями светлых льняных волосиков. Это маленькое существо поминутно фыркало и утирало рукавом нос. Это Анютка, единственная Васильева дочь. Были у нее еще два братца и сестрица, да давным-давно лежали они на погосте. Сама Агафья была бабенка худая, мозглявая, на деревне ее звали «дохлой». Ее сухие темные волосы всегда выбивались из-под платка, нос был всегда в саже, а глаза бойко и с недовольством смотрели на божий свет. Синяя пестрядинная юбка да драная рубаха прикрывали ее кости да кожу.

Старая бабушка, мать Васильева, кряхтела и ворочалась на печи, все что-то ворча себе под нос: она только что поругалась с Агафьей и отказалась от ужина.

Когда хозяйка убирала со стола, а Анютка уже залезала на полати, на улице послышались звуки гармоники и чей-то могучий, сильный голос громко напевал:

На Пречистенке, направо,
Есть большой прекрасный дом;
Там живет народу много...

— Ишь горло-то! — с недовольством проворчала Агафья.

Звуки все приближались к Васильевой хатке, и вдруг чья-то фигура мелькнула за окном и затенила его. Василий отодвинул раму и выглянул: у окна, прислонившись к стене, стоял мужик с гармоникой под мышкой и, сняв шапку, расчесывал пятерней свои темные, густые и мокрые волосы. По одежде видно было, что человек этот не нищенствовал, жил без нужды; на нем были серый кафтан, белая ситцевая рубаха, синие пестрядинные штаны и сапоги с красными сафьянными отворотами. Он казался лет сорока — немного моложе Василья, — среднего роста, широкоплечий, мускулистый и с чрезвычайно смуглым лицом. «Ворон, как ворон!» — говорили про него на деревне. «Ни в отца, ни в мать!» — толковали родные. Черты лица у него были крупные, неправильные, топорные; довольно большой нос, толстые губы. Но хорош был смелый и открытый взгляд его больших темно-карих глаз, и вообще лицо его было выразительно и не лишено некоторой грубой, своеобычной красоты, могущей ярко блеснуть при случае.

— Ты что? — спросил его Василий.

— Да ничего! От Лисина из бани иду... А ты вечор мешок-то от Гришки тащил? — спросил тот в свою очередь.

— От него! — ответствовал Василий.

— Та-а-ак! С походцем отвесил? — опять спросил с усмешкой стоявший под окном.

— С походцем! — передразнил Василий. — Не досыпал нешо малость... Четверик да день косьбы за осьмину-то!

Тихий смех послышался за окном. Василью при этом ровно неловко стало, он заворочался.

— Сусла, Митрей, не хошь ли? — продолжал он. — Пиво-то нонече удалось...

— Нет, брат! Не сусло я к тебе пить пришел, а по делу завернул!

— Коего там нешо лешего надавало! — проворчала за перегородкой Агафья.

— Скажи ты мне хошь теперь-то толком: запишешься в кассу-то или нет? — спросил Дмитрий.

— Нешто таперича записываться? — почесываясь, заметил Василий.

— Завтра... Завтра сбор... Сорок человек уж записалось! Тебя-то бы мне охота...

— Кабы нешо беды какой не нажить с этой кас-

сой! — молвила Агафья, вытирая мочалкой посуду и показываясь из-за перегородки. — Что только, ей-богу, народ не выдумает! Кассу, вишь... Еще мало поборов-то сходит...

— Ну, сватья! Это уж ты пустое блекочешь! — отозвался голос с улицы. — Касса-то сама помогать будет, а не токмо что зорить... Коли крестьянину занадобятся деньги, он и в кассу...

— Так вот сейчас ему, гляди, и отвалят! — перебила Агафья.

— И отвалят! — подтвердил Дмитрий. — Да за рубль ассигнаций в рабочую пору дня отбывать не заставят!

— Экой рай-то у нас тогда будет! И помирать не надоть... — усмехнулась баба, вдруг переходя в резкий тон. — Ты уж, Митрий, не совмущай, вот что! Ты уж оставь его! Мы уж и без эфтой... Ну ее!.. жили доселева.

Во все время этого отрывочного разговора лицо Дмитрия оставалось серьезно; видно было, что человек сильно сосредоточился на чем-то. Он потрагивал свою гармонику и рассеянно поглядывал то на Василья, то на Агафью, то на тощую рябину, росшую при дороге; но можно было догадаться, что не о Василье, не об Агафье и не о рябине думал он. Дмитрий словно бы смотрел выше их, через их головы, и выше древесной вершины, на что-то такое, что другим не было видимо...

— Так как же, брат? — начал он. — По бабьему разуменью пойдешь али за ум хватишься?

Василий молча заерзал по лавке.

— Да разварзайся ты с этим Гришкой! — продолжал Дмитрий. — Уж он тебя до добра не доведет... Попомни мое слово...

— А-ах, право-ну! Я уж и не знаю, что это нонече пошло у нас все такое... А-а-ах! — заговорил Василий, низко поникая головой. — Вон Григорий-то Иваныч что про тебя говорит... Не досигнуть, говорит, им до нас, как до неба...

— Ну и ходи к нему, надрывайся заместо бар на него. Погоди! Разорят они вас, с коробушкой по миру пустят, разорят во-о как, дотла! — И Дмитрий отшатнулся от оконца и пошел прочь.

И опять на тихой деревенской улице зазвучала гармоника, и удалявшийся голос напевал:

Дорогая, размилая, где ты, светик мой, живешь?
Где ты, краля, где ты, пава, где ты, павушка моя?

А Василий с женой по уходе Дмитрия несколько мгновений сидели молча, не шевелясь: страшные слова «разорят, разорят дотла» как будто все еще витали под бревенчатым сводом закоптелого потолка их хатки и зловеще звучали у них в ушах.

— Вот верченая голова! Фу ты! — возопила, наконец, Агафья, всплескивая руками. — Вот озорной!

— Ну его! — задумчиво отозвался Василий. — С мужиками ужо завтра потолковать нешто.

— И ни-ни! — возразила жена, укладываясь спать. — Не слушай ты шального этого... Язык-то покороче держи, здоровее будет! Прокудов-то, говоришь, серчает?

— Шибко серчает! Как что, сейчас и за Митюху...

— Ну вот! Ну, с этакими ли нам тягаться, супротив ли их идти? Загрызут! — подхватила Агафья. — Нет, ты уж помалкивай лучше... У твово брата-то не семья, — ему что! Он ровно перст. Хорошо ему блажить-то!

— Это что и говорить! — согласился муж.

Тут оконце задвинулось, и в Васильевой хатке все затихло.

Дмитрий Кряжев той порой тихо шел со своей смолкнувшей гармоникой по опустелой улице на другой конец села. Спокоен, тверд и ровен был шаг его. И по этому твердому, тяжелому шагу можно было бы заключить, что Дмитрий смел и решителен, настойчив, что, словом, это такая натура, какую наш народ окрестил словом «кремень». Да и действительно, Дмитрий Кряжев был «кремень», — и из него высекались искры, и зажигали эти искры трут и тряпицы, валявшиеся кругом него в образе людей темных и трусливых...

Теперь, идя домой, Дмитрий думал о брате Василье и крепко тужил, что тот слушает глупую бабу, попусту трусит и запродает ни за грош свою душеньку Гришке Прокудову.

Вопреки поговорке, что «от одной яблоньки разных яблочек не бывает», сходства между братьями не было никакого ни в характере, ни в наружности, ни в житейском положении. Василий был жалок по внешности, жалок и в душе и за все про все бултыхался в ноги смуринскому миру. Дмитрий же держал голову высоко, смотрел прямо, в упор и духом был горд и самостоятелен, насколько, разумеется, мог быть самостоятелен и бодр человек, выросший на смуринских хлебах с под-

месью песку и отрубей, а иной раз моху и коры древесной, — взросший под серым смуринским небом, среди ровной бесконечной глади смуринских полей и лугов, под шум тощих берез. Василий все уповал на добрых людей; Дмитрий верил в свою собственную силу, в свой ум-разум. Василий затерялся в толпе, мир считал его мужиком не мудрым, но тихим и смиренным; умри он — никто бы, пожалуй, и не заприметил. Дмитрий же был у всей волости на виду; одним он стал поперек горла, глаза мозолил, другие не могли надивиться ему; одни его звали «шальным» и «каторжным», другие величали «соколиком» и «молодцом». Умри Дмитрий Кряжев — и все бы почувствовали, что пустое место осталось. У Василья не было ни друзей, ни недругов. У Дмитрия много было и тех, и других. Василий был беден, весь в недоимках и о всякую пору готов был повалиться в ноги и слезно просить прощенья и милости. Дмитрий на свой бобылий пай зарабатывал достаточно и сам был всегда готов помочь и защитить. Один — хилый, тощий, с семейной обузой на плечах; другой — здоровый, крепкий и вольный, как ветер в поле. Один не мог иной раз и двух слов связать путным манером, а другой говорил бойко и красно.

— Наше дело малое! — робко, чуть не шепотком бормочет, бывало, Василий, когда старики спрашивают его мнение. И по его слезящимся глазам, и по всей его сгорбленной, приниженной фигуре явственно видно, что, действительно, его дело «малое», что он «своего, путного» ничего не скажет и во веки веков.

— А вот мы посмотрим да рассудим этим делом! — с твердою уверенностью и спокойно говорит Дмитрий.

И видно, что на все посмотрит, все рассудит и выложит, как на ладони.

Братья родились от одного отца и матери, росли под одной и той же дырявой стрехой, в одной и той же грязи барахтались, у одной и той же рябинки игрывали. Одни и те же воспоминания сохранились у них.

Они оба, например, очень хорошо помнят, как раз один зажиточный мужик, «благодетель», ворвался к ним в избу и требовал, чтоб их отец, по уговору, шел отбывать за него мостовую повинность.

Тятька их в ту пору был болен и лежал на полатях. «Благодетель» кричал, ругался и, наконец, ухватив больного за ворот, сдернул с полатей и потащил по полу

вон из избы. Больной знай только охал, стонал да просил, чтобы отпустили душеньку на покаяние. Хилый, тщедушный Васька в ту пору натерпелся великого страха и с того разу стал бояться своих деревенских богачей. Та же самая история на Митьку подействовала иначе. Бойкий и здоровый мальчуган, он и в то время злился на тятьку и ругал «благодетеля» чертом. Так в одной, значит, печи пироги пеклись, да не равно удались. Как тут проследить: откуда пошло различие? Сплошь и рядом на одном и том же клочке земли растет репей и белена, макушка и горькая полынь, разрастается жгучая крапива и расцветает красивый цветок. Вася сызмалетства был мальчуган хилый и больной — поневоле не мог воды замутить и всякого шума и драки боялся пуще огня. Митюха рос крепким, здоровым молодцем, в драках не уступал ни одному смуринскому головорезу, сам давал сдачи; никогда не задирая первый, он всегда отважно защищался и защищал брата. Его влияние на Василья было сильно: он часто выручал старшего брата из бед и напастей, давал советы и указания. Занадобится, примерно, в поле Сивку изловить...

— Пособи, Митя! Он больно лягается! — кричит старший брат.

Является Митя, живо ловит Сивку, накидывает на него веревочный недоуздок, вскакивает на его жесткий хребет и гонит в деревню. Или опять, сошник у сохи порасхлябался.

— Митюха, насади! — взывает Василий.

Митюха тут как тут; присвистнет, тряхнет своими темными волосиками, и сошник готов: не поворотишь, ровно прикованный. Так и во всем прочем...

Когда помер отец, на плечах восемнадцатилетнего Митюхи весь дом держался, и лишь благодаря ему убогое хозяйство не валилось вовсе. Он распоряжался и матерью, и старшим братом; те слушались его, да, кажется, и рады были тому, что не им самим приходится распорядок вести. Митюха сносился и с односельчанами, и с начальством, ведал подать и оброки, ходил на сходки и на сходках научился говорить так, чтобы его все слушали и разумели. Когда Василью минуло двадцать четыре года, он женился; жене его сразу же захотелось хозяйничать, и не любо ей было за все про все смотреть из рук своего деверя. Конечно, у Агафьи не было настолько силенки и уменья, чтобы выпихнуть, от-

тереть Митюху и вполне заменить его в хозяйстве; но у ней были зато злые глазки, длинный бабий язык, колючий, как шиповник, и источник слез — что хляби небесные. Дмитрий без особенного труда удержал бы за собой главенство в семье, несмотря на придирки и уколы любезной невестушки, несмотря на ее причитанья и намеки. Он не поддался бы глупому гневу за то, что Агафья ему иной раз за обедом ложки не подает, а хлеб режет с таким свирепым видом, ровно зарезаться хочет. И то бы не беда, что брат тоже подчас дуется, руку жены держит, хотя помалкивает про себя. Все бы это для серьезного, стойкого парня как с гуся вода, ежели бы только не стали приходить ему в голову мысли: «Да чего же мне всю жизнь надрываться на брата да на его семью? Он живи сам по себе, я — сам по себе. Не хочу быть весь век батраком, хочу быть сам себе хозяином!» И вот, к искренней радости невестки и к сильному смущению брата, Дмитрий объявил, что он уходит от них а затем поклон да и вон. После его ухода Васильевы дела пошли все хуже и хуже, хотя Дмитрий, чем мог, помогал ему: ссужал деньгами, не оставлял и советом. Мать-старуха ругала Дмитрия за раздел, чуть не прокляла и не хотела видеть его. Дмитрий же живо построил себе избу да маленькую кузню на берегу Вожицы, под обрывом, и зажил важно. С печью он сам возился; хлебы ставить приходила к нему за малую плату соседка старуха Федосья С работами на поле он управлялся ловко, благо посев-то был невелик — на три четверти десятины. Гвоздь его шел хорошо. Подати он платил исправно, и недоимок за ним было не слыхать.

IV. ДУМЫ, РЕЧИ И ДЕЛА КРЯЖЕВА

Дмитрий прошел все село до конца и подошел к своей избе. Избушка у него была крохотная — издали ровно игрушка. Он хотел было уже согнуться в три погибели и войти, как вдруг приостановился, сел на ступеньки крыльца и облокотился на колена, низко свесив на руки свою большую взъерошенную голову. Он задумался. А чтоб понять его думы, нужно еще кое с чем познакомиться из его прошлого.

В полуверсте от Смурина, на небольшом отлогом возвышении, выглядывала из-за сада барская усадьба, выглядывает она еще там и поныне и прозывается Грай-

вороновым. До 19 февраля Смурино принадлежало частью Грайвороновскому помещику — надворному советнику и кавалеру многих орденов Петру Игнатьевичу Водянину; но, испокон века состоя на оброке, Смурино ни барщины и никаких барских придирок не знало. Господа редко жили в Грайворонове, управляющего не ставили, а усадьбой заведовал староста, один из смуринцев же — ныне кулак, благополучно загребающий деньгу мужицкими руками. Однажды, впрочем давненько, лет двадцать тому назад, старые господа года три сряду изволили жить в Грайворонове, и Акулине, матери Кряжевых, досталась честь питать своим молоком барскую дочку. Затем, как водится, кормилица появлялась в барском доме каждый раз, как наезжали господа, и приносила своей питомице деревенских рогулек и ягод, а маленькая Лиза дарила ей платки и всякую всячину. И Митя с матерью, бывало, хаживал в барский дом, не раз разговаривал с маленькой барышней, и маленькая барышня помнила кормилицына сына С ее воспоминанием о тенистом грайвороновском саде всегда както связывалось и воспоминание о смуглом бойком мальчугане. В один приезд барышня даже начала учить Митю грамоте, но ученье недалеко ушло, потому что и сама-то госпожа в ту пору только что дошла до ижицы. Но время идет, как вода льет· Лизавета Петровна вышла замуж, овдовела, старые господа умерли, крестьяне вышли на волю. А знакомство между помещицей и Кряжевым поддерживалось.

По двадцать пятому году Кряжев научился у дьячка грамоте, что придало ему еще больше значения в глазах темных смуринцев. Прочел он анекдоты о Балакиреве и посмеялся; потом попался Ермак, покоритель Сибири, - и надоел до смерти. Но все эти книжки принесли ему ту несомненную пользу, что он по ним хоть научился писать: мог составить письмо, причем, конечно, о красоте почерка не могло быть и помину. Раз достал он от священника какой-то календарь с рисунками машин и всяких земледельческих орудий и статей по сельскохозяйственным вопросам. Это приложение с рисунками так заняло Дмитрия, что он дважды с большим удовольствием прочел его. И чем более читал он, тем более убеждался, что и его голова может кое-что понимать. Такое сознание его еще сильнее утвердило в вере в его собственные силы, в его ум-разум.

Несколько раз побывал Дмитрий в губернском городе, два года выжил в Москве, справляя столярную работу. Смуринцы видели в нем человека бывалого и своего естественного ходока, хотя открыто первенства за ним никто не признавал. Где действительная сила, там титулы не нужны. Для того чтобы быть головой смуринцев, Кряжеву вовсе не для чего было именоваться сельским старостой, писарем или волостным старшиной. И Кряжев, действительно, горой всегда стоял за мир и другов своих не выдавал, а недругам в иной раз от него доставалось шибко. Закручье, кулацкий поселок, ненавидело Кряжева. На Смурине иные слабые головы из страха также держали сторону Закручья, косились на Кряжева и старались избегать близких сношений с «каторжным», как звали его в Закручье. «Каторжным» закручьевские богачи поминутно тыкали в глаза и корили смуринцев, приходивших к ним с гвоздями, а также позаимствоваться железом или другим чем в ожидании будущих благ. Смуринцы на укоры закручьевских кулаков только руками махали и божились, что «Кряжев Митрей — им не указ!» Кряжев очень хорошо понимал, что его соседи на такие штуки пускаются вовсе не по глупости и не по злобе, а потому, что они в самом деле между двух огней вертятся.

— Что тут поделаешь! Никто сам себе не враг! — говаривал он про смиренных смуринцев, открещивающихся от него перед кулаками. — Знамо дело, неволя гонит в Закручье!

А Закручью было за что не любить Кряжева: железо он покупал в городе, а не в закручьевских складах; гвозди он продавал гуртом — в год раза два или три — также в городе. Дмитрий мог «чудить этак», потому что мог закупать железо не в долг, а на чистые деньги; при продаже мог не навязывать свое изделье всякому встречному и поперечному, мог выжидать. Зато ему и перепадало лишнее и на железе, и на заработной плате. Ведя дела таким порядком, бобыль может со временем сам капиталец скопить да перебраться в Закручье и подружиться с тамошней жирной стаей. Однако Дмитрий не думал перебираться в Закручье, хотя и шла молва, что у него в кубышке деньжонок-таки поднакопилось; но их никто, кроме Кряжева, не считал, и сумма их в точности никому не была известна. Зато всем и в Смурине и за Смуриным было известно в точ-

ности, что Дмитрий Кряжев зовет кулаков не иначе, как «пудами», говорит, что они бедный люд обирают, что «надоть бы как ни на есть без них изворачиваться». Доходили эти неприятные речи до Закручья, иной раз через вторые руки, а иной раз так и прямо долетали до ушей, когда Кряжев говорил на улице. Закручье волновалось, но поделать с «каторжным» ничего не могло.

— Под него и комар носу не подточит, — толковали на Смурине, — дюжая башка, ох, дюжая!

Кряжев побивал закручьевцев их же оружием, не вступая до сих пор с ними в открытую вражду. Закручьевцы здоровались с ним при встрече, он хладнокровно толковал с ними о том о сем, словно между ними и в самом деле никакой кошки не пробегало. Но особенно расходилось и разбушевалось Закручье незадолго до начала нашего рассказа.

Угораздило как-то Кряжева во время его пребыванья в городе прослышать на постоялом дворе от извозчиков, что в их стороне крестьяне такое товарищество завели, что друг дружке помогать стали.

— И идет у них теперича это дело любо-дорого! — хвастливо говорили извозчики.

Такая хитрая штука поразила Дмитрия, и он за полночь протолковал с извозчиками. Лишний день пробыл он в городе, а все-таки раздобылся книжечкой, к которой был приложен образец устава ссудо-сберегательного товарищества. Как драгоценность, запихал он эту книжку за пазуху в полушубок и, приехав домой на Смурино, несколько вечеров сряду просидел за чтением. Прочел он книжку не однажды от корки до корки, все по ниточке разобрал, рассчитал и семь раз примерил. Ему еще на постоялом дворе, как он на лавку там спать завалился, подумалось: «А для че бы и у нас на Смурине такую кассу не завести?» Эта мысль, раз забравшись ему в голову, гвоздем засела в ней. Теперь же, прочитав книжку, все сообразив и примерив, Кряжев пришел к тому, что «кассу надо беспременно завести на Смурине, потому это дело подходящее». Не сразу, конечно, сказал он на деревне о своей думушке. Все побаивался: не оборваться бы с этой кассой. В «товариществе» Митюхе виделся именно тот клад, о котором уж он не раз подумывал. Надо его вырыть и отвадить мужиков от Закручья.

Но ведь только сказка скоро сказывается, а дело не так-то скоро делается. Много воды утекло прежде, чем Кряжев пришел к твердому и ясному решению. Ходил он с этой думушкой один-одинешенек; зайдет ли он в поле — и дума с ним; пойдет ли в лес за дровами — и дума с ним; сидит ли в кузнице у горна и сыплет из-под молота огненные брызги — и дума тут же. Жутко, тяжело приходилось Кряжеву в ту пору: книг нет, барыни нет, поговорить не с кем. Уж ворочал он, ворочал свою думушку и так, и сяк, и этак. Наконец мысль созрела, облеклась в плоть и кровь и вылилась перед смуринцами в самом понятном для них виде — в виде копеек и рублей. Сначала качали головой, дакали, такали, вздыхали; потом начали у Дмитрия справляться, спрашивать и, наконец, увидав, что это их ума дело, затолковали посмелее. Впрочем, толковали долго и, вероятно, протолковали бы еще дольше, если бы на этот раз Грайвороново не протянуло на помощь Смурину своей белой барской руки.

Знакомство Кряжева с помещицей, как уже сказано, поддерживалось. Лизавета Петровна, видя в Кряжеве мужика деятельного и смышленого, нередко обращалась к нему за некоторыми указаниями и советами по хозяйству. Так, Дмитрий, между прочим, переговаривался от ее имени с крестьянами по поводу аренды земли, делал для нее разные закупки, мастерил ей коечто по дому... Запрошлою осенью, по возвращении барыни в Грайвороново, однажды вечером Дмитрий сидел в ее рабочем кабинете на полу и починивал у стула ножку. Тут ему впервые удалось заговорить с барыней о кассе, о том, как бы ему хотелось устроить это дело, но дело стало за деньгами. Упомянул он и о том, как мешают ему кулаки, как бьются они из всех сил расстроить кассу. Лизавета Петровна до той поры видела в Кряжеве лишь ловкого малого, способного на все руки, и нередко удивлялась его сметливости. Но теперь, когда он, наклонившись над стулом и встряхивая своими густыми волосами, простым, внятным языком говорил о кассе, о мире, о его нуждах, о кулаческих происках, барыня отложила книгу в сторону и с живейшим любопытством, во все глаза смотрела на Кряжева. Ее молодое, красивое, симпатичное лицо разгорелось, и радостное удивление светилось в голубых ее глазах, пристально устремленных на рабочего. Но чем долее го-

ворил Кряжев, тем серьезнее, задумчивее делалась молодая женщина, и когда наконец он кончил и, встав на ноги, отряхивал с себя стружки и опилки, Лизавета Петровна пытливым взглядом смотрела на его мощную фигуру.

— Ну, теперь будет крепко, — молвил Кряжев, повертывая стул кругом на одной ножке; но, глянув на барыню и видя, что она о чем-то задумалась, поставил стул на место и тихо пошел к двери.

— Дмитрий Михайлыч, постойте! — вдруг заговорила барыня. — А ведь это дело можно устроить! У меня есть теперь деньги, я могу вам дать, если хотите... Рублей пятьсот довольно будет?

— Пятьсот! — широко раскрывая от удивления глаза, проговорил Кряжев, как бы веря и не веря своим ушам. — И трехсот за глаза будет довольно... Ведь у нас уж порядком собрано... — Моих двести целковых... Лисина тоже, да прочих...

И проговорил Кряжев с барыней чуть не до свету.

Все-таки прошло полгода, прежде чем смуринцы, в числе сорока трех человек, порешили написать устав и послать его с Кряжевым в город. Устав съездил в Питер и, по утверждении, возвратился неделю тому назад восвояси. А назавтра в селе Смурине назначено было торжественное открытие ссудо-сберегательного товарищества. За всеми этими хлопотами прошло с год времени — значит, Кряжеву пришлось долгонько ждать.

Завтра — Николы вешнего! Завтра откроется, наконец, касса, и закручьевские кулаки изрыгнут на Кряжева свое последнее проклятие. Понятно, почему Дмитрий так долго сидел в ту ночь под навесом своего крыльца. Вот запели на деревне петухи. Кряжев поднял голову и глянул на поле. Поле тонуло в синеватом сумраке; белесоватая роса стлалась по земле. Темное небо горело яркими огнями, и было в нем тихо, как и на земле, в этот тихий полуночный час. Не совсем-то спокойно было в душе Кряжева. По ту сторону Вожицы как бледные призраки восставали перед ним в полусумраке новые хоромы, с тесовыми кровлями, с разукрашенными ставнями. Их светлые окна словно подмигивали Кряжеву, насмехались над ним и словно хотели промолвить: «Человече, человече! Напрасно ты эту игру завел с нами! Вишь, какие мы крепкие! Не обмишурься, гляди! Лба себе не разбей!»

V. НИКОЛА ВЕШНИЙ

Денек выдался красный. Солнце ясно взошло над Смуриным, и в синем небе не видать было ни одного облачка. В урочный час пробрел церковный сторож, стуча ключами, и полез на колокольню, вспугивая мимоходом приютившихся там галок. В урочный час раздался над смуринским приходом первый удар колокола, звавшего к заутрене. Мерно и ровно гудел колокол в свежем утреннем воздухе, и гудел не напрасно. По всем проселочным дорогам и тропинкам, по полям и перелескам по направлению к Смурину двигались поодиночке и толпами крестьяне, бабы, парни и девки. Приумылись для праздника деревенские люди, попригладили взъерошенные волосы, а на плечи себе натянули самую нарядную одежду. Везде мелькали пестрые платки и красные рубахи. Зажиточный, богатый люд катил в телегах на крепких рысистых лошадках, серой пылью обдавая нарядных пешеходов. А пешеходы кланялись вслед телегам...

Народу в то утро двигалось к Смурину больше, чем обыкновенно в праздник, по двум важным причинам. Во-первых, в смуринской церкви один из приделов был посвящен Николаю чудотворцу, и потому смуринцы на Николу вешнего варили пиво, а соседи, ближние и дальние, в тот день приходили гулять на Смурино и гостили кто день, кто два, а кто и долее. На праздник приезжал сюда из города торгаш и неподалеку от церкви, на лугу, раскидывал свою походную палатку, служившую центром гульбища и игр. Приезжали также из города купцы в Закручье, наезжал становой, а в Грайвороново в прежнее время много собиралось соседнего помещичества. Во-вторых, по деревням прошел слух, что на Смурине в Николин день будут открывать кассу и выдавать крестьянам деньги, что всем этим делом орудует Дмитрий Кряжев и что закручьевцы на это шибко серчают.

Той порой, как шла заутреня, торгаш возился на лугу, уставляя свою палатку и располагая в ней лотки с пряниками, леденцами, орехами и моченой грушей. Позади палатки стояла телега, и тут же ходила стреноженная рыжая лошадка. Несколько мальчишек, шедших к заутрене, остановились и глазели на груды сусляников.

— Больше пуда, поди! — заметил один.

— Э-эх ты, фитюй! Пудов десять тут! — возразил другой.

— Ну, брысь вы! Бежи в церковь! — крикнул торговец, когда один востроглазый парнюга слишком близко подобрался к лоткам.

— А сам-то что? — крикнули ребята, пятясь назад.

— Вот я вас, голь озорная! — рявкнул торгаш, приподнимаясь из-за лотков и оборачивая к ребятишкам свое красное, вспотевшее лицо.

Ребята убежали... Смуринская церковь стояла на холме и была видна издалека. С северной стороны холм, незаметно понижаясь, сливался с лугом, а с остальных трех сторон обрывался совершенно крутым уступом, и бока его были выложены серым камнем. Кроме главного входа, с железными решетчатыми воротами и с широкими каменными ступенями, на погост вела еще с поля маленькая каменная лестница и калиточка без запора — это с полуденной стороны. По самому краю обрыва проходила деревянная ограда... Церковь была каменная, старенькая, с узкими окнами, с красной кровлей. Кладбище по недостатку места лет пятьдесят тому назад было перенесено с холма поближе к лесу; лишь для грайвороновских владельцев еще оставалось местечко, обнесенное чугунною решеткой, за которой уж серело несколько тяжелых плит. Грайвороновским владельцам предоставлялось место для вечного покоя при церкви в уважение того, что храм создал один из их предков... Все-то на погосте выглядело ветхо и сумрачно. Деревянная ограда совсем потемнела, поросла мохом; ворота поржавели; каменные ступени у входа расщелялись, поопустились, и в черных трещинах их прозябала зеленая травка. Церковная крыша полиняла; на стенах ясно обозначались красные ряды кирпичей; старые стекла в окнах отливали из-за решеток всеми цветами радуги. Кусты ив, разметавшиеся во все стороны у главного входа, не слишком веселили это место. Но яркое майское солнышко и кругом свежая зелень скрашивали в то утро смуринский погост. Смуринцы же всегда смотрели с почтением на свой старый, развалившийся храм. Ребятишками они бегали играть на этот погост; в этих старых стенах они венчались со своим суженными, крестили ребят, приносили отпевать своих покойничков. Колокольней смуринцы даже положительно

гордились: не было во всем околотке — верст на пятьдесят в окружности — выше и краше ихней колокольни. Шпиц такой высокий и блестящий, что по вечерам, по захождении солнца, когда на землю упадали тени, верст за десять было видно, как блестит и горит в ясном небе, ровно звездочка теплится, их славный смуринский шпиц.

По окончании заутрени народ выбрался из церкви, и скоро погост и прилегавшая к нему луговинка представили одно волнующееся пестрое море голов в шапках и в платках. В ожидании обедни богомольцы расположились кругом церкви кто как мог. И из смуринцев на этот раз многие не пошли домой. Составились кучки, пошел говор, сначала вялый, тихий и отрывочный; затем он все пуще и пуще разгорался, так что на погосте наконец составилась как бы одна большая сходка. Зачали, как водится, с домашних дел. Толковали про посев, про озими, про то, что «для ярового надо бы дождичка»; жаловались, что «отава мала», что «скотинка, почитай, совсем голодная приходит с выгона», что «сена уж и званья нет», что «соломы мало — все сараи раскрыты, и гумны пусты, хоть шаром покати». Поговорили об огородах и канавах: одни, вишь, повалились, другие осыпались — поправлять надо... Потом перешли к податям и добрались до новостей дня. Тут уж разве только немой молчал да глухой не слушал.

Около церковной двери собрался кружок деревенских тузов. Тут был и Григорий Иванович Прокудов, и зять его Антон Кудряшев, и Андрей Беспалый, и Сысой Иванов, волостной старшина, и «богатеющий» Кузьма Иванович Чирков, с которым читатель близко познакомится впоследствии, и приказчик Чиркова, Василий Лукьянов — человек юркий, «огневой», и многие другие. Антон Кудряшев держал речь. Антон был мужик лет за сорок, длинный, сухопарый, с желтым сморщенным лицом и с неподвижными выцветшими глазами. Его длинный, тонкий нос был по какому-то случаю немного погнут вправо, и Кудряшев, рассуждая о чем-либо поглубокомысленнее, прикладывал обыкновенно указательный палец правой руки к своему кривому носу, словно бы желая выпрямить и привесть его в надлежащее положение. Синего сукна кафтан висел на нем, как на вешалке. Новая, лоснящаяся черная фуражка была сдвинута слегка на затылок. Грязные замшевые перчатки

торчали из кармана. В прежнее время Кудряшев поставлял помещикам вина, а теперь обратил свое внимание на мужиков, завел в Смурине кабак и уже намеревался весь околоток покрыть сетью питейных домов. Кудряшев любил риск и всякие грандиозные предприятия, был даже несколько мечтателен. Нововведений он не чурался, лишь бы они споспешествовали наживе. Кудряшев пошел в гору с той поры, как в компании с одним городским купцом взял поставку сапог на ратников. Рядом с Кудряшевым стоял Андрей Беспалый, малорослый, мозглявый мужичонко, с вылупленными глазами, словно бы он поминутно ожидал увидеть перед собой что-нибудь необычайное. Он постоянно одергивал и вздымал плечи. Это уж была птица иного полета. Беспалый был кулак старого закала, обирал крестьян патриархальным образом, риску не терпел и чуждался всего нового.

— Я скажу так, — говорил Кудряшев, расставляя ноги и прикладывая к носу палец. — Все это одна только пустая смута — и больше ничего! А кто смутьянит — берегись, потому не ровен час. Пущай их! Только я, примерно, вот что. Теперь у них в кассе деньги будут. Почнут они тащить оттоле. Ладно! Да ведь не век же тащить будут: тысяча-то целковых не ахтительный уж какой капитал! Они на радостях-то теперь думают себе, что им и черт не брат; что ихней кассе и дна нету, николи и изводу ей не будет... Народ! А к петровкам, гляди, обчистят во-о как! Вынимать-то легкое дело, а вкладывать-то из чего? Вот ты мне это-то самое и растолкуй, сват! Не смекну, вишь... — И Антон кивнул головой Прокудову.

— От трудов своих праведных и понесут, знамо дело! — с легким вздохом и с ехиднейшей усмешечкой ответил Прокудов.

— От трудов праведных! Э-эх, к богу их труды-то...— продолжал Антон. — Знаем мы, каковы они есть плательщики! Ихнее дело только брать, а получка-то с них на том свете разве... Так вот я и говорю; разорят они эту кассу живо...

— И другую заведут, коли одной мало покажется! — смешком заметил старшина, отпыхиваясь.

— И другую провалят, — продолжал Кудряшев, — и третью провалят, и ничего то есть у них толку не будет, потому нелюди собрались... Вот что!

— Ну, до другой-то кассы им еще придется посвистать! — возразил Прокудов. — Кто им поверит-то? Теперича они барыню обошли — ну ладно, а тогда и она их пугнет от себя... А окроме ее, никто еще не ополоумел. Отколе им денег взять? Не промыслить им и гроша ломаного...

— А ежели, примерно, возьмут да недочет-то ихний, по кассе-то, значит, — на все обчество разложат? — мучимый скупостью и алчбой, вопросил Андрей Беспалый, таращa свои буркалы. — Оченно уж это обидно, потому как есть...

— Ну чего, чего ты мелешь-то! Акимша ты простота! — перебил его Антон с жаром. — Разве мы поручители? Разве мы записывались в их общество? Да наплевать нам и на кассы-то ихние! Мало ли что надумают! За каждого дурака не переплатишься!

— Это точно! — подхватил Беспалый. — А писарь, слышь, говорил, что и указу-то насчет кассы не выходило. А это, вишь, все, сказывают, Митюхины проделки...

— И неужто ж нет на него управы? — с важностью заметил Чирков, дотоле хранивший глубокое молчание.

— Истинно что каторжный! — проворчал Прокудов.

В ту минуту мимо кулаков проходил Илья Петрович Лисин — также закручьевец, толстенький, прилично одетый человечек. Его серые глазки так и бегали, так и метались туда и сюда, как загнанные мыши; они ни на чем не останавливались и на все, по-видимому, взглядывали мельком. Мягкая улыбочка мелькала на его тонких губах и словно молвить хотела: «Мы себе на уме». Теперь он держал в руках свою синюю фуражку, крестился и приглаживал свои светлые, в скобку подстриженные волосы. Небольшая светленькая же бородка была тщательно расчесана и блестела на солнце.

— С праздником, господа! — проговорил он, поравнявшись с тузами и здороваясь с ними за руку. — Никак сходку собираете!..

— Илья Петрович! А ты тоже в кассу записался? — спросил его Андрей Беспалый.

— Да, записался! Пятьдесят целковых внес... ну их! — протянул Лисин, снисходительно усмехаясь и пожимая плечами.

— Тэ-э-эк! — пробурчал Беспалый, теребя себя за бороду.

— Лиса так лиса! — вполголоса заметил Прокудов, когда Лисин своею крадущеюся, кошачьею походкой направился далее.

— И что это всамделе за человек такой — подхватил Кудряшев. — Не разбери бог! И нашим и вашим... Гляди-тко, гляди-тко: к Митьке подходит! Вот и поди тут! Толкуй с ним...

Шагах в двадцати от кулаков, у самой ограды, собралась густая толпа и своим говором и гулом покрывала голоса закручьевцев и их гостей. Лисин протерся в толпу, протискался до Кряжева и поздравствовался с ним. А Дмитрий в ту пору, пользуясь удобным случаем, толковал с крестьянами, пришедшими из дальних деревень.

— Вот касса-то им не по нутру приходит, не по нраву, значит! — говорил он. — Теперь мы все к ним идем да боками своими отдуваемся, а как касса-то будет, так не каждый к ним пойдет!

— Барыню-то обобрали! — донеслось из толпы кулаков.

— Язык-то мозолить можно! Для че не мозолить! — с жаром вполголоса промолвил Лисин, вздергивая плечами.

— Ужо поприжмут хвосты-то!—заметил кто-то громко у ограды.

— Кто же это прижмет-то? В каком это законе писано, чтобы хвосты-то прижать нам? — послышалось из среды кулаков.

— Ну, Митюха! Подпустил же ты им химию! Вишь, как встрепенулись! — крикнул какой-то смешливый паренек из смуринцев.

Хохот пронесся в толпе. Лисин тем временем был уже далеко. Неизвестно, чем бы кончились начавшиеся вслух крупные рассуждения, если бы кулаков не сдерживал Сысой Иванов, а крестьян не унимал Кряжев. Наконец снова ударили в колокол. Смуринские колокола весело загудели над погостом. Препираться стало неудобно... Скоро пришел и отец Петр, помахивая рукавами своей черной рясы. Началась обедня, погост опустел. После обедни священник вышел на амвон с краткой речью к прихожанам.

— Вот, православные, один из вас хочет послужить дому божию! — сказал он, забирая волосы за ухо. — Доброе дело — и в добрый час ему! Вы уж слышали,

может быть, что Кузьма Иваныч берется подновить и украсить в нашем храме придел Ивана Богослова. Он все на себя берет, хочет память о себе оставить, выговаривает себе только поминанье. А вы, православные, все-таки, ежели что понадобится, — уж не откажите. Не нам дадите — богу дадите!

— Ну, тут что-то не добром запахло! — шепнул Кряжев парню, стоявшему с ним рядом.

То был племянник Прокудова, брат Евгении, по имени Аггушка — живая загадка всего смуринского околотка. Аггушка был молодец лет двадцати шести, с густыми, косматыми, рыжеватыми волосами, от которых его большая голова казалась просто чудовищною. Большие серые глаза блестели огнем, большой горбатый нос далеко выдавался вперед, на толстых губах поминутно играла насмешливая и часто злая улыбка, а его грубое, некрасивое, хотя и слишком выразительное лицо выглядело недовольно и угрюмо. В настоящую минуту, когда он исподлобья глядел на отца Петра, кислая усмешечка пробегала по его губам. На замечание Кряжева он ничего не сказал, только улыбочка его еще пуще окислилась и затем мгновенно сбежала с лица.

Народ с глухим жужжанием повалил из церкви.

После обедни в доме Лисина был отслужен молебен и затем открыто ссудо-сберегательное товарищество. В члены правления были выбраны: Лисин, Кряжев и Горелый. Попечительницей же назначена Лизавета Петровна Водянина.

VI. АГГУШКИНЫ ПРОКАЗЫ

Днем только мальчишки сновали по лугу, и торговец только еще с ними вел грошовую коммерцию, сбывая им залежавшийся товарец: вымокшая груша и гнилые орехи кучей переходили с лотков в пригоршни к ребятам. Гости той порой угощались по домам или отдыхали. Становой пил чай у отца Петра, пообедал у Кудряшева и перешел к Прокудову. Под вечер смуринцы, стар и мал, высыпали на улицу. Девушки с песнями плясали середь улицы и водили на лугу хороводы. Мужички слонялись из избы в избу, опоражнивая ковши пива, или стояли в сторонке, орали песни, сидели на бревнах против правленья и толковали о своих делах. И из Закручья две-три девушки появились на лугу в

цветных платьях и с лентами в косах; но они не смешивались с «кузнецкими», а подошли к поповской дочке и, взявшись под руки, расхаживали взад и вперед, смеясь и перешептываясь. Прокудовская Евгения была одета по-городскому, в зеленом шерстяном платье и в блестящей сеточке на блестящих черных волосах. Черный лакированный кушачок обхватывал ее стройную талию и обрисовывал пышную грудь. Густой румянец покрывал ее щеки; глазки бойко взглядывали по сторонам... Серьги с большими подвесками так и горели в ее ушах; на пальцах блестели два колечка. Прямо сказать, Евгения была так хороша, что ее здоровенные румяные подруги и толстая поповна в подметки не годились ей. Все молодцы и даже лупоглазый кудряшевский племянничек и весноватый кутящий сынок Андрея Беспалого засматривались на нее. Волостной писарь Евграф Зайцев приударил тут же за Евгешей и вместе с леденцами готов уже был предложить ей свое вдовье сердце. К несчастью, Евграф Зайцев был неуклюж, с красным угреватым лицом и с волосами наподобие мочалы. Он выставлял из заднего кармана красный кончик носового платка и с шумом нюхал табак: эту манеру он перенял от исправника, во многом служившего ему образцом приличий и светскости. Он, конечно, не мог нравиться Евгеше, но Евгеша все-таки лукаво посматривала на него, ела его леденцы и смеялась его остротам. Ей льстило внимание писаря, потому что писарь все-таки не то, что серый мужик, а в некотором роде чиновник.

— У нас, Евгения Ивановна, многим вольнее, чем у вас в Питере-с, — заговорил он. — Места у нас — страсть, погулять есть где...

— С кем гулять-то у вас? Со скотиной на выгоне, что ли? — возразила Евгеша.

— И со скотинкой можно-с. А то ведь у нас тоже-с кавалеры есть-с! — отрапортовал расчувствовавшийся писарь, устремляя свой маслянистый взгляд на красивую смуглянку.

Евгеша расхохоталась.

Дмитрий Кряжев, проходя в то время по лугу, заметил, как Аггушка накупал у торговца пряников и совал их к себе в карманы.

— Аггуша! — крикнул ему Кряжев вдогонку, — куда те этакое место сусляников? Нешто всех девок накормить хочешь?

— Не кричи! — подмигивая, отозвался тот вполголоса, делая шаг назад. — Погоди ужо... Такую ли музыку заведем, что чертям тошно станет!

Аггушка был шутник большой руки, много за ним водилось разных причуд. К тому же Кряжев был все еще занят кассой, а потому и немудрено, что Аггушкины слова он пропустил мимо ушей.

— Вот еще какие у нас есть кавалеры! — с усмешкой говорил писарь, указывая девушке на Дмитрия. — Вот, примерно, Кряжев, чем же не кавалер-с? Первый умник по всей волости, красавец писаный и просто Бова-королевич... От дяденьки, может, слыхали про него? Этот самый Митька Кряжев, изволите видеть, вашего дяденьку и все Закручье хочет в бараний рог согнуть.

Девушка на такое донесение очень мило состроила гримаску и от смеху раскраснелась еще пуще.

— Вы будете потише-с! Они у нас строги, очень строги-с! — скороговоркой молвил писарь. — Он и вам не спустит, ежели что... Да-с! И вас в бараний рог согнет, потому это им ровно ничего-с не значит...

— Тятенька говорит, что всех бы их выстегать надо! — вмешалась поповна, складывая зайчика из своего носового платка.

— Помилуйте-с! — с притворным изумлением возопил писарь. — Да про них еще и прутьев в лесу у нас не выросло! Нет, это уж ваш тятенька напрасно-с!

А Евгения между тем пристально следила за удалявшимся Кряжевым, в сравнении с которым юливший перед нею писарь казался просто чурбаном в человеческом платье. Своею обычною твердою, мерною поступью шел Дмитрий, заложив руки за спину и насвистывая песенку. Плисовая поддевка ловко сидела на нем, ровно вылитая; белая ситцевая рубаха издали отливала серебром, и круглая шапочка была заломлена набекрень. Кряжев сильно занимал Евгешу. О нем она услышала тотчас же по прибытии своем в Смурино: его ругали дядя с теткой, все Закручье поминало его недобром, родной брат от него отрекался, как слышала она вчера сама. Про Митюху говорили в избах, на улице, на всех перекрестках. Евгеша слышала, что Дмитрий вхож в барский дом, что барыня помогала ему и кассу устроить; слышала она и о том, что все смуринцы слушают и почитают его. Долго смотрела Евгеша вслед уходившему Кряжеву, и много вследствие

того писарских острот пропустила она мимо ушей.

Становой, располагавший было покутить на Смурпне всю ночь, вдруг был неожиданно отозван верст за двадцать, на Борисово, где баба мужу вилами бок просадила.

Известно, что читатель не любит отступлений, но такой человек, как становой третьего стана, по справедливости заслуживает исключения. Арсений Викторович Перемыкин был человек, в некотором смысле, замечательный. Не столько была замечательна его лысая голова, его — как месяц — круглое лицо, украшенное рыжеватыми бакенбардами, сколько, собственно, его духовная сторона. Во-первых, Арсений Викторович имел непреоборимое отвращение к печатному слову; кроме рапортов и отношений, он ничего не читал и гордился тем, что у них с женой во всем доме ни одной книги нет и не бывало. Во-вторых, он имел две склонности: к мертвым телам и к карточной игре. Впрочем, первая склонность была преобладающею. Если даже в самом разгаре игры ему докладывали, что нашлось мертвое тело, то становой, положительно, шалел и скакал на место происшествия — будь то ночью, в распутицу, в бурю или в метель — все равно! Встречаясь на дороге с знакомыми, он от избытка чувств только махал вперед рукой и восклицал: «Тело!» Те уж знали, в чем дело, и не распространялись. Так все и летал он и скакал из края в край, из деревни в деревню, от одного мертвого тела к другому. На жизнь живых существ он обращал значительно менее внимания, чем на тела мертвые. Во сне и часто даже наяву он бредил об открытии, о вскрытии, о вырытии мертвых тел.

Понятно, что, услыхав о проколотии мужа женой, становой, при всем своем добром желании, не мог остаться пировать с закручьевцами. Прощаясь с ними и пожимая руку Прокудову и Кудряшеву, он промолвил:

— Ужо как-нибудь опять заверну к вам по пути. А вы, ежели что, сейчас дайте знать...

Кулаки низко кланялись. Становой сел в тарантас, а там, о бок с ним, уже очутилась бутылка коньяку. Становой, по-видимому, увидал ее и, прикрыв ее целомудренно капюшоном своей серой шинели, выставил еще раз напоказ свое красное лицо с торчащими бакенбардами и, сказав «за угощенье», зычным голосом крикнул ямщику: «Пошел!»

Когда серая пыль, поднятая промчавшейся тройкой, улеглась и звон колокольчика уже замирал вдали, гурьба ребятишек и парней — голов в тридцать или сорок — с воем и свистом направилась со Смурина на мост и повалила по Закручью мимо тесовых хором. Неистовый гам, дикие завывания и крики понеслись по улице. Почтенные хозяева выглядывали из окон, а мальчишки высовывали им языки, показывали кукиши — словом, срамили «лучших людей» как нельзя хуже. И вдруг, в довершение всего этого озорства, хор диким голосом завыл:

Толстобрюхи, толстобоки,
Берегите свои боки;
Тамо денежки бренчат,
Ровно выскочить хотят.

Ругань и крепкие словца сыпались на певцов. А Аггушка стоял за колодцем и хохотал до надсады над тем, как орали закручьевцы, как визжали бабы и как дикий вой заглушал их писк и визг. Зрелище, поистине, вышло необычайное. Куры, ополоумевшие от страху, метались из стороны в сторону, поднимая пыль; собаки лаяли и выли; малые ребята ревели, как ошпаренные. Полуглухая старуха, бабушка Анисья, мать Беспалого, сидела на лавке и, созерцая всю эту кутерьму и ровно ничего не понимая в ней, мотала головой.

— Ну, ребята! Сшалели... Шабаш, да и полно! — сопела она себе под нос, уставив на толпу свои мутные, безжизненные глаза.

Вдруг с кудряшевского двора выскочил огромный черный пес и бросился на толпу.

— Усь, усь их! Куси, куси! О-го-го! О-го-го! — орал захмелевший племянник Кудряшева, махая из-за ворот рукой, в то время как со всех сторон в ребят начали швырять щепками и осколками кирпичей.

А черный пес делал свое дело. Он свалил с ног какую-то девочку, другой разорвал весь сарафанишко, бросился на мальчугана и ухватил того за горло. Поднялись вопли и смятение. Наконец какой-то дюжий парень из смуринцев прорвался к месту побоища и, бросившись на пса и сам ухватив его обеими руками за горло, вместе с ним повалился наземь. Пес дико рычал и рвался; парень остервенился и тоже рычал, визжал и не выпускал из рук черного чудовища. Его левая рука в двух мес-

тах была уже прокушена, и кровь шибко текла из нее. Несколько мгновений мощные борцы возились среди улицы в прахе... Наконец человек так стиснул горло своему четвероногому врагу, что тот как-то странно вытянулся и помутившиеся глаза его, не моргая, уставились куда-то вдаль. Окровавленная пена текла у него изо рта, зубы крепко стиснулись. Парень поднялся — весь истрепанный, в пыли и крови. В ту же минуту серый булыжник полетел в одно из светлых окон кудряшевского дома. Стекла зазвенели и посыпались. Толпа бегом спустилась на мост и рассыпалась по деревне, оставив после себя разбитое окно, следы крови и среди улицы труп страшного пса. Аггушки не было видно нигде.

Закручье взволновалось и находило необходимым перепороть поголовно всех смуринских озорников. Кудряшевский работник уволок пса во двор. Разбитое окно заставили ставенькой, а Антон божился, что беспременно донесет по начальству на этакий разбой. Матери искусанных ребят голосили на чем свет стоит и жаловались, что Антон надо быть скоро всех их собаками своими затравит. Закручье толковало все о разбитом окне; на Смурине только и речи было, что об искусанных ребятах и об изорванном сарафанчике. Впрочем, Закручье скоро попритихло и угомонилось ввиду угрожающего положения, какое заняли смуринские бабы, Закручье притворило окна и ворота, огня даже не вздувало, а гости и хозяева сидели в потемках и втихомолку потягивали пивцо.

Смурино же шевелилось все пуще, рычало и огрызалось. Раздавались визгливые возгласы и угрозы...

VII. ДОБРАЯ БАРЫНЯ

Кряжева в ту пору, как на грех, не было на деревне. Он сидел в барском доме, в кабинете у Лизаветы Петровны...

На письменном столе горела лампа, и от ее голубого абажура на собеседников падал синеватый оттенок, и лица казались подернутыми мертвенной бледностью. В комнате веяло зеленью и прохладой. Окна в сад были открыты; ветви цветущей сирени лезли на подоконник. Синее небо, сквозившее между ветвями дерев, казалось еще синее от света горящей лампы. Лизавета Петровна, впрочем, не любовалась на этот раз картиной ясного

вечера, догоравшего над ее садом. Она сидела у стола, спиной к окнам, и рассеянно играла перочинным ножичком. Она только что проводила своих немногих гостей и казалась усталою. Кряжев сидел против нее, у стола, и помешивал ложечкой чай в своей чашке.

— Ну что, Дмитрий Михайлович! Весело вам сегодня? — спросила его барыня, немного наклоняя абажур и закрывая глаза.

— Да как же! — задумчиво отозвался Кряжев, рассматривая на чайной ложечке коронку и вензель Водяниной. — Я и то за обедом сегодня целую красоулю пива выпил... С радости-то! А все вам спасибо, Лизавета Петровна! — добавил он, откидываясь на спинку стула.

— Да я-то при чем тут? Я рада, что деньги мои на что-нибудь пригодились...

— Гм! При чем! — передразнил ее Кряжев, прямо глядя в ее ласковые, кроткие глаза. — Да мы без вас провозились бы тут и невесть-кое время. Без денег-то ведь ничего не поделаешь!

Голубые глаза говорили правду: ласкова и добра была барыня...

Несчастлива она была в девушках. Человек, которого она отличила, который увлек ее обещаниями какой-то новой, лучшей жизни, оказался пошлым болтуном, рассчитывавшим сделаться владельцем Грайворонова и пожить — полиберальничать на ее счет. Несчастлива она была замужем: ни муж ее не понимал, ни она мужа, и жили они вместе три года, словно в прятки играючи. Наконец муж умер, и Лизавета Петровна осталась одна-одинехонька и на свободе.

Сохранившись и душой и телом, она была мила и простодушна, как и во дни оны. Ей и теперь хотелось бы делать добро, как можно больше добра. Она близко принимала к сердцу горе ближнего. Но часто, оставаясь наедине, молодая женщина глубоко задумывалась: темная тень набегала на ее ясное лицо. Ее мучило тяжкое сознание бессилия и беспомощности. Это сознание пуще времени старило ее, отравляя ей жизнь на каждом шагу. Она уже убедилась, что действительно добро может делать лишь тот, у кого есть знания. А ее сначала учила гувернантка, потом муштровали в пансионе, и ничего путного не вынесла она оттуда. Правда, она теперь много читает. Но то все больше книги нена-

учные... «Ну что я могу, что? — спрашивала она, бывало, сама себя, лежа в постели и томимая бессонницей. — Я могу только читать, писать кое-как и кое-что говорить — и только».

Побывала Водянина в Петербурге, и удалось ей там попасть в некий кружок «новых людей», распинавшихся за все человечество. На нее посмотрели там свысока, чуть не с презрением, как на простушку, как на провинциальную барышню. И скоро увидела она, что не все то золото, что блестит; что далеко не все те хороши, кто хорошо говорит и пишет. Скоро увидела она, что в этом кружке преследуются на деле лишь личные, узенькие цели и сплетня царит в нем во всем своем безобразии. Все это для Водяниной, как для простушки, еще не было старою истиной, она не могла превозмочь отвращения и отшатнулась от этих самозваных «новых людей». Потом удалось ей войти в кружок доброй, здоровой молодежи. Тут встретили ее просто, посмотрели на нее по-человески. Здесь не чесали языков, а учились и действовали. Здесь-то Водянина научилась сочувствовать не только личному несчастью, но и тому вековому горю, которое, как одной горькой волной, разлито по всему миру. Горизонт ее расширился...

Устройство кассы ее немного оживило, придало бодрости. Авось смурницы дадут ей больше, чем те хвастливые, самодовольные «новые люди», приближаясь к которым, она надеялась встретить полубогов, героев, а вместо того нашла лишь глиняные черепки! В описываемую пору Водяниной около тридцати лет, но она еще очень моложава. Она блондинка, среднего роста, худенькая. Ее голубые глаза глядят как-то странно; словно она все смотрит на кого-то с сожалением или кого-то молит о чем. Она ходит тихо, потупившись; говорит мало и отрывисто; одевается даже чересчур просто, небрежно. Ее светлые русые волосы подстрижены, но они вьются и часто падают ей на лоб.

— Вот еще школу заведем! — пробуждаясь из задумчивости, проговорила барыня. — Такое большое село, а школы нет! Ведь просто срам!..

— Я уж сам думал об этом не однажды! — отозвался Кряжев. — Да, вишь, в Красных Горках школа есть. Мы за нее платим, да и земство от себя прибавляет. А какая это школа? Учитель-то тамошний — пле-

мянник благочинного. Учит дрянно, испивает, да и ребят еще дерет. Оттого и ходят-то к нему малость самая. Из Закручья трое, да шестеро от нас, да красногоркинских сколько-то.

— Все это можно, — в раздумье проговорила барыня. — Флигель у ворот пустой стоит. Поправить, так годится еще...

Несколько минут длилось молчание. Вдруг из деревни донесся глухой рев, словно бы плотину у мельницы прорвало.

— Что это у них за шум такой! — заметила барыня, прислушиваясь.

— Наши, значит, гуляют! — добродушно усмехнулся Кряжев и затем, очевидно увлекаемый какою-то мыслью, облокотился на стол и заговорил с жаром: — Вот так взаправду чудной... Аггушка-то! Я вам сказывал про него... Все ему, вишь, не ладно! И в кассе нет проку, и все плохо. И не записался... Никак то есть на него не потрафишь!

— А вы бы сказали ему, что и Москва не вдруг строилась, что всего ведь разом не охватишь! — потупясь, промолвила барыня.

— Говорил... Неймет! Знай себе головой мотает...

Немного погодя в комнату вошла горничная девушка и объявила, что пришли из деревни за Дмитрием Михайловичем.

— Ну вот допраздничались наши! — говорил Кряжев, возвращаясь через несколько минут в кабинет.

— Что там такое? — торопливо спросила барыня, с тревогой взглядывая на Кряжева.

— Да на деревне у нас не ладно... — И он вкратце передал Лизавете Петровне о закручьевском деле. — Эх, народ, народ! — с досадой закончил он, вытаскивая с этажерки из-за книг свою шапку.

— И чаю не допили! — заметила та.

— В другой раз допью! — отозвался Кряжев и, стуча сапогами, торопливо пошел вон.

Он поспел вовремя. Толпа смуринских баб совсем уж была готова идти и «вытрясти всю душу» из Закручья. Несколько мужиков также пристало к ним, и руки, всю жизнь работавшие молотом, сжимались крепко в кулаки. Хмель всем поддавал задору. Немалого труда стоило сговорить с охмелевшими обозленными смуринцами. Они сначала и слышать ничего не хотели.

«Пойдем» да «разобъем» — только и вертелось у них на языке, с приправой всяких крепких слов.

— Ничего, братцы, вы путного не поделаете теперь! Вы же виноваты будете, вас же за разбой к суду притянут! — говорил им Дмитрий Кряжев. — Ишь как вино-то вас разобрало! Спите-ко, добро; утро вечера мудренее.

Угомонилось-таки Смурино. Только залихватские песни долго еще раздавались на улице, песни громкие, удалые, от которых не только оконницы вздрагивали, но трепетали и закручьевские сердца.

Кряжев вышел из деревни и направился к хатке, стоявшей в поле, на бугре, в полуверсте от Смурина. Там жил Аггушка. Аггушка был дома и — на ту пору, как подошел Кряжев, — сидел перед своим единственным оконцем, на обрубке дерева. Рыжая косматая дворняжка лежала у его ног.

VIII. ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК?

Аггушка был сирота. Отец его за убийство управляющего был сослан в каторгу, мать умерла — и его с Евгенией взял к себе на побегушки Григорий Прокудов, приходившийся им дядей. Горько, круто приходилось Аггушке под кровом его благодетеля, рано пришлось ему встать во вражду ко всему окружающему и сделаться зверем. Все его били, как собачонку, морили голодом; тетка раз нарочно ошпарила его с ног до головы кипятком; дядя чуть не каждый день хлестал его то ремнем, то прутом, а то однажды так треснул плакой по голове, что Аггушка часа три без дыхания лежал, думали, помер. На деревне, по его рыжим волосам, звали его «красным чертом», а по отцу «убивцей». И точно, хотя Аггушка в ту пору не был «убивцей», но уже мог сделаться им. Однако мальчугана не могли забить вовсе, был живуч. Он мстил благодетелям-недругам как и чем мог, пакостил им всячески на каждом шагу. То новый теткин платок в печи спалит, то дядины сапоги в колодезь отправит, то заберется в летнюю горницу и у двоюродной сестрички своей, Грунюшки, праздничный сарафан на мелкие кусочки ножницами изрежет. И дерут его, дерут без конца. Не случалось на деревне такого баловства, в котором Аггушка не являлся бы зачинщиком или, по крайней мере, не принимал бы живейшего учас-

тия. Поломать ли, разбить ли что — это уж было Аггушкино дело. Он у своих врагов давил кошек, увечил собак, ломал петухам ноги, раз даже хотел поджечь прокудовский двор, словом, истреблял все и вся. Однажды дядя задрал его до полусмерти, но Аггушка как-то вырвался, вскочил, вцепился зубами благодетелю в руку, да так и замер. Зубы были остры. Прокудову пришлось плохо. В другой раз — тоже после истязаний — Аггушка так ударил дядю по лицу палкой, что красный рубец и до сих пор заметен у Григория Ивановича около левого уха.

Подросши, Аггушка очутился дядиным батраком. Когда ему минуло восемнадцать лет, Прокудов задумал довершить доброе дело и отвел племяннику полдесятины никуда не годной земли и пожертвовал ему для житья старую свою баню. Аггушка построил себе сам черную крошечную хатку, сам смастерил печь — только неудачно: пошел дождь — печь размыло; поправил — опять размыло; наконец уж Аггушка ухитрился: печь хоть и дымила, но стояла крепко и не разваливалась. «Кланяться не буду!» — решил он и решенью своему не изменил. И зажил он в хатке с своим взерошенным грязным Медведкой, работая кое-когда на Прокудовых и кое-как справляя свое крошечное хозяйство. На деревне его звали и «чудным», и по-прежнему «красным чертом»... Летом, а иногда и зимой, в морозы трескучие, ходил Аггушка без шапки и босой. Волосы его всегда были всклокочены... На нем болталась жалкая, одерганная одежонка, прорванная рубаха, подтянутая веревкой, и грязные холстинные порты. Редко на его ногах видели лапти и никогда не видали сапог. Его рваную меховую шапку, какого-то особого вида, все знали в околотке.

Аггушка никого и ничего не любил и надо всем смеялся; так по крайней мере думали люди. В церковь редко заглядывал, со смуринцами он не водился, сидел в своей хатке на бугре, как крот, бродил по лесу с ружьем, ловил птиц, сушил разные травы, собирал муравьиные яйца и носил все это на продажу в город. Этого было достаточно, чтобы о нем и об его хатке пошла в околотке худая слава. Про него думали, что он на все идти готов, коли шибко обозлить его.

— В отца пошел! — говорили добрые люди. — И глядит-то... страсть! Вытаращит буркалы, ровно за-

резать хочет... А волосища густые, ровно лес, и красные, как огонь... Того и гляди — спалит!

И действительно, его рыжие волосы и большие темные глаза пугали на Смурине и старого и малого. Ежели ребята начинали задирать и дразнить Аггушку, когда тому случалось за чем-нибудь проходить по деревне (что, впрочем, бывало очень редко), то взрослые унимали их.

— Не трожь его! Пущай идет! — вполголоса уговаривали они ребят.

Аггушка, однако, оказал раз смурницам большую услугу, перебив в одну осень до полдюжины волков, начавших опустошать стада. Одна большая волчья шкура и по сю пору лежит на полатях в Аггушкиной хате как победный трофей. Одни его почитали за разбойника, другие полоумным и дурачком, но все его боялись и сторонились от него, как от чумного. На сходки он не ходил, в общественных делах никакого участия не принимал. И жил Аггушка этак, словно был человек не от мира сего.

— Что за барыня у нас! — говорил Аггушке Кряжев в тот вечер. — Вот-то добрая душа! Все-то о нас думает, все-то она заботится, как и что бы сделать для нас путевого. Черный народ любит.

— Любит! — с глухим смехом отозвался Аггушка.

— Школу вон опять на Смурине у нас завести хочет! — словно недослышав, продолжал Дмитрий.

— Ох, уж эти бабы! — заметил Аггушка. — Вон одна купчиха в городе все денежки на монастыри промытарила да богомолок откармливала... Вот и наша тоже. Одно слово — бабы!

— Да полно, Фома ты неверующий! — начал было Кряжев.

— Ну тя к лешему! — перебил его Аггушка и засвистал.

Помолчали. Из деревни доносилась нескладная разухабистая песня. В траве, где-то неподалеку, скрипел коростель. Тихая звездная ночь стояла над полями. Ветерок не подувал. Свежей зеленью попахивало. Кряжев смотрел на опущенную вниз Аггушкину голову, густо покрытую рыжими космами волос, и думал: «Отчего это Аггуха уродился таким? Никто ему не угодит, не угодит и он никому. Всем-то он опостыл, ровно нехристь, бусурман какой?»

— Что ты, Аггуша, за человек есть, скажи на милость? — спросил он вдруг своего собеседника.

Тот быстро поднял голову.

— Эк тя! — проворчал он с досадой, и усмешкой явственно скривились его толстые губы. — Коли не знаешь о сю пору, спроси на селе, всяк скажет. Красный черт, да вот и все!

— Не ты ли вечор робят-то натравил, а? — немного помолчав, спросил Кряжев.

— Я. А что?

— Для этого и пряники-то покупал? — продолжал расспрашивать Кряжев, во все глаза уставясь на Аггушку.

— Не для девок же!

— Для чего же ты переполоху-то эту задал? Робятам-то досталось, да ужо, гляди, еще попадет...

— Ничего! Пущай привыкают! — тихим и невозмутимо спокойным голосом проговорил Аггушка.

Кряжев покачал головой...

— Ну уж, Аггуха, нечего... Бес в тебе сидит, да гляди не один — с бесенятами, — привздохнув, заметил Кряжев и пошел на деревню.

Аггушка, насвистывая, долго смотрел ему вслед.

IX. С ПОХМЕЛЬЯ

На другой день гулянье на Смурине разгорелось еще пуще, пуще звучали балалайки, и песни и пляски с утра до ночи шли своим чередом. Из Закручья, после вчерашней истории, мало кто показывался на смуринском берегу, даже Евгеша не являлась на луг, и «над кузнецкими девками никто не надсмехался». Писарь еще с утра сделал тетрадку из нескольких листов серой писчей бумаги и вписал в нее из песенника стихотворение в котором, между прочим, значилось:

Все уже превратно стало,
Где утехи прежде зрел:
Тамо нет их, нет ни мало;
Ах! и будто не имел.

После вечерень писарь забрался к Прокудовым с полными карманами орехов и леденцов. Его, как водится, угощали и предлагали ему обратить внимание на «озорство» смуринских ребят.

— Это что ж за порядки такие, Евграф Евстигнеевич, а? — говорил ему кулак. — Хошь на улицу не показывайся! Того и гляди камнем в лоб пустят! Никогда этак-то не бывало...

— Проберем, Григорий Иваныч, проберем-с! Повремените маленько! — успокаивал его Зайцев, выразительно помахивая рукой.

Побалагурил он с Евгенией, затем распрощался с Прокудовыми, повторив свое обещание «пробрать». А вечером, выпив с благоприятелем, чирковским приказчиком, полуштоф водки, писарь опять засел за переписывание стихов, в которых чувство выражалось уже с большею силою и энергией. Евграф Евстигнеевич писал:

Срази, молния несчастна!
Растерзай стенящу груды!
Ах! а ты, моя прекрасна,
Навсегда счастлива будь...

Опять всю ночь до румяного рассвета гремела над Смуриным, разносясь далеко, удалая песенка.

На третий день в пивных бочках уже стало видно дно, пир шел молчаливее, он как бы сосредоточился кругом опорожнивавшихся бочонков. Под заборами кое-где видны были спящие, парни лыка не вязали, хороводы велись вяло, и дикие, хриплые звуки нескладно слетали с балалаечных струн. Наконец, на четвертый день, гости уже расходились, — и шли они от Смурина по всем направлениям, по дорожкам и тропинкам, по полям, лесам и перелескам. Одни брели, спотыкаясь, и тяжело-тяжело вздыхали; другие прикочевывали к лесной опушке и под шум деревьев сладко засыпали. Хозяева были не в лучшем виде. Они вяло и сонливо, как осенние мухи, ползали по дворам около пустых бочек. Торгаш запряг свою рыжую клячу, сложил походную палатку и отправился в город. И с жалобным скрипом покатилась по лугу его телега. Мальчуганы, главные герои закручьевского переполоха, в числе пяти-шести человек, были выдраны, и смуринская улица после залихватских песен огласилась хлестом прутьев и жалобным воем и визгом. Родители искусанных ребят думали было жаловаться, да отдумали. Утро вечера действительно оказалось мудренее. Когда хмель вышел из головы, смуринцы про себя сказали Кряжеву «большое спасибо».

Да! Закручьевская обида вымещена на спинах мальчишек; стекло в окне кудряшевского дома вставлено такое же светлое и хорошее, какое было и прежде, и труп черной собаки зарыт за околицей. По-видимому, никаких неприятных следов враждебного столкновения не осталось. Смуринцы заходили по-прежнему по делам в Закручье, и из Закручья жаловали к ним. Но порванная связь уже не восстановлялась. Смурино послушалось Митюху, пошло против Закручья, завело кассу и вслух грозило кулакам «хвосты прижать». Не забыть Закручью Николы вешнего, как и Смурину не вычеркнуть этого дня из своей бедной истории. Конечно, дело не в окне и не в задушенной собаке. Все это могло быть пустым баловством, могло не иметь никакого серьезного значения и легко позабыться, коль скоро виновники получили надлежащую казнь; но если смуринцы заводят кассу для того, чтоб помогать друг дружке, а не кланяться Закручью... О! тогда другое дело! Тогда и мальчишеский набег с гиканьем и свистом, и разбитое окно, и убитая собака получают глубокий смысл. Смурино против Закручья войной пошло. Ясно! Черные, закоптелые кузницы хотят обойтись без тесовых хором, не хотят знать их. Ну, так Закручье постоит еще за себя, потягается, и кто перетянет — еще бог весть. В тесовых-то хоромах, на дне сундуков и в заветных кубышках, кое-что припрятано на черный день; хоромы тесовые могут переждать невзгоду, да и невзгода-то плевая. Великое дело тысяча целковых...

— Немного наершатся! Погоди! К нам же придут с повинной да поклонятся! — говорил Андрей Беспалый, поглаживая свою седую бороду, и про себя договорил: — А уж тогда мы поприжмем, шкуру-то спустим — свое-таки воротим!

Так думали и все закручьевские «лучшие люди», и удивительное согласие было у них на тот раз: думали все, ровно одна голова.

Совсем не то было на Смурине. Здесь крепким единодушием был проникнут лишь небольшой кружок; остальное же население все ползло врозь — кто в лес, кто по дрова. Речи Кряжева выслушивали почти все охотно, иные поддакивали ему; но большинство в глубине души на кассу особенных надежд не возлагало и искоса поглядывало на Закручье. В кузницах были и работящие руки, и меха, и крепкие молоты, и наковаль-

ни; но кузнецы все-таки боялись открыто ссориться с тесовыми хоромами.

— Что с однем рукам-то поделаешь! — рассуждал Василий Кряжев с соседом Макаром, — по нашему положению выходит так, что руки-то не прокормят Кажный раз гвоздь-то в город не повезешь. А железа где прихватишь? Нет, брат, поклонишься в пояс, да еще не одиножды!

— Да вчерась вот пошел в лавочку к Прокудову, сахару, чайку прихватить да калачиков малость... Не дал было! — говорил сосед. — Давай, говорит, на чистые отпущу, а то нет! Окошко, говорит, допрежь того у Кудряшева вставь, а опосля, говорит, в долг-то и забирай! Куда теперь без них денешься? Насилу уж сладил, свово Гаврюшку выстегать обещался...

— Ништо! Так и надо, не репу сеять! — одобрительно отозвался Василий. — Да вот и таперь за постным маслом к Прокудову пойду. А как бы это я показался на глаза к нему, коли бы ежели за мной что... И не подступайся лучше!..

И Василий шел к Прокудову в лавочку и брал в долг постного маслица. Шли и другие и получали из Закручья все нужное.

Закручьевские лавки, по-видимому, неохотно отпускали товар в долг только «участникам», то есть членам товарищества. Давать и им давали, потому что гнев сам по себе, а барыш сам по себе, только давали как-то не по-людски, броском да кидком, что похуже да позалежалее. Те скрепя сердце брали: нельзя было не брать. А ведьма Прокудиха, отпуская товар, так глядела на них своими рысьими глазками, ровно съесть хотела. Происходили и стычки.

— Толокно-то экое нечистое! — заметила лавочнице жена одного «участника», потряхивая на ладони горстку толокна.

— Нечистое? Так положь, положь назад! Тебе говорят, положь! — завизжала Прокудиха и, вырвав у бабы чашку, мигом высыпала толокно обратно в мешок. — Проваливай, проваливай! Про вас у нас чище нет! — кричала лавочница, вся раскрасневшись и, по-видимому, совершенно забыв на этот раз о барыше, которым она жертвовала для утоления своей злости.

— Да ведь я, Митревна, что же ... только так, к слову! Вот те крест! — скороговоркой залопотала баба.

— И не дам, и не дам! Хошь поколей, так не дам! Ни одной маковой росинки не получишь! — кричала Дмитриевна, сердито сметая с прилавка пыль рукавом своей холстинной рубахи.

— Да что же этак уж больно... — Ей-богу — ну! — бормотала опешившая баба, выходя из лавки.

Такие случаи, впрочем, были редки и выпадали только на долю баб; по большей же части жажда барышей перевешивала гнев, и товар отпускался на чистые деньги и в долг. В долг отпускался еще охотнее, потому что при отпуске на книжку барышей перепадало чуть ли не вдвое больше.

Закручье ясно видело, что Смурино с ноги на ногу пошатывается, не ступая ни на ту, ни на другую сторону, выключая, конечно, «участников». И тесовые хоромы решились извлечь всевозможную пользу из такого разлада между кузнецами, порассорить их — одних приголубить, других поприжать. Формального заговора не было, да он вовсе и не был нужен ввиду того единодушия, каким прониклось все Закручье. Эти намерения были предугаданы на Смурине немногими — и первым Дмитрием Кряжевым. Но эти «немногие» также решились выжидать и до поры до времени зубов не показывать.

X. КТО С БОРКУ — КТО С СОСЕНКИ

Было от чего смущаться Закручью, хмуриться и задумчиво покачивать головой. На все речи и дела Митьки Кряжева оно уже давно знало, как ему надо смотреть, и самым решительным образом махнуло на него рукой. «Сломать ему шею, каторжному! Туда ему и дорога!» Не этот «отпетый» занимал теперь закручьевцев.

В самом Закручье стоит у них новенький дом с мезонином, обшитый тесом, с тесовой же кровлей и с ярко раскрашенными ставеньками. И живет в этом доме Илья Петрович Лисин, хорошо известный по всей волости и даже дальше, крестьянин с капитальцем, грамотный и говорун не последней руки. И вот этот самый Лисин, кулак, кулаков друг и приятель, сродственник Беспалого, вдруг вздумал кумиться с кузнецами, заякшался с ними и в кассу записался.

— Диво, диво это! — говорил Антон Кудряшев

Беспалому. — И чего он лезет к ним? Ведь он перед ними ровно на задних лапах ходить собирается...

— Штука — этот Лисин! Вот те Христос! — отозвался Беспалый.

И вправду, Лисин был человек себе на уме, человек «новый», поновее самого предприимчивого Кудряшева. Он дружил с кулаками; все у него «куманек» да «куманек», и иной раз такие речи заведет, так почнет расстилаться, словно готов за ихнее дело живот положить. Со всеми же вообще он был обходителен и торовaт; ни одного, кажется, ругательного слова еще не слыхали от него по сю пору. «Глупец» было самою поносною бранью, что срывалось с его тонких губ. Он всякому еще издалека снимал свой серый картуз, и все его манеры, как речи, были мягки и напоминали собой кошачьи ухватки. Он ходил плавно, тихо и поминутно озираясь по сторонам. Ловок был Илья Лисин и играл смуринскими людьми, как шашками. Он редко выпускал когти, но всегда почти добивался своего.

Отец Лисина был полесовщиком у старого грайворовского барина, жил в лесу, в дырявом шалашике, и помер там на куче гнилой соломы, оставив сыну пятишницу в наследство. Илья же, говорят, разжился с того, что раз в базарный день, возвращаясь из города, нашел на дороге кожаный мешочек с деньгами — рублей около тысячи. Указывали даже и владельца оброненного кошеля, одного борковского крестьянина; но улик, кроме слухов, не было никаких. Говорили, что Лисину не пойдет впрок кожаный мешочек, что из-за него скоро помер с горя борковский крестьянин. Но добрые люди не угадали, находка пошла впрок. Лисин стал понемногу разживаться, в гору пошел и скоро стал головой выше всего смуринского мира. Он, по своему многограмотству, служил писарем одно время и вместо старшины правил волостью, а теперь состоял в качестве земского гласного от крестьян Черешинского уезда. Один бог без греха; водился грешок и за Лисиным. Он почитал себя ученейшим человеком чуть ли не во всем уезде и сильно желал и добивался, чтобы таковое же приятное мнение об его особе разделяли все. Лисин любил говорить по-книжному, пускать пыль в глаза и, действительно, употреблял иной раз такие мудреные слова, которых ни он, ни его слушатели не разумели.

Напрасно ломали голову закручьевцы над тем, для чего этот человек задумал тянуть последнее время за руку смуринцев.

— Оказия, братцы, да и шабаш! — решали кулаки.

Напрасно также с расспросами подъезжал к Илье Петровичу и родственник его, Беспалый.

— Ты что, брат, не наследство ли какое делить с ними собираешься? — сказал он раз Лисину, как-то к слову. — Что больно уж ластишься к ним?

— Ничего я не лащусь! — несколько недовольным тоном ответил тот. — Что мне ластиться? А кто ко мне хорош, и я хорош до того... Смуринские ко мне с почтением ежели, так за что же я лаяться почну, ась? С чего это, примерно, зачну я зря собачонку дубасить? А она, поглядишь, руку тебе лижет, хвостом виляет, ровно в дружбу к тебе войти хочет...

— Да ты постой, постой! Не отлынивай, а говори дело! С чего собаку-то приплел? О тебе речь, не о собаке! — возразил Беспалый, оттопыривая губы с видимой досадой, что ему не удается подловить эту Лису Патрикеевну.

— Это я тебе басню сказываю, а в басне — правда! — отрезал Лисин. — А ежели не смекаешь, так раскинь умом-то...

— Да ты не басню сказывай, а толком... — перебил Беспалый.

Лисин только рукой махнул.

«Фу ты! Вот так бестия продувная!.. Ты с ним о деле, а он басни говорит... Вот и поди, и толкуй! Ровно ведь и не смыслит, о чем речь идет...» — заметил про себя Беспалый, да с тем и отъехал. Впрочем, потом все-таки он с уверенностью говорил:

— Только попомните вы мое слово: обойдет он наших смуринских, во-о как обойдет, почище нашего: Илья — не дурак.

Закручьевцы знали, что Илья — не дурак, но все-таки Беспалому на слово не верили.

Немало еще смущалось Закручье дружбой Аггушки с «каторжным». Этакий-то отчаянный человек возьми да и свяжись с Митькой Кряжевым! Ну, какого тут пути ждать? — подумывало Закручье, посматривая вдаль, в поле, где на отлете стояла черная Аггушкина хатка. «Чует мое сердце, что наш Аггушка заодно с участниками, хошь в кассу и не записался! — раздумывал Про-

кудов. — Только в том беда: не докажешь! А уж проведать бы мне — стурил бы я его с земли в шею с его проклятым Медведкой!» Под видом холодности Григорий Иванович таил к племяннику самую лютую ненависть; но Аггушка, видно, лукав был и не думал выдавать себя с головой любезному дядюшке. И вот красный черт, каторжный и лиса сошлись вместе. Эта почтенная троица пугала закручьевцев. Положим, «лиса» с «красным чертом» не дружила, но она дружила с «каторжным», а «каторжный» водился с «чертом» — значит, все было едино...

— Закручьевские-то шибко серчают! — сказал Кряжев Лисину, повстречавшись с ним через неделю после праздника у мельницы.

Лисин только с улыбочкой подмигнул ему, словно молвить хотел: «Видим, мол, видим! Все видим да на ус мотаем!» Он тряхнул волосами, а глазки его заперебегали с Кряжева на мельничную плотину и обратно.

— Только понапрасну они серчают; ничего им не поделать! Потому, наше дело как есть правое! — заговорил опять Дмитрий, взглядывая на Лисина. — Ты как насчет этого, Илья Петрович?

— Насчет чего это? — спросил тот простодушнейшим образом, смотря Дмитрию в глаза, а сам меж тем так и норовил заглянуть тому в самую душу.

— Да вот что я говорю: ведь им ничего не поделать?

— Обыкновенно, ничего! — шепотом отозвался Лисин — Антересно знать, что они могут...

— Только, Илья Петрович, понимаешь, надо за ними глядеть в оба... — заметил Кряжев. — У-у, какая пройдошная сволочь! Не приведи бог! Теперя, вишь, они все рассчитывают, что мы с кассой-то нарвемся...

Лисин выразительно взглянул на него и выразительно кивнул ему головой: «Не беспокойся, мол! Маху не дадим!» Заметив, что Антон Кудряшев идет по улице в их сторону, Лисин живо направился к мельнице своей мягкой, кошачьей походочкой.

— Вечером приходи к Крестам... слышь! — вполголоса крикнул ему вслед Кряжев и, вскинув мешок на плечи, побрел к мосту. А Лисин, не оборачиваясь, молча кивнул головой.

— Наше вам! — проговорил Кудряшев, повстречавшись с Кряжевым при спуске на мост.

— Доброго здоровья! — молвил Кряжев. — Здоровеньки ли?

— Ништо, вашими молитвами.

— И слава богу.

«Выжига!» — заметил про себя Антон Васильевич, опершись на перила моста и поплевывая Дмитрию вслед. «У самого поди кулаки зудят, а тоже с почтением!» — подумал в свою очередь Кряжев, взбираясь на смуринский берег.

XI. БУДНИ

Смурино принялось за работу. Стар и мал забрались в кузницы, и однообразный стук молотов несся оттуда из поотворенных дверей. Ковали взрослые, ковали мальчики — подростки, ковали девочки. Кое-кто возился и на поле. Здесь должно заметить, что Смурино испокон веку занималось кузнечным ремеслом, и именно гвоздарною отраслью этого ремесла. Земледельческое Смурино обратилось к промышленности, вероятно, вследствие малоземелья, да и потому еще, что земля-то большею частью уж шибко плоха — каменистая да глинистая и в засухи дает такие широкие трещины, что ребенок может в них проступиться по колено. Только трудно сказать, почему предки современных смуринцев избрали для себя средством к жизни именно кузнечное мастерство: железо вблизи нигде не добывалось, а привозилось с далекого Урала.

Стащив мешок домой, Кряжев также отправился в свою маленькую кузню. Развел он в горне огонек и, благословясь, взялся за молот. Полетели и забрызгали из-под молота искры, гвоздь за гвоздем живо выходили из Митюхиных рук, — и уже порядочная грудка их лежала около него на земляном полу и стыла, когда он с трубочкой вышел из кузницы попрохладиться и вздохнуть вольным воздухом. Он присел у входа в кузницу на береговой бугорок и, потягивая трубочку, глядел на тихую речку, протекавшую у его ног. Возвышавшаяся за ним кручь заслоняла его и кузню от улицы и от глаз идущих и едущих. Выколачивая о каблук сапога трубку, Кряжев задумчиво посмотрел на закручьевский берег. Там, на зеленой мураве, на самом краю обрыва, сидела Евгения с какой-то работой в руках и, видно, не столько работала, сколько просто глазела по сторонам. Теперь ее темные глазки были пристально устремле-

ны на Митюхину кузницу; она, по-видимому, совсем забыла, что сидела над крутью, что ноги ее оставались на весу, и ее белые чулки видны были снизу, со смуринского берега, чуть-чуть не по колена. С минуту Дмитрий глядел на девушку, на ее хорошенькую головку, на ее городское платье и белые чулки и заметил: «Ишь ты, ровно королевна на престоле уселась!» — усмехнулся Кряжев, встал, потянулся и, позевывая, ушел в кузню.

Евгения глядела ему вслед, глядела на ту темную дверь, куда скрылся Кряжев, вздохнула и тут же вдруг расхохоталась.

— Ай да кавалер! —вслух проговорила девушка.

Она вспомнила, видно, Питер и тамошних ловких молодых господ, что с тросточками бегают по Невскому и и так мило щурятся на барышень. Действительно, неприглядным и невзрачным кавалером являлся в ту пору Дмитрий в своем засаленном кожаном фартуке, с растрепанными волосами и с руками в саже.

Прокудовские хоромы выходили окнами на речку и почти на то место, где лепилась на смуринском берегу Митюхина кузня. Поэтому нет ничего странного, что почти каждый день, если только не было дождика, Евгению можно было видеть над Вожицей, на обрыве. Мурлыча себе под нос песенки, она поглядывала на кузницы и спускала петлю за петлей...

Рабочий люд собирался паужинать, когда к Митюхиной кузнице сбежала с берега Юлия, девочка из барского дома, и, запыхавшись и раскрасневшись как маков цвет, объявила Кряжеву, что она забегала было к его избе, да изба заперта, что догадалась заглянуть в кузню, что его очень надо барыне видеть. Кряжев высунулся за дверь, посмотрел из-под руки на солнце и сказал девочке, что сейчас придет. Потушив огонь, Кряжев прибрал гвозди к сторонке и запер кузницу. Уходя, он оглянулся на Закручье. Там на обрыве сидела Евгеша, вся ярко освещенная на ту пору косыми красными лучами солнца, опускавшегося к лесу. Смуглым румянцем покрытое Евгешино лицо словно горело в ярком свете, и черные блестящие волосы резко отделялись на зеленой мураве. Все это: и сама Евгения, и песчаный обрывистый берег под ее ногами, и золотом горевшие за нею тесовые стены больших хором, и сочная трава — будто на картине только что было нарисовано, и свежие краски не успели еще совершенно засохнуть. Хотя Кряжев

ничего не смыслил в художестве, но эта картинка запала ему в память. «Чего она тут, как перст, торчит день-деньской!» — заметил он про себя, взбираясь по протоптанной тропке на берег и идя к своей избе.

Через несколько минут он уже входил в кабинет Лизаветы Петровны.

— Сегодня в ночь я уезжаю! — встретила его госпожа уже в сереньком дорожном костюме, стоя над чемоданом. — Я хотела поговорить с вами. Садитесь! Я сейчас...

И действительно, она скоро уложила чемодан и попросила Кряжева покрепче стянуть его ремнями. Кряжев стянул.

— Ну вот и все! — сказала барыня, немного раскрасневшись от усталости и усаживаясь на чемодан. — Надо заранее похлопотать о школе, чтобы открыть ее осенью! А ведь такие дела у нас не скоро делаются. Пока что, глядишь, — время и пройдет. Надо получить разрешение, подыскать учителя получше, насчет книг и всяких пособий... А вы, Дмитрий Михайлович, без меня тут позаботьтесь о флигеле, рабочих подыщите, прикупите материалу, все что нужно.

Во все продолжение этой речи Дмитрий с нескрываемым удовольствием смотрел на барыню и лишь молча утвердительно кивал головой.

— Будет ли у вас времени-то? — вдруг спросила Лизавета Петровна, отбрасывая назад свои короткие светлые волосы и взглядывая на Кряжева.

— Как не быть! Будет... — просто ответил тот.

— Ну, так вот и деньги! Это вам на всякий случай... — И барыня положила перед Дмитрием несколько ассигнаций. — Очень-то не скупитесь! Пусть будет попрочнее, все как следует...

— Для чего скупиться, коли деньги есть... — И Кряжев дважды тщательно пересчитал ассигнации, поднял с полу клочок газетной бумаги и, завернув в него деньги, спрятал за пазуху.

Лизавета Петровна продолжала сидеть на чемодане, низко понурив голову, и лицо ее опять позавесилось прядями ее коротких волос. Дмитрий тоже сидел, молча перебирая пальцами полу своего кафтана.

— А что, у вас нового ничего нет? — спросила наконец Лизавета Петровна, не переменяя позы.

Выражение спокойствия, за минуту рисовавшееся на

лице Кряжева, быстро сбежало, а в глазах, устремленных вдаль, отразились забота и недоумение.

— За робят-то я уж не больно стоял...— молвил он.— Потому, никак нельзя было. Кашу заварили уж больно густо. Того гляди, хуже бы еще вышло...

— Да! Я слышала! — тихо заметила барыня.

— Что тут поделаешь!

— А закручьевские?

— Что закручьевские! Зубы точат! — отвечал Кряжев.— Насчет лавок нас шибко прижимают... Федору вон подмоченного сахару отпустили; Устинье затхлой крупы дали, да еще семь копеек на нее насчитали... Известно дело, своя рука владыка! Просто уж я не знаю: участникам-то хошь свою лавку заводить, так впору...

— И заводите! — заметила Лизавета Петровна.— Если вы лавочку устроите как следует, не по-купечески, так вы и других-то к себе перетянете. Берите только за провоз да приказчику жалованье положите, а там и продавайте товар, сколько он вам самим стоит... Понимаете? Такие лавки в других местах уж давно заведены.

— А мы как ничего не знаем, так нам все и в диво! — заметил Дмитрий.

Тут барыня, как умела, постаралась передать Кряжеву основания потребительного общества. Кряжев внимательно слушал, и видно было по его нахмуренному лицу, что он ловит каждое ее слово и силится уяснить себе его смысл. Но уразумение, по-видимому, ему давалась нелегко. Барыня кончила, пообещавшись привезти ему из города такую книжку, в которой об общественных лавках все написано и объяснено.

— Т-а-ак! Это вот вы ладно.. А то вдруг-то не сообразишь никак! — сказал Кряжев.

Затем он попрощался с Лизаветой Петровной, пожелал ей благополучного пути пошел вон.

Смеркалось. В кузницах уже кончали работу, и Кряжев, лишь перенеся в чулан гвоздь, накованный за день, пошел к Крестам, где, сидя на бревнах, поджидал его Лисин.

XII. НА КРЕСТАХ

Крестами в Смурине называлась площадка, где пересекалась главная смуринская улица, шедшая вдоль

Вожицы, с проулочком, продолжавшимся через мост в Закручье. На одном углу площадки стоял старый позаброшенный постоялый двор с кабачком, сильно пришедший в упадок лет пять тому назад, то есть с той самой поры, как в Закручье Иван Прохоров построил новый постоялый двор, тоже с кабаком. Хотя на старом постоялом дворе мало останавливалось народу, но кабачок Лексашки Косого по-прежнему посещался исправно. Насупротив кабачка, на другом углу улицы, третий год уже лежали бревна, предназначавшиеся на постройку нового правления, или «расправы», как звали на Смурине. Правление было также неподалеку от Крестов. Вот здесь-то и любили смуринцы собираться по летним вечерам, после работ. В праздники же Кресты, положительно, превращались в клуб под открытым небом. Мужики толковали про свои дела, девки песни пели, пели иной раз долго-долго за полночь, а ребятишки играли в городки или в бабки. Две большие развесистые рябины оживляли это увеселительное место.

В тот вечер, о котором идет речь, народу на Крестах было немного. Ребятишки дулись в бабки, у кабака собралась куча мужиков. Две бабы стояли в сторонке, и баба постарше учила молодуху:

— В тот день, в кой приходится благовещение, овец, матка, не стриги и-ни-ни! — говорила старуха. — Бабка моя в такой-то вот денек почала ягненочка стричь, а он как вырвется у нее, да в печку... А печь-то, голубка, ты моя, топилась... Так он и сгорел! Вот оно что!

Молодуха стояла пригорюнившись и только головой покачивала.

Кряжев осторожно, с оговорками, приступил к Лисину, сообщил ему, что считал нужным, насчет предполагаемой школы, об участии в этом деле Лизаветы Петровны, затем уже перешел к общественной лавке. Но о лавке Кряжев толковать много еще не мог, потому что и для него самого лавка, не на купеческий манер заведенная, без всяких торгашеских каверз и подвохов, представлялась неясно, в каких-то туманных, расплывающихся чертах. Лисин все смотрел себе на сапоги, наматывая на ус и молчал, лишь изредка протягивая: «Тэ-э-эк-с! Это точно! Сущая правда...» Предположение о школе он принял к сведению, обещал и сам похлопотать, но Кряжев все-таки видел ясно, что лавка сильнее задела Лисина за живое, чем школа.

— Вот так так! — сказал Илья Петрович, потирая руки от удовольствия и поглядывая вдаль по улице, ровно на конце ее мерещилось ему что-то удивительно приятное, отрадное для его сердца и для глаз.

Он прищурился, сжал кулаки, сблизил их и, повертывая ими так, как бы вил или крутил веревки, промолвил:

— Мы их этой самой лавкой скрутим во-о как! Не пикнут!.. — Лисин подмигнул, и нескрываемое лукавство отразилось в его глазках и тонких губах. Но обычная мягкость его сказалась и на этот раз: не было в его словах той резкости, какою дышали бы они в устах другого человека при подобных же условиях. При этом он развил, как мог, перед Кряжевым всю возможность и легкость устройства лавки. Лисин был искренен. Долго толковали они.

— Только, слышь, Петрович! Ты не обмани нас! Человек ты с головой. А чужая душа — сам знаешь — потемки... Смотри!.. — И Дмитрий указал рукой на небо.

Его черный палец, весь в саже, так выразительно указывал в глубь синих небес, как будто бы там, только одному Дмитрию видимо, присутствовало могущественное существо, которого ни обмануть, ни провести нельзя было никому, даже самому Лисину. Таким задушевным, слегка дрогнувшим голосом высказал Кряжев свои последние слова, в которых явственно звучали и надежда, и угроза, и боязнь, что Илья Петрович как-то вдруг посократился и съежился под пристальным горячим взглядом. Через минуту оправившись, Лисин рассмеялся своим деланным неслышным смехом и проговорил:

— Какой же ты, ей-богу, ну! И чего только тебе в голову не придет... Не обмани! Гм!.. Вишь, какую еронию выпустил, — на-кось! Не обмани! Да я разве такой человек! Э-эх, Дмитрий Михайлович, право, ну!

Собеседники смолкли... На берегу Вожицы смуринские мальчишки перекликались той порой с сынишкой Прокудова.

— Ты где, Петька, голову нашел? — спрашивали со Смурина.

— А ты где? — спрашивал в свою очередь закручьевский бутуз.

— Я — в желобе...

— И я! — подхватил Петька прокудовский.

— Нет! А ты под желобом! — кричали ему со смуринского берега.

— Нет, врешь! Нет, врешь! — пищал Петька.

Эта перекличка ясно разносилась по заре. А Кряжев словно застыл в какой-то неопределенной, смутной думе; словно его охватил кошмар. С одной стороны, слова, хорошие дела, с другой — лукавые, прищуренные глазки, ехидная улыбка и всегда ровный, мягкий, льстивый голос. Как тут быть? Чему верить?... И, вероятно, долго бы они еще просидели тут на бревнах, если бы хозяйка не кликнула Илью Петровича ужинать. Собеседники распрощались и разошлись.

В то время с барского двора съезжал тарантасик тройкой и быстро катил в облаках пыли по дороге в город. В тарантасике сидела Лизавета Петровна, рассеянно поглядывая по сторонам и с силой вдыхая в себя свежий весенний воздух.

Звон колокольчика издали донесся до Кряжева, когда он подходил уже к своей хатке. «Уехала! — подумал он. — Как это все у нее живо деется! Такая маленькая, сухонькая, а вишь ты!..»

Попозже дума Кряжева ударилась в сторону и забрела далеко... «Недругов теперь много у тебя, Митрей Михайлыч, — подумал он. — Будет и еще того больше... Ну, да и у меня под руками люди дюже добры... Коли не теперь, так когда же и тягаться?!»

И далеко-далеко в ту ночь завели Кряжева его думы.

КНИГА ВТОРАЯ

I. ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

В трех верстах от Смурина, на берегах той же реки Вожицы, не очень еще давно находилось имение графов Верховых, славившееся по всему околотку своим красивым местоположением. Художники издалека приезжали нарочно в Каменево срисовывать его виды. Здесь был прекрасный барский дом с колоннами, с террасами. Кругом дома, с трех сторон, тянулся роскошный сад, раскинутый с лишком на двадцати десятинах, а на полуденной стороне был разбит великолепный цветник. Длинные липовые и березовые аллеи вперемешку с соснами и елью, пересекаясь, расходились во всех направлениях. Две китайские беседки с разноцветными окнами красовались в самых тенистых уголках этого обширного сада. Две большие статуи стояли у входа в главную аллею, под тенью старых развесистых сосен, и от этой тени еще резче выступали их белые, стройные фигуры. По одной стороне сада тянулись длинные оранжереи. Всяких фруктов, вишенья и ягод была бездна. Десятки людей ухаживали за садом... Господа иногда по летам жили в Каменеве, и к ним из города то и дело являлись гости; жаловал иногда даже и сам губернатор и гостил дня по два и по три.

В описываемое же время, то есть в 1871 году, с Каменевым произошли большие перемены, или лучше сказать, существовало уже не Каменево, а нечто совсем другое, чему на нашем языке еще не прибрано имени. Оранжереи, китайские беседочки, статуи были снесены, и сад обратился в рощу; цветники заглохли, заросли бурьяном и крапивой. Службы исчезли, и от прекрасного барского дома не осталось и следов; ни одной колонки не уцелело. Прежний громадный двор сильно посократился и весь кругом был обнесен таким высоким, плотным частоколом, что через него не мог проникнуть никакой самый проницательный взгляд на свете. Верхние части забора были заострены, и перелезать через эти острия мог лишь тот, кто желал добровольно посадить себя на кол. Ворота прочные, тесовые, с железными плинтами вели во двор; но ворота, так же точно, как и маленькая калиточка, обыкновенно оставались на запоре и день и ночь. Во дворе, возле самых при-

воротных столбов, денно и нощно сторожили страшные цепные собаки. На дворе виднелись три сарая громадных размеров и одноэтажный домик с маленькими окнами, ставни которых с лицевой стороны были ярко раскрашены всеми радужными цветами, а с другой — околочены толстым листовым железом. Железом же была крыта и кровля домика. Вообще же у этого поселочка был такой занимательный вид, словно бы он выстроился в какой-то пустынной стране, среди племен каких-нибудь кровожадных [illegible]рей, а не в соседстве со смиренными русским[illegible]янами. Поселочек был молчалив, грозен, непри[illegible] наличным смурнским силам, например, взять [illegible]ном было бы нелегко. Не слышалось, как [illegible] этом поселочке по тихим летним вечерам ни [illegible]ческого щебетанья, ни беззаботного, звон[illegible] смеха, губернатор сюда в гости не езднл [illegible]е иллюминировались. Днем иногда слыш[illegible] как будто бы в домике кто-то зевает, зева[illegible]тяжно, с чувством; иногда слышится о[illegible]пывание, прорывается крепкое словцо — [illegible] то наяву — не разберешь... Гости сюда [illegible] невеселые, оборванные. Иной раз счетами [illegible] или зазвякает ключами, а не то и [illegible]кнет. С закатом солнца и двор, и дом, и сад [illegible] мрак и безмолвие. С вечера, впрочем [illegible] еще сердитый, хриплый лай собак, а ночью — [illegible] здесь тихо, как в могиле.

Кузьма Иванович Чирков здесь живет. Вот он, этот великий чародей, этот кудесник, словно метлой сметший прекрасные статуи и уничтоживший в прах все прелести Каменева. Вот он весь — с толстым брюшком, немного лысый, в длиннополом, потертом кафтане и с пестреньким платочком на шее. Вот его жирное, красноватое лицо — на лицо не похожее, с почтенной бородкой и с редкими волосиками, подстриженными в скобку, так что его бычачий затылок весь на виду. На спине хоть горох молоти. Пальцы толстые, неуклюжие, но, касаясь косточек счетов, они получают такую беглость и легкость, каким позавидовал бы любой музыкант. Кузьма Иванович тяжело дышит, жалуется на старость, на одышку и вздыхает. Он то строг, то милостив. Заплывшие жиром глаза его поминутно, где бы он ни был, ищут образа, как будто он всегда готов взять бога в свидетели. Он не сквернословит, не дерется и, разгне-

вавшись, начинает лишь тяжело пыхтеть и кривить на сторону рот. Он любит говорить о божественном...

Года три тому назад Кузьма Иванович скупил графское имение и обрабатывал его в настоящее время руками бывших графских крепостных. Крестьяне у него были в долгу, как в шелку; кто забрал деньгами, кто хлебом, кто землей, кто чем. Кузьма Иванович охотно давал отсрочки, долгом не нудил, и должников у него становилось год от году больше и больше. Крестьяне все лето и зиму работали на него, справляли по его поселочку всякие поделки, ездили в город, и туда, и сюда. Прямо сказать, вышло как-то так, что крестьяне, переставши быть графскими, очутились чирковскими. Как, когда и кем это сделалось, крестьяне никак дойти не могли, да они на это, правда, не очень и налегали. Кто бы ни подрадел — да подрадел. Дали им было волю, все как следует, честь честью; а ночью, тайком, прокрался к ним Кузьма Иванович, сцапал у них эту волю, зажал в свой кулачище, да и был таков. От воли и живого духу не осталось. И в самом деле, между прежним, графским, порядком и теперешним, чирковским, разницы, почитай, никакой не было.

Луга каменские были обширны, каменские пожни залегали по речному берегу; сена на них накашивалось сотни стогов. Кузьме Ивановичу ничего почти не стоило скупать по осени у крестьян лошадей и коров. А скота по деревням иной год сбывали много, когда корм родился плохо. По весне Чирков опять распродавал скотину; иногда даже так приходилось, что каждый заполучал свое. Чирков продавал скот, конечно, подороже, чем покупал, и даже очень подороже. Но крестьяне все-таки покупали и тем охотнее, что Чирков часть денег ждал до осени. А осенью, глядишь, скот опять задешево переходил к нему, и мертвый узел затягивался год от году крепче и крепче. Иной мужичок за свою лошадь Кузьме Ивановичу в три года уже переплатил столько, что на те деньги мог бы безобидно завести целую тройку, и с колокольчиком...

— Не люблю прижимать! Ну их!.. По-божески тоже надо... — говаривал вслух Кузьма Иванович, взглядывая на образ. — Этак-то много поспокойнее будет...

Он также скупал хлеб и на корню и в зернах и большим гуртом сплавлял его в село Чернопятье, стоявшее на большой судоходной реке, в девяноста верстах от

Смурина. По этой реке Кузьма Иванович сплавлял по нескольку сот тысяч пудов всякого хлеба ежегодно; будь то год урожайный или гибни весь край с голода — это все равно! — торговля шла своим порядком. А крестьяне рады были продать ему последние зерна для уплаты выколачиваемых с них податей и оброков. Хлеб плыл из Чернопятья, карман Кузьмы Ивановича раздувался, народ голодал, и в пользу голодающих составлялись подписки... Чирков владел в уезде еще несколькими, довольно порядочными клочками земли в разных местах, верстах в тридцати-пятидесяти от Каменева и далее. На каждом из таких участков был построен хуторок, и в хуторке жил приказчик. Приказчики получали от трехсот до четырехсот рублей в год содержания, справлялись каждый на своем участке бесконтрольно, и даже сам Чирков, наезжая по временам на хутора, не вмешивался в их распоряжения. Доверяя денежную часть, он в то же время разрешал приказчикам безвозбранно производить по хутору всевозможные затраты, будучи в полной уверенности, что копейка ему рубль принесет. Этих приказчиков звали «молодцами», и у Чиркова таких молодцов было штук до десяти. Кузьма Иванович верил им, надеялся на них пуще, чем на каменную стену. И молодцы «действовали» для хозяина изо всех сил. Они притесняли крестьян всевозможными манерами и при найме, и при покупке, и при продаже, и при ссуде в долг, и при уплате долга. Казалось, вся их душа, все их умственные силы ушли на то, как бы выдумать какой-нибудь новый невиданный и неслыханный способ надувательства, чтобы все прочие хозяева диву дались, а у крестьян искры бы из глаз посыпались. Конечно, молодцы при этом упускали из виду ту истину, что не надо забивать и морить корову, если хочешь доить ее подолее. Они в простоте душевной полагали, что было бы болото, а черти найдутся...

Распущенна, нагла и дерзка была в свое время барская дворня, за то ее и звали вольницей. Но эта дворовая вольница доброго старого времени бледнеет перед современной вольницей — перед молодцами Кузьмы Ивановича. Они распоряжаются в своей стороне, как в чуждой земле неприятельской, и чем они ловчее и озорливее, тем дороже ценятся хозяевами... Например, один из молодцов Чиркова, Василий Лукьянов, «юркий, огневой» человек, ограбил одну женщину, а другую изна-

силовал... Современная крестьянская поговорка гласит: «С молодцами не вяжись», — и поэтому дело о грабеже и изнасиловании, вероятно, никогда бы и не всплыло, если бы однажды, случайно, судебный следователь, проезжая через деревню, не узнал — тоже случайно — о подвигах молодца и не начал бы расследования. Василий Лукьянов был арестован. Для спасения его Кузьма Иванович пустил в ход все свои пружины, и тайные и явные, и выскреб-таки своего молодца, уже стоявшего одной ногой на каторге. И Чирков немало похвалялся тем, что «уж он своих молодцов не выдаст, нини»! Когда же ему замечали, что ведь Василий Лукьянов просто разбойник, Кузьма Иванович рассудительно возражал:

— Эх, други вы мои, дружочки! Овцы мне и даром не надо, надо мне пса, настоящего пса, злющего... Такое уж наше дело, значит!

Честный, добродетельный приказчик Кузьме Ивановичу был совсем не нужен. Если ему попадался такой человек, что не крал у него ни копейки, но и не умел обшелушивать мужика, то Чирков ему тотчас же отказывал и впоследствии, толкуя с благоприятелями, отзывался так:

— Человек-то хороший, да не ловок... Как кому, а к нашему делу не способен.

К делу Кузьмы Ивановича был «способен» такой малый, который не остановился бы ни перед какою мерзостью. Вот это — ловкий человек. Правда, он и сам украдет, но украдет легко, и не почувствуешь; зато и на хозяйский пай лихо царапнет. А «неловкий-то» себе не наживет ни полушки, а хозяину-то пятак принесет, — ну и выходит, что самому ему цена грош.

У молодцов, кроме жалованья, были еще и посторонние доходы. Хозяина шибко обворовывать было нельзя: чертям с сатаной не тягаться. Так иной держал громадные стада уток, индюшек, гусей — благо содержание их на хуторе почти ничего не стоило. Другой занимался барышничеством — благо опять-таки прокорм лошадей стоил пустяков. Третий занимался выучкой и перепродажей собак. Купит он собаку, бывало, за рубль или дешевле и начнет ее школить. Привяжет он ее, вооружится колом и начнет ее злить. Такие штуки проделываются ежедневно, пока собака не одичает вовсе. И вот из кроткого, доброго животного со временем вы-

ходит какой-то зверь лютый, мимо которого пройти страшно. Такая собака очень дорого ценится кулаками, — и приказчик, глядишь, продаст ее рублей за шесть, за восемь. На все эти приватные занятия своих молодцов Кузьма Иванович смотрит милостиво.

В конце концов на поверку оказывалось, что на Кузьму Ивановича работали не одни смуринцы, худиновцы или граблевцы, а работал почти весь уезд Черешинский.

Но, как уже сказано, Кузьма Иванович любил все делать по-божески. Он был выходец в той стороне, чужой, и местные кулаки, естественно, над ним имели перевес. Поэтому и захотелось ему на первых же порах прославиться каким-нибудь добрым делом. «Пущай, мол, знают, каков я человек есть», — думал он, поглаживая себе брюхо. Он знал, он чувствовал, что это необходимо, что без того тамошняя кулаческая мелочь постоянно будет над ним верх брать. Нужно было, чтобы народ увидал в нем благодетеля, мужа мудрого и благочестивого. Нужно было сочинить такой подвиг, который был бы и славен, и обошелся бы подешевле. И Кузьма Иванович оказался хорошим сочинителем. Прежде всего он обратил внимание на положение крестьян, пожалел их, поахал, покривил ртом и, наконец, проявил себя благодетелем на деле, уступив около пятисот десятин земли граблевцам, смуринцам, чупыринцам и другим в «бесплатное» пользование на год. И граблевцы, и чупыринцы, и другие бесплатно так-таки и пользовались чужой землей, как своей собственной: подняли ее, распахали, хлеб посеяли, в сусеки собрали — словом, никакой каверзы не вышло. Чирков разом прославился по всему уезду.

— Что ж! и то сказать... по-божески надо! — говорил он, и при этом красная рожа его дышала таким смирением и самодовольством, что глядеть было тошно.

Конечно, нелегко было крестьянам справиться с запущенной землей и хлебец-то вырос не больно хорош, чуть-чуть семена собрали — ну да ведь даровому коню в зубы не смотрят. Естественно также, что запущенная земля после годового «бесплатного» пользования была приведена крестьянами в надлежащее состояние, и в следующий год Кузьме Ивановичу пахать ее было уже легко, и хлеб уродился изрядный. Чиркову за подъем земли пришлось бы заплатить подороже, чем за обра-

ботку обыкновенной пахотной земли, а ежели бы он запустил ее год-два, так земля поросла бы пырьем и всякой дрянью, так что и в десять лет не проворотил бы ее... Стало быть, и доброе дело сделано, и слава заслужена, и земля спасена. Но Кузьме Ивановичу этого показалось мало. Ублаготворивши крестьян, он надумал еще послужить и храму божию. Мысль эта застряла ему в голову как-то великим постом. Подновить придел — хорошее дело! Вскоре после святой привозил он из города подрядчика, и тот уже сделал смету. Оставалось только подумать о том, как бы уж небольно зарваться в своем благочестии и не шибко бы порастрясти свою мошну. Наконец, видно, Чирков надумал, потому что перед николиным днем чистосердечно открылся он отцу Петру.

— Проснулся я этто ночью... — говорил он, отмахиваясь и немилосердно моргая глазами. — Проснулся, а в уши ровно кто шепчет: «Послужи, Кузьма, храму божию! Отец твой до церкви хорош был, и ты, значит, по нем иди! Есть у вас придел Ивана Богослова... Возьми да поднови его!» Проснулся... Чтой-то, думаю! Перекрестился на образ. Гляжу — лампадка горит, а в горнице, окромя меня, как есть никого!.. Вижу: бог... Так вот этак лежу я и думаю: «Пойду-кось я к отцу Петру, откроюсь! Что уж он положит...»

И священник благословил Чиркова на богоугодное дело, не подозревая тут никакого ехидства.

О таковом подвиге было в свое время сообщено и прихожанам. Те, особливо бабы, вдруг восчувствовали к Кузьме Ивановичу какое-то умиление и кланялись ему после обедни низко-низко. Теперь мелкое тамошнее кулачье уже не могло стоять ему на дороге. Хотя Чирков, по-видимому, и дружил с Прокудовым, с Кудряшевым и другими, но питал к ним самую лютую ненависть и спал и видел, как бы сокрушить, пожрать, истребить с лица земли всю эту мелюзгу. Кузьма Иванович был крупный хищник и не мог видеть без боли и зависти, как стая жадной мелюзги облепила добычу, которая по праву должна бы принадлежать сильнейшему.

Много за последние года повыросло на Руси таких поселочков, обнесенных частоколом, словно крепостной стеной, как поселочек почтенного Кузьмы Ивановича. Теплятся в них большущие лампадки, и озаряются их красноватым сиянием тяжелые серебряные оклады об-

разов, и чуть ли не пудовые восковые свечи зажигаются перед ними в праздники. И на железных сундуках, втихомолку потряхивая мошной, сидят в этих поселочках толстые бородатые люди — новые люди, жирные и кровожадные, как клопы...

II. ПО-БОЖЕСКИ

В светлое майское утро серая лошадка, запряженная в шарабан, везла Кузьму Ивановича из его поселочка по Смуринской дороге и около погоста остановилась у крыльца поповского дома. Поповский сын, толстощекий мальчуган лет десяти, в сереньком засаленном халатике, взялся подержать Серого и тпрукал на него каждый раз, когда тому вздумывалось тряхнуть головой или переступить с ноги на ногу. А Кузьма Иванович, обливаясь потом, пил чай и толковал с матушкой в ожидании отца Петра, отлучившегося с требой.

— Стары мы... Нужно и о смерти подумать! — говорил гость, с богобоязненным видом ища глазами образа.

— Какая же ваша старость, Кузьма Иваныч! Вам бы жениться в пору! — заметила попадья, ухмыляясь.

— Господь помиловал... — скромно возразил гость.

Разговор шел вяло и туго, словно плохонькая лошаденка с возом в гору тащилась. Наконец прибыл и священник, и в горнице сначала ничего не было слышно, кроме «слава богу, ну, и слава богу». Затем Кузьма Иванович повел свои мудрые речи.

— Люблю по-божески... — говорил он. — Вот вы в церкви, батюшка, сказывали, что помочь в этом деле не грех. Вы тогда хорошо это сказывали, что помочь в этом деле не грех. Вы тогда хорошо это сказывали, я уж не припомню. Так вот, я ехал мимо да к вам на перепутье и заехал потолковать насчет делов-то наших.

Одним словом, оказывалось, что Кузьма Иванович спрашивал, не поможет ли ему и отец Петр церковными деньгами, и, узнав, что церковных сумм будет рублей четыреста, выразил уверенность, что церковь не откажется пособить ему, чем может. Потом Чирков посоветовался с отцом Петром насчет того, не составить ли маленькой подписочки, авось кто-нибудь и из помещиков расступится — хоть та же, например, госпожа Водянина. Священник думал, что подписочку составить можно. Тогда гость тотчас же усадил хозяина написать

ему по форме листок для сбора. Отец Петр починил перышко, налил в чернильницу воды, взболтал ее и этим желтовато-бурым раствором написал на сером листке бумаги несколько строк. Но это было еще не все: Чиркову приходилось подождать неделю-другую.

— А дровец я уж вам представлю, будьте благонадежны! — промолвил он, прощаясь с попом. — И ежели что, только скажите... Я с моим удовольствием завсегда!

— Благодарим покорно! И то уж мы вами... — взвыла попадья из окна ему вслед.

Кузьма Иванович кивал головой и погонял своего Серого далее по смуринской улице... Старшина на ту пору стоял на крыльце правления, обхватив рукой крылечную колонку, и, заметив еще издали Чиркова, снял шапку и замахал ему. Сысой Иванов был из породы великанов и своим грузным туловищем наполнял почти все правленческое крыльцо — и теперь, держась за деревянный столбик своею мощною рукой, он казался Самсоном. Того и гляди, как двинет, так и разнесет в щепы все дощатое крылечко. Когда шарабан остановился, старшина тронулся с места и, подойдя к Кузьме Ивановичу, протянул ему свою ручищу. Наклонившись из шарабана, Кузьма Иванович вполголоса потолковал со старшиной, не однажды пожал протянутую ему ладонь и, поворотив коня, направился домой.

— Это уж не сумлевайся! Сварганим! — вполголоса добавил Сысой Иванов вслед удалявшемуся Чиркову.

А тот кивал головой и стегал вожжой Серого.

Приехав домой, Чирков плотно пообедал, выпил два ковша квасу и завалился спать, задернув предварительно ситцевый полог, висевший над его кроватью.

Его жилая половина была невелика (две большие комнаты, уставленные дорогою мебелью, предназначались для важных гостей и стояли пустыми). В переднем углу висел громадный образ в кованой серебряной ризе, перед которым всегда теплилась лампада, вмещавшая в себя более полуфунта масла. Небольшой сундук, весь окованный железом, стоял в углу, у стены, прикрытый сверху полинялым ковром. Никто, кроме хозяина, не знал, что в этом сундуке лежало; только одно верно, что Кузьма Иванович очень любил сиживать на нем и, сидя, погружаться в какие-то, должно быть, весьма приятные думы, потому что лицо его в те минуты делалось необыкновенно умильно; он вздыхал, пялил на образ

глаза; изо рта у него текли слюни, и чем долее сидел он на этом железном сундуке, тем сердце его, по-видимому, все пуще и пуще смягчалось и по лицу его все явственнее и явственнее разливалось чувство довольства и спокойствия. Красный шкап, стол черного дерева, крашеные стулья, большие стенные часы с тяжелыми гирями на веревках, портрет митрополита Филарета на стене и картина, изображавшая «Григория Отрепьева в корчме», составляли убранство этого покоя. Душный воздух припахивал потом, луком и деревянным маслом.

Восстав от сна, Кузьма Иванович подсел к окну, приказал подать квасу и принялся зевать, отпыхиваться и протирать заслепившиеся глаза. Вдруг на дворе поднялось какое-то движение и мызганье. Кузьма Иванович проворно распахнул окно и высунул в него голову.

— Что, опять попали? — крикнул он.

— Худиновские в озимях! — отозвались со двора.

— Ну, ну! Гони их! Живо... — скомандовал хозяин.

Приворотные псы скакали и, гремя цепями, заливались неистовым лаем. С лаем и визгом носились дворовые собаки, лошади ржали; слышался хлест нагаек по воздуху и крупная ругань. Ворота с шумом растворились настежь, и трое молодцов верхами, словно из-под земли выросшие, пронеслись со двора, помахивая нагайками. Здесь следует пояснить, что на дворе чирковского поселка, под навесом сарая, стояло обыкновенно несколько оседланных лошадей заволжского привода, известных между крестьянами под именем «заволжской скотины». Скотина была сильная и бойкая. Лишь сторож замечал, что крестьянское стадо ступило на хозяйскую землю, молодцы вскакивали на коней, мчались в поле и с гиканьем загоняли скот на двор. Это было делом ухарства. Даже поговаривали, что молодцы иной раз так радели для хозяина, что и с крестьянских земель препровождали скот к себе на хутор.

Так и на этот раз, через полчаса, с диким гиканьем и свистом, потрескивая нагайками, молодцы пригнали на двор коров, а пастушонко, без шапки, босой, в одерганных портках, с ревом бежал за ними. Напрасно пастух валялся на коленях перед окном Кузьмы Ивановича, тот даже и в переговоры с ним вступать не хотел. Вечером перед запертыми воротами поселка много набралось мужиков и баб. На их мольбы и слезы Кузьма Иванович говорил так:

— Обижать никого не хочу напрасно, а хочу только свое сберечь! Поступать нам с вами надо по-божески. Не зорите же вы меня! Гляди, озими-то как отделали, страсть! Смотреть жалость! Что ж теперь мне-то, а?

Дело кончилось тем же, чем оно кончалось и всегда в таких случаях, то есть Кузьма Иванович на кого денежный штраф наложил, кого пригласил боронить к себе, кого назем возить, кого пахать. Скота было голов до пятидесяти — немало, значит, работничков перепало в тот вечер Кузьме Ивановичу. Человек около сорока вписал он в книгу, которая у него носила название «взыскательной». Ни Чирков, ни крестьяне никак не могли столковаться насчет поправки канав и изгородей. Не однажды обращались и к посреднику за указаниями, да ничего путного из того не вышло. Посредник не любил, когда к нему крестьяне приходили не вовремя и отрывали его от карт; на все доводы в таком случае он только фыркал и обещал «быть и устроить», но все еще не был и ничего не устроил. Впрочем, от такого положения дел Кузьма Иванович не терял: при бдительности сторожа и при ловкости молодцов, крестьянский скот много потравить никогда не мог, а штраф — штрафом.

Наконец скот угнали, ругань и проклятия замолкли, собаки угомонились, и все стихло в поселке. Молодцы напились чайку, крепко поужинали и залегли спать. Залег и хозяин.

Ночь над поселком; поселок спит. Не спит только сторожевой, сидя на «галдарее» у амбаров, под чугунной доской. Сидит он, свесив ноги с перекладины, поникнув головой. Месяц показывается из-за старинного барского сада; в заглохших кустах какая-то птичка посвистывает, да лягушки квакают в пруду. Пусты и безмолвны запущенные аллеи... Ставни в домике плотно закрыты; даже свет лампады не пробивается нигде в трещины. Двери заперты на замок, задвинуты засовом. Можно спать спокойно Кузьме Ивановичу: частокол высок, собаки злы, молодцы его удалы. Никакие страхи и ужасы пока не тревожат его сна, и легкий полог защищает его от назойливых мух и комаров.

III. КЛЮЧ НЕ ОТПИРАЕТ

Флигель, отведенный владетельницей Грайворонова под школу, стоял в нескольких саженях от барского до-

ма, тут же на дворе у ворот. Прежде в этом флигеле жила какая-то старушка, родственница старого барина; после же смерти ее домик был заперт, стоял пуст, в забросе, и тропинка, ведшая к нему от барского дома, уже давным-давно заросла травой. Узенький коридор разделял флигель на две части: в одной были две чистые комнаты, в другой — кухня, довольно большая, и чуланы. Обойдя флигель, Дмитрий Кряжев сразу заметил, что в настоящем жалком виде домик не годился никуда. Надо было перебрать полы, а в кухне настлать вновь; стены следовало проконопатить, сколотить потолок, наносить на чердак земли и поправить одну печь. Он подыскал рабочих и сам с ними принялся за дело. Приходилось спешить: и то уже рабочие пошли только ради того, что посев ярового был кончен, а с возкой назьма можно было погодить. Мох, который надрал Кряжев в запрошлую осень для своей избенки, пошел на школу: теперь некогда было драть мох, и не было ему времени высохнуть. «Позяб я зиму и нынче не замерзну!» — рассуждал при этом Кряжев. И вот печник мял глину, какой-то старичок с чувством и толком проконопачивал пазы стен; струги стругали, топоры стучали, и заунывные, бесконечные песенки слышались во флигеле с утра до ночи.

Кряжев был рад послужить для школы. Он уже не раз печаловался, что нет у них на Смурине школы. И теперь он видел, что его давнишнее желание не сегодня-завтра исполнится воочию; откроется на Смурине школа, приедет учитель из Питера или из Москвы, привезут книги и все нужное — и пойдут смуринские ребятишки в школу набираться ума-разума, а то, глядишь, и Дмитрий пойдет с ними в ученье. И расскажет ему учитель про все. Вот отчего, не задумываясь, отдал Кряжев для школы свой сухой мох и решился еще зиму зябнуть в своей холодной хатке, сидеть в ней в полушубке или лежать на печи. Вот отчего Митюхина кузница стояла почти неделю запертою и не разводилось в ней огня.

— Вот как этот флигель-то переходит! — толковал старик конопатчик. — Я старую барыню еще помню... После нее дом пустой стоял лет десять, больше... В те поры горничных девок сюда стегать водили. А теперь, вишь, под школу...

Старик нюхал из своей берестовой тавлинки и принимался пробивать пазы...

В конце недели, когда работы во флигеле оставалось уже мало, Кряжев пошел однажды поутру в свою кузню, развел огонь и принялся за гвоздь. Время подходило к обеду, и Дмитрий доковывал последки. Молот бойко работал в его руке, искры так и брызгали в полусумраке кузницы. Он не заметил, что за ним в отворенную дверь синело ясное небо, но все-таки сразу почувствовал, что какое-то темное тело загородило от него дневной свет. Кряжев опустил молот и оглянулся. В дверях, не переступая порога, но слегка наклонив голову, как бы уже намереваясь войти, стояла Евгеша. Ее черные волосы порастрепались, и грудь тяжело дышала, словно бы девушка бежала сломя голову. Отражение ли кузнечного огня или действительный румянец играл на ее лице — неизвестно, но только все ее лицо и уши, казалось, занялись заревом, когда Кряжев оглянулся на нее. Ее темные глаза, за минуту пристально устремленные на рабочего, скрылись теперь за густыми ресницами. Мгновение Кряжев молча смотрел на девушку.

— Вам что нужно? — спросил он наконец.

— Не можете ли мне ключик починить? Вот и замок. Не отпирает! — проговорила девушка, вытаскивая из кармана небольшой заржавелый замок и оправляя свой белый передничек.

«Ну, чертова девка!» — подумал кузнец, поднимаясь со своего деревянного обрубка и близко подходя к Евгении.

— Ну-ко, покажьте! — сказал он, принимая от нее замок.

— Мне сказали на деревне, что только вы знаете, как это сделать, — проговорила Евгеша, вытирая белым платочком свою шею и исподлобья взглядывая на кузнеца в то время, как тот продувал ключ и ногтем мизинца потрагивал бородку замка.

— Это я могу. Заходите завтра вечером. Готово будет! — промолвил Кряжев, потряхивая в руке замочек. Затем, посмотрев вскользь на девушку, спросил: дома ли ее дядя? — и, получив отрицательный ответ, принялся смотреть на мутные воды речки.

— Завтра зайдите! — повторил он, слегка нахмурившись, и, отвернувшись от нее, пошел к горну.

Идя домой, Кряжев повстречал всадника, рысцой проезжавшего по улице. Серое драповое пальто неуклюже сидело на нем, полосатые брюки были запрятаны

в короткие сапоги с порыжевшими голенищами, а синий суконный картуз был сдвинут на затылок. По молодому, но шибко истасканному лицу его, по тусклым глазам и по красноватому кончику носа можно было с большим вероятием заключить, что всадник любил выпить. Он немилосердно стегал концом повода по брюху и по шее свою рыжеватую вятку, и, поровнявшись с Кряжевым, остановился.

— Здравствуйте, Дмитрий Михалыч! — проговорил он, притрагиваясь до козырька рукой.

Кряжева обдало запахом сивухи.

— Добро пожаловать, Семен Васильич! — отозвался Кряжев, тоже приостанавливаясь.

— Из Ведрова вот... Антипке клетку заказывал... Батюшка просил... — тянул всадник, отплевываясь и покачиваясь в седле. — А флигелек-то под школу готовите?

— Под школу. А что?..

— Да так, ничего! Доброе дело... Это барыня, значит, насчет науки-то... гм! Доброе дело, доброе дело! Прутьев знай припасайте! — И Семен Васильевич тронул поводьями, насмешливо поглядев на Дмитрия.

— Да неужто ж, Семен Васильич, без прутьев нельзя? Не скотину, чай, учить-то будут, а человеков...

— Так, так! Барыня, значит... ну! Добре... — бормотал всадник, трогаясь в путь.

«Эк его, сердечного, развезло! Ой-ой-ой! Ой, горе-учитель!» — проворчал Кряжев, оглядываясь на ковылявшего по улице всадника. Тут Кряжеву показалось, что он сделал промах. Но ведь шила в мешке не утаишь. Слух о поправке старого флигеля и о школе как-то необычно быстро разошелся по околотку. Насмешливый взгляд пьяненького учителя, его поддакивание не шли у Дмитрия из головы, а особенно явственно и долго отдавался в его ушах хриплый голос, шептавший: «Доброе дело, доброе дело!» Дмитрию сдавалось, что дело пахнет как будто не добром. Но в то же время он успокаивал себя такими вопросами: разве рано ли, поздно ли не проведали бы о школе? Да и можно ли помешать хорошему делу? И кому школа станет костью в горле? И что бы поделали, ежели бы даже и нашлись противники?

Завалившись спать, Дмитрий долго проворочался в ту ночь. Не больно веселые думы бродили у него в голо-

ве. Смуринцы туго записывались в кассу и с пущей боязнью озирались на Закручье. А Закручье в ту пору не только не косилось на кузнецов, а ровно бы подобрело. Знал Кряжев очень хорошо, откуда такая доброта взялась. Уж он и заговаривал кое с кем из деревенских, что «доброта их хуже всякой напасти...» — да что! даже брата не мог он о сю пору уговорить записаться в товарищество. Хозяйка совсем застращала бедного Василья.

В тот же вечер, перед ужином, Агафья допытывалась у мужа, о чем с ним утрось на речке Митюха говорил.

— Да все о кассе! — задумчиво ответил Василий.

— Поменьше бы тебе растабарывать с ним. Здоровее было бы... Чего еще тут? Уж не переманить ему в свою оравушку! Не переманить, да и не переманить! — тоном непоколебимого упрямства говорила жена.

— Ну, и то молвить: от закручьевских мы добра-то тоже немного видали, а прижать они завсегда охочи... Что пустое молоть! — со вздохом проговорил Василий.

— Вона! Это Митька тебе! — взъелась жена. — Что еще выдумаешь? Пустая твоя башка! Бога-то хошь побойся, колько ни на есть... Из-за его глупостей все, вишь, в петлю лезь... Не слыхал, может, что про них бают-то? Прокудиха онамеднись говорила: на чьи они деньги кассу-то завели? Грехи, грехи, прости господи!..

— Известно на чьи! Не воровским манером, чай! — отозвался Василий. — Барыня дала, да насобирали...

— Насобирали! — передразнила Агафья. — Как же! Подставляй карман шире! У нечистого они насобирали, вот где! И к таким-то деньгам крещеные исшо подступаются.

Агафья отплюнулась.

— Ну, мели, мели! — проговорил вполголоса муж.

— Нечего — «мели»... Уж по деревням сказывают, не мы одни! — тараторила Агафья. — Это, значит, антихрист по земле пошел, — продолжала она, присаживаясь к мужу на лавку. — Вот, кто на его руку станет, тому, вишь, и деньги выдает. А опосля, как народу-то накопится у него много, он и почнет по всем волостям ходить да печати прикладывать. К самой ладоньке печать приложит — и шабаш. И уж от него не отмолишься! Потому, ему бы заманить только. А как черную-то печать наведет, так уж и полно... и ни-ни!

Агафья говорила все тише и тише. Теперь она сидела подгорюнившись и все глядела на щелеватый пол. Василий громко позевнул.

— Ну-у, бабы! Эко язык-то! Ворочается — и ничего! Ей-богу, право! — проговорил Василий не совсем твердо. — Давай-ко, добро, ужинать да спать...

А Агафья после ужина еще долго вздыхала и кланялась в землю перед почернелой божницей.

На другой день, с полудня, Дмитрий опять работал в своей кузнице, а на закручьевском берегу опять против самых дверей его кузни сидела Евгения с шитьем на коленях и знай себе вдевала нитку в иглу. Кряжева ей было не видать, зато тот каждый раз, оборачиваясь к двери, замечал черноволосую красавицу, видел песчаную круть, зеленый берег и над ним видимую из маленькой, низенькой двери полоску голубого, безоблачного неба. Кряжев поправил замочек и теперь вовсе не занимался девушкой. Да и что она ему? Племянница Прокудова, городская, вертопрашная девчонка... Смазливая, правда... да что ж из того!

Вечером, когда Дмитрий по окончании работ сидел на самом краешке берега и мыл руки, по тропинке сверху живо спустилась к нему Евгеша.

— Что за работу возьмете? — спросила она, принимая от Кряжева замок и рассматривая его со всех сторон.

Ресницы ее дрожали заметно, словно бы она хотела посмотреть прямо, да не могла с глазами сладить.

— Да что с вас взять! Я уж, право, не знаю. Работы немного было с ним! — молвил Кряжев, кивнув головой на замочек, и посмотрел на Евгению.

Та в свою очередь тоже взглянула на него, и глаза их впервые встретились.

— Нет, вы скажите! — настаивала девушка. — С чего же это вам даром... Нет, уж вы, пожалуйста!

— Да, право, не знаю. Отвяжитесь вы от меня, христа ради! — с какой-то странной усмешкой проговорил кузнец и, взвалив себе на плечи короб с гвоздями, стал подниматься по крутой тропинке вверх.

Девушка по низу прошла вплоть до моста и перебралась в Закручье. Она была сердита, чем-то раздосадована. Ее губки надулись, и на смуглом лице ясно обозначилась между бровей такая же складочка, какая замечалась и на лице Аггушки, когда тот серчал.

IV. СМЕХ И ГОРЕ

Прошла неделя. Всяк занимался своим делом. Дмитрий управился с флигелем и поджидал барыню.

Наступило воскресенье.

После обедни в доме Лисина и на дворе его сошлись, по обыкновению, участники кассы; то было третье собрание товарищества. Кряжев сидел за столом и писал; Лисин обходительно толковал с мужиками. Дым от трубок, от цимбал и папирос клубами ходил по горнице и волнами уносился в растворенные окна. Шел оживленный говор, слышались едкие, остроумные замечания, прорывался отрывистый смех. Глухой гул смешанных голосов слышался на улицу. Кряжев писал, не поднимая головы; не мешал ему ни шум вокруг него, ни дым, евший глаза, ни духота, ни жар. Под окном раздался лошадиный топот. Кто-то выглянул в окно и сказал, что приехал красногоркинский учитель.

Вскоре показался в дверях и сам Семен Васильевич, на этот раз почти совсем трезвый. Он поздравствовался с Лисиным, с Кряжевым и еще с двумя-тремя крестьянами и уселся на лавку, в стороне. Осведомившись, каково идет касса, и узнав от Лисина, что хорошо, он пожелал взглянуть на устав. Лисин со всею предупредительностью представил ему устав тотчас же. Положив тетрадку на подоконник, учитель стал пробегать ее, мужики промеж себя втихомолку переговаривались: «Для коего шута принесло сюда этого...» Семен Васильевич, наскоро просмотрев устав, возвратил его Лисину. Поговорили о кассе. Учитель не однажды заметил, что это «хорошее дело» и для бедных людей много помощи может оказать. Лисин, с своей стороны, утверждал, что ихний околоток скоро процветет, «яко цвет сельный», что «правительство и министры охотно разрешили кассу в селе Смурине» и что только недобрый человек и круглый невежда супротив такого благодеяния может идти. Лисин всласть наковырял всяких ученых слов и остался весьма доволен собой. Он, вероятно, еще долго бы услаждал свой слух мягкими звуками собственного голоса, ежели бы учитель не поворотил круто разговор в другую сторону.

— Вот и я, Илья Петрович, потому, собственно, и приехал... Охота бы тоже к вам в кассу поступить! — сказал он. — Как бы это, а?

— Что ж! Это, полагаю, можно будет. Пропаганды никакой тут нет! — после минутного молчания промолвил Лисин, взглядывая исподлобья на Кряжева. — Только сегодня не успеть. Сегодня и то уж мы закалякались, еще на час работы будет. Дмитрий Михайлыч! Очередных-то еще много? — обратился он к Кряжеву.

— Человек пять еще! — ответил тот, не поднимая головы. — Обедать захотел... что ли? Хозяйка торопит?..

— Нету! А вот мы здесь с Семеном Васильичем толкуем. Тебя бы надо! — отозвался Лисин.

Дмитрий подошел к ним.

— У нас ведь, Семен Васильич, так!.. — сказал Кряжев, когда ему объяснили, в чем дело. — Вы сегодня вот заявите, а мы в будущее воскресенье насчет этого с членами переговорим. После собрания и узнаете. А теперь сказать ничего не можем.

Когда учитель, распрощавшись, вышел на двор, насмешливая улыбка пробежала по его губам и он как-то презрительно глянул на окна дома, где шумела касса и откуда серыми волнами выносился табачный дым.

— Отцу благочинному мое почтение! — крикнул ему с крыльца Лисин. — Здоровеньки ли? За делами-то и не спросил...

— На спину все нынче жалуется, а то ничего, — ответил Семен Васильевич, влезая на лошадь.

За околицей он опять насмешливо улыбнулся, обругал кого-то «дурачьем» и принялся хлестать немилосердно лошаденку. По дороге он заезжал в три кабака, в каждом выпивал по два стаканчика и, приехавши домой, вместо ожидаемых дядюшкою благочинным новостей, мог только несвязно мычать.

Почти в то же самое время Аггушка проходил по Закручью, намереваясь за селом перебраться через Вожицу по камням. Он, как и всегда, был в своей истрепанной одежонке, подпоясанной обрывком веревки, босой и без шапки.

— Не из кассы ли уж пробираешься? — окликнул племянника Григорий Иванович Прокудов, увидав его из окна.

— Нету! — проурчал Аггушка, продолжая шагать по улице.

— Подь-ка ты сюда! — крикнул Прокудов.

Аггушка почесался и неохотно завернул к дяде во двор.

— Ну, что! Забор-то нам у ручья загородил? — спросил Григорий Иванович, когда Аггушка уселся против него на лавку у стола.

— Давно загородил! — молвил племянник.

— То-то! Каждую весну городишь, а проку нет!

— Давал бы еще погнилее колья-то!

— Гм! С тобой разве, парень, сговоришь! Не таковский ты!..

— Это точно...

— И взаправду, знать, антихрист народился... Всякая ижица вперед азов лезет! — глубокомысленно заметил Прокудов.

Аггушка ничего не сказал на это, только облокотился на стол и исподлобья поглядел на дядю. С минуту собеседники помолчали.

— Не хошь ли в носки, а? — спросил Григорий Иванович.

— Давай, пожалуй! — согласился племянник.

Аггушке с первого раза не повезло, и дядя дул его засаленными картами по носу до того, что Аггушкин нос скоро разгорелся на славу. Дядя хохотал, и от радостного смеха все его тучное тело так и вздрагивало. Аггушка злился и не мог скрыть своей ярости: губы у него так и подергивало. Прокудов видел это, и того пуще разбирал его хохот.

— А вот тебе, вот, да вот! — приговаривал дядюшка, нахлестывая племянника по носу. — Что, горит небось переносье-то?

— Ничего, стерпим! — отзывался тот, стискивая зубы. Но вдруг счастье повернулось к Аггушке; он выиграл.

— Ну, держись! — пробормотал он, вращая своими посоловевшими глазами.

— Ну! Ты ж гляди, не шибко размахивайся! — сказал Прокудов, подставляя нос.

Аггушка уже ничего не видал и не слыхал. Он словно опьянел. Ухвативши сколько попало карт, он опустил одну руку дяде на плечо, — и вдруг такие хлесткие удары посыпались на дядюшкин нос, что Прокудов взревел от боли, ухватился одной рукой за нос, а другой замахал на Аггушку. А тот стоял, наклонившись над ним, и внимательно, с явным злорадством глядел на него. Жилы на его руках напряглись, как веревки, ноздри раздулись, зрачки расширились, как у полоумного...

— У-у, дьявол! Змеиное отродье! — вдруг разразился Прокудов и задышал прерывисто и тяжело, точно загнанная лошадь. — Пошел к черту! Сломать бы вам шею всем! Подлецы! Прислужники антихристовы!

Аггушка разом как-то пожелтел с лица, хотел что-то сказать, но только махнул рукой и, выходя, так двинул дверью, что окна в избе задребезжали.

По вечеру Евгения прибежала к братниной хатке и, застав ее запертою, решилась обождать Аггушку. Она отдернула палку, которою приперта была дверца, и вошла в избу. За нею тотчас же послышались шаги... Девушка обомлела от испуга: в избу за ней входил Дмитрий Кряжев.

— Нет его, что ли? — спросил он, оглядываясь.

— Его нет! — отвечала девушка, усаживаясь на лавку под окном.

Дмитрий сел поближе к двери и закурил трубку.

— Куда его унесло! — немного погодя проговорил он как бы про себя, выпуская клуб дыма.

Евгеша промолчала; в хате несколько минут было не слышно живого звука...

— Отчего это, Дмитрий Михайлович, вы никогда со мной не поговорите?—вдруг с слабой, мимолетной улыбкой заметила Евгеша.

— Да что мне с вами говорить!.. — серьезно промолвил Кряжев, нажимая пальцем горячий пепел в трубке и с силою разгоняя рукой дым. Он как бы немного смутился от прямого приступа своей собеседницы. — Известно дело, вы — городские... Что вам с нами, мужиками, взять!

— Это вы так только говорите... Одежда-то у вас деревенская, а вы на мужиков многим не похожи! — возразила Евгеша.

— А на кого же бы мы это похожи? Нешто на барина? — с усмешкой спросил Дмитрий, уставясь глазами в пол.

В ту минуту в сенцах раздались шаги, и в избу вошел Аггушка — пасмурнее осенней темной ночи. Он распоясался, повесил на гвоздь веревку и опустился на скамью.

— Ах, братец! Что без тебя-то у нас было, как ты ушел! — заговорила Евгения, обращаясь к Аггушке. — Уж как дяденька ругался — страсть! Хочет тебя с земли прогнать, избу грозится раскатить и тебя в расправу

свести хочет... Уж и мне-то от него попало. Все тобой попрекает.

— Попомнит он меня! Я ему закажу!.. — тихим, раздумчивым тоном молвил Аггушка и не сказал об этом в тот вечер более ни слова.

Сестра уговаривала его помириться с дядей, но он упорно молчал и принялся снимать и переносить на вышку какие-то сухие пучки травы, висевшие у него за перегородкой.

— А к нам, брат, сегодня опять четыре человека записались, — сказал Аггушке Кряжев.

— А-а, ну вас и с кассой-то! — окрысился тот, разбирая спутавшиеся пучки травы. — Забавнее с Гришкой в носки играть. По крайности хошь человека в жар вгонишь... Проберешь во-о как, — до слез.

— И не сообразишь, о чем ты тут... Этакие загадки все загадываешь! — заметил Кряжев. — Только гляди: не пришел бы и ты к нам, когда ни на есть!

— Не милостыньку ли просить? — язвительно усмехаясь, возразил Аггушка. — Ну, ждать долго; зубы позеленеют. Нет, Митюха! Я уж скорее обворую вас всех, чем под окнами с коробушкой прошать пойду... А на кассу мне на вашу наплевать! — И Аггушка действительно плюнул и пошел с травой на вышку.

— Ну, каши с тобой, надо быть, не сварить! — выходя, молвил Кряжев.

— Пойдемте к Крестам! — прощебетала ему Евгеша, выходя за ним вслед. — Там сегодня девушки песни поют...

— Что мне там делать? — проворчал Кряжев и подумал: «Чего она привязывается, ровно банный лист!»

— У-у, какой вы! — молвила девушка, срывая с земли желтый цветочек и лукаво, как котенок, посматривая на Кряжева.

Кряжев нахмурился. Не могла, видно, Евгения подобрать ключа к Митюхиной душе; видно, хитро отпирался этот замок. «Каменный человек!» — думала девушка... Молча дошли они до села. Кряжев повернул к своей избе, а Евгеша, мурлыча себе под нос песенку, прошла к Крестам и там до глубокой ночи просидела с девушками. Писарь балагурил с нею и потчевал ее пряниками и орехами, но не ему улыбались ее темные глазки, и не от его сладких речей и вкусных пряников

полымем занималося ее смуглое лицо. У Крестов долго за полночь слышались песни и говор...

В тот же вечер Евграф Зайцев в свою серую тетрадь вписал еще одно стихотворение и в нём подчеркнул следующий куплет:

Скрылось солнце, скрылись рощи,
Скрылся милый вид полей;
Но могу ль сравнять мрак нощи
С мрачностью души моей?

А Кряжев с вечера долго продумал о кассовых делах, о заявлении красногоркинского учителя, о навязчивой девке и о том: кой черт вселился в Аггушку...

V. СМУРИНЦЫ ПОМОГАЮТ КУЗЬМЕ

Серое, пасмурное утро рассветало над Смуриным. Мелкий теплый дождь моросил, словно из сита. Соломенные кровли и темные бревенчатые стены от дождя потемнели еще пуще. Кое-где топились печи, и в сыром воздухе припахивало дымом. По улице, от избы к избе, переходил сельский староста Гаврила Матвеевич и, стуча под окнами, сзывал народ на сходку. Народ собирался вяло. Наконец перед правлением сермяг сошлось довольно, и сходка состоялась. Тут сельский староста от лица старшины предложил миру помочь Кузьме Ивановичу Чиркову в добром деле. Надо было до тридцати подвод, чтобы съездить в Чернопятье и привезти оттуда известку. Крестьяне очень хорошо чуяли, что такое предложение равняется для них приказу, и сильно понахмурились.

— Ведь он, Гаврила Матвеич, на свой счет взялся придел-то подновлять. Так сказывают. Ну, и пущай его сам подновляет! — заговорил Дмитрий Кряжев, обращаясь к старосте. — Для чего до нас-то он добирается? Коли подвод надоть, так найми! Легкое ли дело, лошадей маять да телеги ломать... Дегтю одного сколько изведешь! Три дня еще проваландаешься... Эку шутку сшутил: тридцать подвод! Нет, Гаврила Матвеевич, ты уж уволь мир от этой известки.

— Да мне что! Коли миру не любо, так так и скажем! — недовольным тоном заметил староста: старшина ему строго-настрого наказал, чтобы подводы к завтрему были непременно выставлены.

«Сам бы шел толковал... вот что!» — мысленно ворчал староста на Сысоя Иванова, поглядывая искоса на Кряжева.

— Верст, чай, восемьдесят будет! — молвил один из толпы.

— Кабы не с хвостиком! — заметил другой.

— А хвостик-то, примерно, как будет? — спросил третий с усмешкой. — Этак, пожалуй, и целая сотня набежит...

Сходка взволновалась и загудела.

— Для церкви божией послужите, не Кузьме Иванычу! — пояснил сельский староста. — Это уж точно, что такое дело, не понудишь! Коли совесть не зазрит, так и толковать нечего! Вот и все.

— Поколь до рабочей-то поры и съездить, — вмешался Антон Кудряшев.

Прокудов, Беспалый, Иван Прохоров и другие закручьевцы поддержали Антона, заявив, что они не прочь послужить храму божию.

— Так пошто же он взялся на свой-то счет делать, коли для бога на грош расступиться жаль? — вступился Кряжев. — Мужики ему известки привезут, да еще, гляди, что ни на есть поделают... Подписку, эвона, по барам собирает. А там и почнет величаться, — скажет: «Все один орудовал». Для чего мир-то морочить!

— Кто его морочит! — начал было Беспалый.

— И какая такая подписка! Чего пустое-то болтать! — перебил Кудряшев.

— Не пустое, Антон Васильич! Знаем, что говорим... Не на ветер пущаем! — с твердостью возразил Кряжев.

Сходка раздвоилась. Часть перешла на сторону закручьевцев, часть пристала к Кряжеву. Последних сначала было больше, но затем, чем далее затягивалась сходка, тем ряды их редели пуще и пуще. Лисин помалчивал, переходил от одной кучки к другой и вскоре совсем куда-то скрылся. Крестьяне видели, что, отказавши в подводах, они вооружат против себя не только Кузьму Ивановича, но и старшину, и старосту, и писаря, и всех закручьевских, без того уже точивших на них зубы. Все Митюхино красноречие разбивалось о чувство страха к сильным. В душе все соглашались с ним, а послушаться его было все-таки боязно. Сходка позатянулась, так что мужики порядком измокли, стоя на дожде, а бабы то и дело поглядывали в их сторону, опасаясь

не на шутку, чтобы мужья «с утра не назюкались». Наконец мир порешил так: «Неволить никого не след, а кто хошь — поезжай...» Вот все, что мог сделать Кряжев на этот раз... Двадцать две подводы отыскались тотчас же. Дмитрий, конечно, отказался и ушел домой. Отказался и брат его, Василий, ссылаясь на свою хворость и на домашний недосуг. Затем староста объявил, чтобы вызвавшиеся ехать за известкой зашли до отъезда к Кузьме Ивановичу.

— Гм! Митюха-то, а? — язвительно заметил Прокудов, обращаясь к своим. — Да уж знамо дело: богу алибо черту служить... Кому-нибудь одному...

— Это так! — моргая глазенками, отозвался Андрей Беспалый. — Это ты насчет печати-то? Слышали мы тоже...

— Да, везде говорят, — вмешался Кудряшев. — Вон онамнясь Онуфрич с Дедова приходил за вином... Так и там, слышь, поговаривают... Смеется, говорит: «Печатей-то у вас еще не прикладывали?»—«Нет»,— говорю. «Ну так, говорит, скоро сам заявится!» Ей-богу, право, — так и говорит.

Староста многозначительно покачал головой.

Оказывалось, что Кузьма Иванович предлагал крестьянам свезти его хлеб из Каменева в Чернопятье по два рубля ассигнацией за воз. А от Смурина до Чернопятья, как сказано, считалось верст девяносто, а было, может статься, и более.

— Порожняком же поедете! — уговаривал Чирков.— А чтобы порожняком вам пусто не ехать, я вам и навалю... Навалю я вам, братцы, немного, чтобы, значит, коням-то полегче было. А денежки-то, глядишь, пригодятся. Так-то... По рукам братцы, что ли, а? Навалю, и с богом!..

— Помалу уж больно даешь-то, Кузьма Иваныч! Не сходно... — заметил один из крестьян.

— Все одно мне! Поезжай пустой, коли два рубля не сходно... Разбогатели, видно... и слава богу! — отрезал Кузьма Иванович.

И повезли смуринцы хлеб Кузьмы Ивановича в Чернопятье.

Чернопятье было, как уже сказано, большое торговое село, где у Чиркова находились хлебные склады. Пять дней потеряли смуринцы: свезли хлеб ни за грош, даром привезли известку. А Чирков не дремал: задеше-

во купил он для храма божия кирпичей на заводе и для той же цели употребил кирпичи, уцелевшие от графских конюшен; дерева достал он даром; подрядчику за работу уплачивал из собранных по подписке денег и из церковных сумм. Вообще подновление придела стало Чиркову не убыточно, а честь все-таки честью...

Толки на сходке и речи Митюхины, конечно, не прошли мимо его ушей, и он крепко намотал себе на ус то, что завелся на Смурине такой человек, который видит насквозь его благочестие и его общественные заслуги не ставит ни во что. «Погоди, дай время, голубчик! — мысленно обращался бывало Кузьма Иванович к Кряжеву, просиживая на своем кованом сундучке, как на троне. — Постой! И до тебя доберемся!»

VI. ВАСИЛЬЕВО ГОРЕ

Дня через три после сходки Агафья, Васильева хозяйка, поднялась до свету, поручила бабке истопить печь и управиться с обрядом и затем, не сказав никому ни слова, пошла из деревни по-за околицей в поле, свернула на еле проезжую дорожку и направилась к Борковскому лесу.

Там, за лесом, в семи верстах от Смурина, есть мельница — и называется эта мельница Верейскою оттого, что от нее неподалеку, на бугре, до последнего времени торчали две черные обгорелые верей — остатки от погоревшего барского дома, красовавшегося некогда здесь. Уже лет двадцать тому назад дворовые — брат с сестрой — спалили эту усадьбу. Брат в Сибирь ушел, сестра умерла в остроге, а усадьба так и порешилась. Лет восемь тому назад бывший господский староста Андрей Полетов прикупил у бар сверх надела еще десятин пять землицы, построил себе хату, ветряную мельницу, завел за мельницей липовую рощицу, устроил в ней пчельник и обнес свои владения высоким валом. Андрей Полетов слыл в околотке за знахаря. Поговаривали даже, что к нему из города господа в колясках приезжали; кто зубы лечить, кто что; лошадей порченых и с норовами приводили; немало также и толстых купчих приезжало к нему животы править. Андрею денежка-таки перепадала... Закладка нового дома, свадьба и крестины также не обходились без него. Заболеет ли скотина, или к человеку какая-нибудь хворость привяжется, потеряется

ли у бабы холст, или телушка куда забредет, обойденная нечистым, с ребенком ли что попритчится — за все про все шли к Андрею Полетову. Он же, значит, заменял и лекаря. (В Черешинском уезде один лекарь приходился на сто тысяч душ). Андрей получал с крестьян вознаграждение по большей части натурой, что для крестьян тоже было небезвыгодно. Он был вдов и бездетен и жил на своей мельнице, вдали от всякого человеческого жилья, один-одинешенек с черным старым котом и с двумя грязными, косматыми дворняжками. Но от всяких напастей и озорства охраняло его ведовство, его знахарская слава.

Когда Агафья, набродившись по лесу и порядочно измокши, дошла до поселочка, Андрей готовился пустить в ход свою мельницу-ветрянку и, кряхтя, поворачивал ее крыльями на запад. Кончив свое дело, прикрепив к столбу воротила толстой бечевкой и увидав, что крылья пошли, задвигались и застучали, мельник близко подошел к Агафье и посмотрел ей пристально в лицо.

— Никак со Смурина... Да нешо никак Митрева невестушка? Глаза-то уж больно нонече плохи стали! — проговорил мельник глухим голосом и немилосердно щуря свои подслеповатые глаза.

Это был старик лет под семьдесят, но еще довольно крепкий, широкоплечий, среднего роста, с небольшой лысиной и с густыми прядями седых волос на затылке и на висках. Он был в синей пестрядинной рубахе и сером азяме, обшитом по краям синим сукном... Его добродушное старческое лицо, все в глубоких морщинах, сделалось задумчиво, и кроткие глаза его, едва мерцавшие из-за густых ресниц, уставились в землю, когда баба начала излагать ему свое горе. А горе-то было большое... «Коровка, вишь, не пьет, не ест уж колькой день, все больше лежит, язык сухой совсем, ровно тряпка, а глаза такие-то уж скучные, невеселые, что просто бы и не глядела лучше! А коровка-то одна только и есть...» Андрей снял свою высокую, темно-рыжую войлочную шляпу, замаранную в муке, провел по лысине раз и другой и тихо спросил:

— С коего времени это с ней прилучилось-то?

— Пятый день, голубчик! Пятый день! — отвечала Агафья, утирая рукавом слезы и покрасневший от слез нос. — Измаялась я с ней. Просто тошнехонько. Посо-

би ты, ради христа! — и баба повалилась знахарю в ноги.

— Запустили... Пораньше бы надоть... Ну, да уж пойдем, попытаем... — И Андрей пошел в избу, а Агафья, плача, следовала за ним.

В избе ничего не показывало, чтобы хозяин ее занимался знахарством и ведался с высшими невидимыми силами. Только старый-престарый черный кот сидел на лавке и блеснул своими большими зеленоватыми глазами на Агафью, когда та переступала высокий порог. В избе все было начисто прибрано и подметено. Андрей сходил в чулан, принес небольшой пучочек какой-то сухой, серовато-желтой травы, опрыснул ее водой, посыпал крупной солью и, захватив ее в обе горсти, ушел в темный угол, за печку, и начал читать не то заклятье, не то какую-то молитву. Выйдя из-за печки, мельник бережно завернул траву в бумажку и суровой ниточкой крепко-накрепко перевязал ее.

— Ну, с богом! Слушай теперь меня хорошенько! — начал он шепотом, с расстановкой и не поднимая глаз, словно бы говоря про себя. — Со двора ты не гоняй ее дня два или три; пущай поотстоится. Дай ей травку, да так, чтобы ни одна душа не заприметила. Потом свежего сенца давать хорошо, солью спрыскивать маненечко. Подстилочки свежей тоже хорошо бы. А бумажку я тебе дам с прописью — ты ее в щелочку запихни куда ни на есть во дворе. Только гляди, не увидал бы кто...

Агафья опять повалилась в ноги... А Андрей сходил в чулан за бумажкой. Бумажку и сверток баба бережно запрятала за пазуху, в ту самую тряпицу, из которой только что вынула и положила на стол десяток яиц и пять аршин холста.

— Не возьму, не возьму, не надо! — промолвил Андрей, решительно помахивая рукой на яйца и холст. — Знаю я ваши достатки... Пошла, пошла! И без твово проживу...

Не уступил Андрей на Агафьины просьбы, не взял ничего.

— А Кряжев Митрий как живет-может? — спросил он на прощанье у Агафьи; та сказала, что «живет помаленьку».

Старик с Дмитрием был в очень добрых отношениях, и на Смурине тому немало дивовались.

«Боюсь, кабы не поздно...» — прошептал мельник и, опершись на огород, посмотрел вслед Агафье; в лице его, чудилось, так и застыла какая-то глубокая, грустная думушка. Он промычал что-то, снял войлочную шляпу, перекрестился трижды и пошел на мельницу засыпать зерно, пользуясь крепчайшим ветерком.

Когда Агафья уже подходила к Смурину, к Василью, поправлявшему соху, прибежали впопыхах ребятишки и сказали, что его «буренка, кажись, подохла, — свалилась у изгороди и не встает». Василья даже всего передернуло. Он не пикнул, а только вдруг побелел, словно полотно. Он побросал доску и топор, что были у него в руках, и бегом, без памяти, пустился в поле. Туда же с воем бежала и Агафья, оповещенная уже какою-то встретившеюся бабой. А буренка лежала у изгороди, вся вытянувшись и оскалив свои белые зубы; ее большие глаза, словно заволоченные слезой, неподвижно уставились вдаль. Прибежал Василий, глянул и взревел, как малый ребенок. Крупные слезы так и покатились по его лицу, губы так и задергало. Оперся он плечом о загородь и громко зарыдал. Агафья, всплескивая руками, стояла над коровой и сквозь слезы, как сквозь серый туман, глядела на нее.

— Охти мне, ох! Тошнехонько! — причитала она, то наклоняясь над буренкой, то выпрямляясь и как-то судорожно перегибаясь всем телом назад. — Что теперича мы... О господи, пресвятая богородица!.. На-кось, о-ох, сердечная ты моя! Ой-ой-ой! — И баба замотала головой и повалилась на траву.

Анютка ухватилась своими маленькими, худенькими ручонками за материн сарафан и голосила благим матом. Ветер далеко, но напрасно разносил по полю вопли и стоны.

Потрясающую картину глубокой насущной скорби представляла теперь эта несчастная семья; она лишилась своей последней коровы-кормилицы. Вот это горе так горе. Что теперь, кроме квасу с луком, станут они хлебать в скоромные дни? На чем они будут в праздники печь овсяные рогульки? Чем замаслят они себе кашицу? Что без удобрения вырастит им поле? Не деланное, не выдуманное, а настоящее, тяжкое горе разразилось в то серенькое утро над Васильевой семьей. Живая буренушка, стоившая шестнадцать целковых, вдруг стала падалью; пришлось содрать с нее кожу и продать за

два с полтиной, а окоченелый труп стащить в болото и там поглубже зарыть в землю...

Без коровки с семьей нельзя было оставаться; надо было обзавестись новою. Беспалый предлагал было Василью за двадцать рублей корову с рассрочкой платы на полгода, да уж коровенка-то больно была плоха; рублей тринадцать-четырнадцать — красная ей цена. Так или сяк, а надо было решиться и дать нажиться от своего горя Беспалому ли, Кудряшеву ли или другому кулаку. Ежели покупать, так уж теперь. Вот тут-то Дмитрий, улучив минутку, однажды вечером зашел к брату в кузницу.

— Вот видишь что! Коли бы теперь ты был у нас в кассе — вот подал бы ты заявку, что, значит, деньги тебе надобятся, — говорил Дмитрий, — представил бы ты двух поручителей за себя... нашел бы ведь поди? Потому, ты мужик работящий, не пьяница, не озорник какой — и всякое домашнее обзаведение есть. Ну, в воскресенье бы тебе и выдали! А опосля знай платил бы себе помаленечку. И выбрал бы ты корову по своей воле, какая тебе полюбится. Вот оно что — дела-то какие.

Но, вероятно, и на этот раз Василий устоял бы от соблазна и в кассу бы не записался, если бы не вышло у него с Прокудовым одного дела. Взяв у Григория Ивановича накануне Николы семян, Василий, придя домой, зарубил для памяти на косяке черточку; эта черточка значила для него день косьбы. Вдруг Василий случайно через соседа узнает, что Прокудов считает за ним два дня, а не один. Василий за разгадкой своих недоумений идет к кулаку. Тот тоже говорит, что косьбы за ним два дня.

— Как же это, Григорий Иваныч? — выговорил Василий, выпучив глаза. — Уговаривались-то мы на день — на один...

— Я, вишь, знать, сам выдумал, день-то насчитал на тебя, на бедного! — с насмешкой промолвил Прокудов.

— Надо быть, что так! — согласился Василий.

— Ах ты, свинья, свинья! Вот оно добро-то и делай людям... А они, вишь, на тебя же... Так как же? Я вру?

— Глянь в бумагу-то! — заметил Василий, уже робея за свою смелость и мотая головой на божницу, где хранилась у Григория Ивановича его записная книга.

Прокудов вытащил условие и прочитал его вслух. По условию тоже выходило два дня. Василий был неграмотен, и сомнение его сильно разбирало. Зазвали мимо проходившего Лисина, — и тот прочитал условие так же.

— Так два дня выходит! — дрожащим голосом проговорил Василий. — Ну, ладно... Благодарствуй, Григорий Иваныч! Много довольны! Два дня уж отработаю, а там не поминай лихом! — И Василий понурым вышел из избы, но, переступив порог, вдруг приостановился, подумал мгновенье, сделал шаг назад и опять растворил дверь.

— Греха ты не боишься, видно! — сказал он грубо и жестко. — Креста на вороту у тебя нет... Истинно, кровопивца!

Василий стоял у двери, взявшись за скобку и обернув к Прокудову свое закрасневшееся лицо.

— Подавиться бы тебе!.. Терпели довольно! Безбожная твоя голова! Старик исшо.. и-их! — И Василий, двинув дверью, вышел вон.

А Григорий Иванович не мог еще опомниться и прийти в себя: его словно угаром обдало, язык отнялся, и руки онемели.

— Ах, мразь проклятая! — прерывистым голосом заговорил он, продышавшись маленько. — Да это что же будет? Всякая-то гадина почнет рыло воротить! Это все «каторжный» их настрочил! Пущай же теперь идут к нему. Пущай с ним целуются.. Покажу я им, покажу-у! Анафемы!..

Лисин молча, но выразительно прихлопнул себя по колену: «Что, мол, с ними поделаешь!..»

Для Василья же из всей этой истории вышло добро: он решился записаться в кассу. Только Агафья не могла угомониться и на всех перекрестках галдела, что «Митюха сомустил у нее Василья», что «придется Митюхе на том свете ответ держать». Но хозяин уже не слушал ее и на все ее причитанья только рукой махал.

— Всяко может случиться — и богатый к бедному постучится! — со вздохом приговаривал он.

Василий, как и все смуринцы вообще, был рабочий скот, но такой скот, который чувствовал, мыслил и даже мог мечтать. Но мечты были чудны и дики, как дик был сам человек. Все они ворочались около хлеба, гвоз-

дей да денег; все они выливались в самом аляповатом и грубом виде. Иной раз, например, Василий мечтал: выйдет вдруг такой указ, что простят смуринской волости все недоимки, сколько их ни на есть, а с бедных крестьян, с таких, как Василий, все подати и оброки, и повинности сложат. Важная была бы штука! Не стал бы тогда Василий на закручьевских работать, на себя бы работать стал, все бы домой понес. Глядишь, и избу бы новую состроил, и оконницы бы светлые вставил, такие, как вот у Кудряшева или у Прокудова. Тулуп бы новый на зиму завел, все как следует. А вдруг бы вышла еще такая воля: бери всякий себе по десяти десятин удобной земли и лесу. Ну, тогда бы совсем — шабаш! Хлеба бы хватало на круглый год, не пришлось бы заместо хлеба мякину есть, не пучило бы этак брюхо, и люди не помирали бы так шибко, как года три тому назад. А гвоздь гвоздем; вози в город, на продажу, — благо дело не к спеху: ни кулак с тебя не теребит, ни староста не тянет! Ох ты, господи, жизнь-то какая! Тогда бы, гляди, и помирать не захотелось!

Дикие и грубые мечты! Но они были, они жили в Васильевой душе, ничего не могло заглушить их или вырвать оттуда. Только они чужого глаза боялись, на свет не показывались.

VII. ПОДАРОК

В воскресенье, после обедни, опять, как водится, собралась касса; опять Кряжев, не разгибаясь, писал все утро, и табачный дым ел всем глаза. Василий, разумеется, сейчас же был принят в члены товарищества; принятие учителя не состоялось.

— Земли у него нет, имущества тоже никакого... — говорил Кряжев. — Сегодня он при нас, а завтра и бог знает где. Одно слово — человек с ветру. Не крестьянин он! Пущай сами свою кассу заводят... Да к тому и испивает. На водку про него нам не напасти капиталов... Ну его!

Лисин, принимая в расчет, что учитель — родной племянник благочинного, не прочь был принять его в товарищество. Того же мнения держались и еще некоторые члены. Но большинство стояло за Кряжева. Когда Семен Васильевич явился в собрание, Лисин с сожалением объявил ему о результатах его заявления.

— Что будешь делать? Члены порешили! — политично отозвался Лисин. — По чести сказать, я говорил за вас!

— Это все поди Дмитрий Михайлыч... Это он против меня? Знаю.

Лисин не возразил, лишь хитренько усмехнулся...

Чертыхаясь, поехал учитель из Смурина с недоброжелательством к Митьке Кряжеву и с твердым намерением пожаловаться дядюшке. Заступничество за мир, за общественные интересы с каждым новым днем прибавляло Кряжеву новых врагов.

А с закручьевского берега по-прежнему, с лаской и участием, задумчиво смотрели на него темные глазки. Евгения по-прежнему в рабочие дни сидела на берегу, на своем обычном месте, и следила за Кряжевым. Девушке все пуще и пуще нравился этот красивый, смелый и умный крестьянин. Правда, она не разумела Митюхиной души, но все же таки видела, что он мужик неспроста, незаурядная птица, не смуринского поля ягода. Евгения была не глупа, умела подмечать... Смуринцы его слушаются, закручьевские его терпеть не могут; одни его шибко хвалят, другие ругают его так, как еще, кажется, никого не ругивали. На усадьбе он, говорят, первый человек, к барыне ходит, когда вздумается, чай у нее пьет и говорит обо всем. По всему этому питерячка отличала Кряжева. Она поминутно слышала, что Дмитрий «каторжный, беспокойная голова», и сама была не прочь думать, что Кряжев и в самом деле беспокойная головушка. Он какую-то кассу заводит, закручьевских обижает. Он с Андреем-мельником знается, может быть, и с нечистой силой кумится. Может быть, антихрист на него и печать свою уж положил. Все-то он норовит сделать не так, как вообще на деревне делается. Взял вон вдруг да раньше Николы засеялся. На Смурине до той поры раньше Николы никто еще не засеивался, Кряжев первый переступил Николу вешнего. Думали: «Вырастет ли уж у него что ни на есть?» Выросло, — да еще как важно-то! Еще и хвастается, что раньше всех управился с яровыми... Что до всего этого было Евгеше? Ей полюбилась эта беспокойная головушка, шибко полюбилась.

Только напрасно Евгеша ломала голову, как бы ей ухитриться — сблизиться с этим человеком, престу-

пившим Николу. В Закручье он ходит редко, на Крестах не бывает, сидит в кузнице или дома, на крылечке у себя, играет на гармонике, а ежели и выйдет на улицу, так все о чем-то с мужиками толкует. Встретилась она с Кряжевым, правда, у брата раза два-три, перекинулась словечком-другим, да ничего из того не вышло. Кряжев неразговорчив с нею, сердит, все хмурится, отворачивается, а если что и молвит, так ровно нехотя, ровно из-под палки. Девушка нарочно яркой пунцовой лентой подвязала свои темные волосы и концы лент распутила по плечам; сережки в ушах, словно жар, горят. И не смотрит. Евгеша не знала, о чем бы с ним молвить, чтобы половчее вышло, чтобы он развеселился. Рассказывала она о Питере и сама много смеялась, а он, ровно каменный, и не пикнет; может быть, слушает, а может быть, и нет. Говорила она о дядиных делах — тоже ни ответа, ни привета; даже о кассе спрашивала и дождалась от него только несколько коротких и сухих «да» и «нет». Эта холодность еще пуще разжигала девическую страсть. Евгеша не отчаивалась добиться своего.

Во-первых, она знала, что Дмитрий не женат и ни с какой женщиной «не живет»; иначе на деревне говорили бы, ибо за Дмитрием с закручьевского берега поглядывали в оба и ни одного темного пятнышка в нем не пропускали без замечаний и ругани. Значит, соперницы Евгеше нечего было бояться... Во-вторых, осколочек зеркала, в который она смотрела каждый день не по одному разу, поддерживал ее надежды... «Нет! Ты мертвым-то не прикидывайся! Проймем!» — мысленно говаривала она ему. Кряжев же просто сторонился от нее потому, что не находил, на чем бы и для чего было бы сходиться ему с этой питерячкой, с племянницей закручьевского кулака. Пригожа — правда, да что ж из того? Мало ли на свете пригожих девок!

В то воскресенье, как Василий поступил в кассу, Дмитрий по вечеру побывал у Аггушки, объявил ему о том, что брат и еще два ведровских записались к ним в кассу, и выслушал от того глухое ворчанье, имевшее тот смысл, чтобы «они убирались от него ко всем чертям». Возвращаясь на деревню, он повстречал Евгешу и хотел было молча пройти мимо, как та прямо подошла к нему и почти загородила ему дорогу.

— Вот вам за ключ! Ведь вы курите, так вам при-

годится! — молвила девушка, подавая ему бисером вынизанный кисет для табаку.

— Ну-у, это слишком дорого будет, коли кузнецы по стольку за работу получать начнут! — возразил Кряжев, не принимая кисета, и попятился немного назад.

— У меня денег нет. А это вы возьмите! — настаивала девушка, насильно впихивая в руки Кряжеву кисет.

— Да не за что! Для чего я возьму? — отказывался Дмитрий, с недоброжелательством поглядывая на кисет, оставшийся у него в руке.

— Ну, так хоть на память возьмите. Я сама его шила... — тихо промолвила девушка и чуть не бегом пустилась от него по дороге к братниной хатке.

— Фу ты, дьявол! — прошептал Кряжев, растерянно оглянувшись на девушку и с досадой потряхивая на ладони кисет. — Видно, что в Питере живала.

Впрочем, придя домой, Кряжев бережно уложил бисерный кисет на дно своего старенького сундучка, перешедшего к нему по наследству еще от деда, во всю крышку которого внутри была наклеена раскрашенная картинка, изображавшая на белом коне Георгия Победоносца, поражавшего змия.

И долее, чем Кряжев ожидал, мерещилась ему в тот вечер пригожая, навязчивая девчонка.

VIII. ОТРЕЗАННЫЙ ЛОМОТЬ

В половине июня возвратилась Водянина и приятно удивилась, что флигель под школу уже совсем готов. Она нашла учителя, закупила книг и всяких учебных принадлежностей и рассчитывала, что разрешение на открытие школы скоро последует.

Кряжев той порой принялся возиться над устройством общественной лавки. Обещанную книжку Лизавета Петровна привезла ему, и он ее внимательно прочел не однажды, потолковал с барыней и все наконец уразумел досконально, что ему было нужно. Теперь забота шла уже с другой стороны. Лисин, так горячо ухватившийся было за лавку, предлагал устроить ее в своем доме: помещение у него большое, он торговое дело знает и не прочь за малое вознаграждение послужить для мира. Он обещал даже дать в долг на первое

обзаведение рублей полтораста. Дмитрий же находил, что удобнее поместить лавку на смуринской стороне, а не в Закручье, и указал на Федора Горелого, как на человека знающего и надежного. Лисин знал, что «Федор, точно, человек аккуратный и с головой», но полагал, что у Федора помещенья будет мало. Рассуждения о месте позатянулись, и дело кончилось тем, что Илья Петрович уступил. Но тут вдруг оказалось, к несчастью, что обещанных денег Илья Петрович дать не может, потому что раньше весны у него, по непредвиденным обстоятельствам, свободных не будет. С Кряжевым Лисин по-прежнему состоял в дружбе, захаживал к нему, зазывал к себе, толковал о лавке, о том о сем, подсмеивался над закручьевцами. Но Дмитрию чудилось, что Лисин стал меньше заниматься лавкой с той поры, как было решено поместить ее у Горелого.

— Это по мне все единственно! — с веселым беззаботным видом толковал Илья Петрович, перебегая глазками туда и сюда и никуда не смотря в особенности.

А Кряжеву думалось, что Лисин далеко не так холодно и равнодушно относится к этому вопросу. Выходило так, что Лисину хотелось поместить лавку у себя и все дело захватить в свои руки. Впрочем, отстаивая Горелого Дмитрий и не помышлял обороняться от Лисина; он просто находил лучше поместить лавку на смуринском берегу и дать лишний заработок бедному, честному малому. Только теперь Кряжев сообразил, что Илья Петрович, хлопоча о лавке, о себе хлопотал и имел на общественные деньги какие-то свои собственные виды. Прямых улик налицо не было, но Кряжев все-таки с пущей осторожностью стал водиться с своим хитреньким союзником. «Поколе он нам нужен, потоле и стану за него держаться. Теперь он на руку нам. А как разварзаемся с ним, так можно и по шапке!..» Не мог Кряжев положиться на Лисина, никак не мог столковаться и с Аггушкой. Тот прямо говорил ему, что он за все их кассы и лавки гроша ломаного не даст, что наплевать ему на всю эту благостыню. Правда, Кряжев всегда находил у Лизаветы Петровны доброе слово и совет; но барыня часто о чем-то грустила, сидела задумавшись. Не могла же она поверять свои чувства и думы кузнецу. Да и к тому же она и в Грайворонове пробыла недолго — всего неделю, и опять

уехала в Петербург, пообещавшись возвратиться через месяц.

Кряжев томился порой. Одиночество его тяготило. Работая у себя на дворе, в лесу или в поле или сидя над горном в своей темной, низкой кузнице, он живо ощущал это одиночество. Ему казалось, если бы он был не один, дела можно бы было переделать страх сколько! Если бы еще у него были книги под рукой, да если бы хватало у него времени читать их, знать, как живут, о чем думают и что поделывают люди на белом свете, в других местах, тогда, может статься, одиночество не давало бы ему знать себя так сильно. А теперь он от одного берега отстал, к другому не пристал; ни в городе Богдан, ни в селе Силифан. Вот разве школа поможет ему к другому берегу причалить... Положение было незавидное, нерадостное. Закручье на него зубы точило, начальству своему он не потрафил; Чирков, отец благочинный и других много недругов только и ждали, как бы подставить ему ногу, смять и затоптать. Лисин выглядит иудой, хоть и прикидывается другом: ему пальца в рот не клади! А Аггушка и вправду чудной человек...

— Я никак в толк не возьму...— говорил ему намедни Аггушка.— Чего тебе так любо да радостно? Завел ты кассу, выдаешь по грошу — заплату на портки разве положить хватит! Потом, теперича лавка опять... Шилом ведь, брат, воды не нагреть...

— Скажи ты мне, Аггуха, христа ради, вот что: какого тебе рожна еще надоть? — с задумчивой, тихой усмешкой возразил Кряжев.— Ты, кажись, сам не знаешь, чего тебе охота...

— А и то ведь... Мне иной раз и самому доподлинно так сдается... — промолвил Аггушка. — Только как, знаешь, погляжу я на закручьевские хоромы, так вот ровно всю душу и воротит. А кассы да лавки им все-таки не на задний зуб!

Очевидно, что «чудной» в помощники и в союзники Кряжеву не годился; но Кряжев не унывал. Не такого сорта был он человек, чтобы охать и опускать руки. Для того в нем слишком было много сил.

Сидя в кузнице, он находил время для дум; он выковывал гвоздь за гвоздем, глаза и руки его были заняты, а голова работала. Немудрено, что здесь, у кузнечного горна, Дмитрий принимал свои решения, строил

свои планы и надежды. Самая работа давала ему досуг, простор для размышлений. Очень может статься: обрабатывай он свой несчастный клочок земли — этот глинистый и каменистый клочок почвы, — он был бы двойником брата Василья. Был бы он лишь посильнее да позлее.

Затем житье в столице, частые хождения в город много помогли ему развить наблюдательность. Кряжев много видел и много думал. Он лучше ценил настоящее положение своих смуринцев и отношение их к Закручью, чем многие ученые, специально посвятившие себя разработке вопроса об улучшении быта сельского населения. Кряжев совершенно ясно видел, как Закручье обирает смуринцев, зорит их: смуринцы же принуждены волей-неволей кланяться Закручью и работать на него. Смуринцы несли Закручью более, чем отдавали казне, и трепетали Закручья чуть ли не пуще, чем всякой власти — светской и духовной.

. . . .

Закручье тут и есть, под боком: там и лавка, там и хлебушко, — да и писарь со старшиной на той стороне... Грозен и немилостив закручьевский бог! Он последний сараишко раскатит, последнюю овцу со двора сведет, последний тулуп с плеч стащит... «Ровно ведь колесо какое заведено! Так идет и идет!» — в изумлении, бывало, раздумывал Кряжев, вглядываясь в безвыходное положение смуринцев.

Митюхина кузница почасту стояла запертою. Хозяин ее хлопотал о мирской лавке. Понадобилось ему не однажды и в город гонять своего Чалого, туда и сюда. Много было затруднений, обид и всяких мелочных неприятностей. Около ста рублей у Кряжева было своих, сто рублей ему ссудила Лизавета Петровна. Надо было выхлопотать торговое свидетельство, переговариваться с городскими купцами, добиться у них кредита. Но кредита он не добился благодаря отчасти лавочнической подозрительности и недоверию, отчасти же проискам закручьевских кулаков, напугавших своих городских собратий. Впрочем, через неделю после петрова дня кое-как пополам с грехом лавочка открылась в доме Федора Горелого. Вывески, правда не было; но и без вывески на смуринской стороне всякий знал дорогу к избе Горелого...

Закручьевские бабы закопошились и зачали языки чесать.

— Товары-то какие у них, слышала? — говорила Прокудиха золовке Андрея Беспалого, стоя на пороге своей лавки и подпершись руками в бока. — Все брак да оборыш. Сахар-то, голубушка ты моя, подмоченный, неспорый, так и сыплется, ровно песок... И сладости то нсь ни-ни. Патока наша вкуснее будет...

— И чай-то очень ух нехорош, совсем-ем как трава! — подтвердила молодуха, ополаскивая кадушку и стоя на крыльце с заголенными выше колен ногами. — Дрянь, как есть... Гляди еще, кабы не отравиться; помрешь чего доброго!

— Ой голубонька! Что уж тут хорошего выйдет! — тараторила Прокудиха на все Закручье. — На какие денежки заводить вздумали, на чьи животы крещеные позарились! Накось! Кому свою душеньку запродали, а? Уж припечатает он их, не отвертятся... ни-ни! Ни в жисть!...

Закручью, со злости и досады, оставалось только грызть себе ногти! И действительно, пошли слухи, что товар в общественной лавке все оборыш и дрянь. В слухах было, впрочем, несколько и правды. Смуринцы попапугались и в лавку ходили мало и неохотно. Но Кряжев не унывал и надеялся поставить лавку хорошо и прочно. А между тем слухи об антихристе, о том, что скоро он пойдет по всем волостям и почнет печать наводить на тех, кто его деньгами нечистыми поживился, упорно держались благодаря стараниям закручьевских языков и все пуще и пуще стали расходиться по околотку и смущать добрых людей. Откуда взялись эти темные слухи, кто переносил их из деревни в деревню, как росли украшения к ним? — сказать трудно. Сначала они передавались шепотком, на ухо, потом погромче и, наконец, стали просто ходячею молвой.

«Вот мы, темные-то люди, всякому вздору бабьему верим, пустого места боимся!» — раздумывал Кряжев, когда долетали до него слухи об антихристовой печати.

«Одно слово — необразованный народ!» — в ответ на те же слухи поговаривал Лисин, презрительно пожимая плечами.

Подобные слухи, как известно, нередко возникают в разных местах деревенской России.

IX. ЛЕТНИЕ ВИДЕНИЯ

Кряжев еще на рассвете отправился в Ведрово заказывать для школы скамьи и столы по новому образцу. Он уповод уж потерял все равно и потому на обратном пути зашел на перепутье к Андрею мельнику и напился у него чаю со свежими душистыми сотами. Потолковали они со стариком и посмеялись вдоволь над антихристовой печатью. Наконец Кряжев направился домой.

Был полдень. Безоблачное и горячее раскидывалось над деревнями и полями июльское небо. Кряжев дошел до Борковского леса и стал пробираться по еле протоптанной тропе. Все зеленело кругом него, и полуденное солнце, казалось, пронизывало насквозь своим ярким лучом трепещущую листву. Сосны с темно-бурою корой и белоствольные березы мелькали вперемешку; колючий можжевельник и вереск кустились там и сям; местами виднелся весь алым цветом усыпанный шиповник; в густом, диком малиннике, перепутавшемся с крапивой, краснели спелые ягоды... Тихо в лесу. Лишь пичужки почирикивают, слегка хрустит под ногами Кряжева желтая сухая хвоя да темный прошлогодний лист; таинственный шепот-шорох расходится кругом. Хорошо в лесу. Кряжев не любовался кругом себя на игру света и теней, не любовался на голубое небо, так нежно сквозившее между листьями; но он наслаждался по-своему. Он вдыхал в себя запах диких цветов и трав лесных и чувствовал, что здесь дышится легче, что здесь воздух «вольнее», нежели в избе. Он чувствовал, что здесь лучше, веселее, чем в дымной, низенькой кузнице, у горячего горна. Сосновая смола лучше пахнет, чем перегорающий уголь. Но он не присматривался к живописно рисовавшимся стволам дерев и к синеве небесной отчасти потому, что уже свыкся с этими красотами с детства и не поражался ими; отчасти потому, что он был занят одним делом, одною мыслью.

Вот уже близка опушка, лес редеет и синего неба больше становится видно над головой. Вдруг Кряжев останавливается как вкопанный. Шагах в десяти от тропинки, за двумя старыми соснами, он увидел в тени три странные фигуры; две фигуры слишком знакомые, одну — незнакомую вовсе. На толстом гнилом пне, под склонившимися ветвями сосен, немного сгорбившись,

сидел старик, старый-престарый, Широкий серый балахон, весь в дырах и заплатах, неуклюже облегал его высокое, худое и согбенное тело. Ноги были грязны и босы. Какая-то зеленоватая фуражка без козырька лежала у старика на коленях. Голова его была гладко выстрижена; колючая с проседью борода оттеняла его страшно худое, желтое лицо, изрытое морщинами. Мутные, слезящиеся глаза смотрели в землю. Костлявыми, дрожащими руками он упирался на палку. Перед стариком угрюм и сумрачен, как всегда, стоял Аггушка и все к чему-то присматривался и зорко озирался по сторонам, словно боясь подглядыванья и засады. Медведка лежал в густой осоке, протянув между лап свою косматую морду... Ветви слегка пошевеливались, и свет золотистой полоской пробегал по серому балахону старика, по рыжей шерсти Медведки, по блестящим глазам Аггушки и так бежал далее — за высокие кусты.

— Не бойсь! Схороню я тя, вот как! Ни одному живому глазу не видать! — говорил Аггушка старику.

— Ох, родной ты мой! — зашамкал ему тот в ответ своими беззубыми челюстями, покачивая своей стриженой дрожащей головой.

Что далее шамкал старик, Кряжев уже не слыхал. Он пошел далее. По глазам Аггушки он видел, что тот хотел быть со стариком наедине, хотел остаться незамеченным. А коли Аггушка хотел, так шутить с ним было нечего. Кряжев был изумлен; он долго протирал глаза, думал: уж не пригрезилось ли? Хотя он не верил, но все же таки слыхал, как говорили на деревне, что летом, в жар, в лесной глуши часто «блазнит» и лесной иной раз до того водит в круги, что его несчастная жертва совсем заблудится и изнеможет. Но нет! Дмитрий видел своими глазами Медведка, видел «красного черта» и какого-то старика, слышал их речи. «Что за притча такая? — спрашивает сам себя Кряжев. — Что за старик, отколе взялся он? И с чего Аггушка с ним в лесу? Уговаривает, обещает укрыть старика от кого-то, укрыть так, что ни один живой глаз не увидит. Тут что-то недобро...» Припомнилось и то Кряжеву, что на двери Аггушкиной хатки за последнее время висел большой тяжелый замок, между тем как прежде Аггушка припирал дверь кое-как колом или оставлял ее отворенною...

Кряжев напрасно терялся в догадках.

Когда он вышел из леса, солнце своим горячим оком глядело на землю с синих высот, жгло и палило землю, жгло и палило согнутые спины жниц. Желтая, колосистая рожь падала под острыми серпами, и нахлобученных суслонов все более и более поднималось на колючей жниве. Евгеша, вся разгоревшись, жала вместе с рабочими. Девушка, правда, отвыкла от жнитва, но тетка посылала ее не столько собственно для работы, сколько для присмотра над работницами, пока сама управлялась дома.

Вечером, когда рабочие шли пауживать, Дмитрий прямо из кузницы собрался купаться и направился к ивовым кустам — к обычному месту своего купанья. Он пошел не по дороге, а берегом Вожицы. Вечер был чудесный, и Кряжев тихо подвигался по узкому межнику; один лишь неширокий загон отделял его от речного обрыва. Вдруг он слышит плеск воды, невольно поднимает голову и видит — Евгешу. Девушка с наслаждением погружалась в прохладные волны. Заходящее солнце, казалось, пронизывало насквозь ее нежное тело своим золотисто-розовым светом... Вот ее белые плечи показываются из воды... Она идет на берег... Она выжимает свои длинные черные волосы, рассыпавшиеся у нее по спине и сладко потягивается...

Сердит возвратился в тот вечер из кузницы Кряжев домой. Сердито двинул он дверью и с таким видом припирал ее колом, словно бы ожидал ночью какого-нибудь вражеского нашествия. Сумрачен сел он за стол, откусил немного черствого ржаного хлеба, глотнул из ковшика воды и залег спать.

КНИГА ТРЕТЬЯ

I. ПРИШЛЕЦ

Глухая осень стояла над Смурным. Серое небо висело над землей. Жнива печально торчала на полях, и печально стлалась по земле мокрая, блеклая трава. Голые деревья шумели жалобно. Мокрые плетни, грязная дорога, лужи средь улицы, бревенчатые избы, от дождя казавшиеся еще чернее, закоптелые, высокие трубы, отсыревшие соломенные стрехи, бабы, у бань и по задворкам треплющие лен, ребятишки в старых отцовских азямах, с репою в руках, по берегу ряд кузниц, скривившихся набок, и из дверей их там и сям выглядывающие мрачные фигуры в саже и в золе.

Смеркалось. Весь день моросил дождь. К вечеру он стал стихать, хотя клубы серых, дымчатых облаков попрежнему заволакивали небо от края до края. Ветер, проносясь над полями и болотами, словно стонал над печальной сторонкой.

По дороге к Смурину шел путник и — по виду — как будто бы солдат. Путнику можно было дать лет под шестьдесят. Его усатое, красное лицо сильно обветрело и выглядело как-то необыкновенно воинственно. Позаношенная военная фуражка была сдвинута на гладко выстриженный затылок. Серая шинель была подобрана с боков, на спине мотался кожаный порыжевший ранец, а в руках была толстая, большая палка. Но путник нельзя сказать чтобы опирался на эту палку; он скорее отпихивался ею, как отпихиваются шестом, плывя на плоту. Он шел, немного покачиваясь, и зорко всматривался в даль, задернутую туманом. Когда он наконец стал различать вдали темные смуринские хатки и расползшиеся по берегам Вожицы кузницы, то вдруг взмахнул своим длинным костылем, перекинул его, наподобие ружья через плечо и хриплым дребезжащим голосом затянул:

Тучи темны, тучи грозны —
По поднебесью идут...

Когда он шел уже по деревне, на толстых губах его, под прикрытием седых и длинных усов, мелькала добродушная улыбка. Дойдя до моста, он оглянулся на Смурино, поглядел на Закручье и приостановился.

— Эй ты, малец! Как бы пройти к Андрею Беспалому? — крикнул он мальчугану, сидевшему на мостовых жердях, заменявших перила.

— Эво, дяденька! Эвоно, где корова-то стоит... — указывал мальчуган, тыча пальцем в воздух.

— Вот как нынче! Ай да Андрюха! Молодчина, брат!.. — пробормотал путник, идя по мосту и не сводя серых глаз с тесовых хором с мезонинчиком, на которые показал ему мальчик.

— Гей! Хозяева дома? Щи да каша есть? — рявкнул служивый под окном Андреева дома, стуча по стене палкой.

— Что тебе надо, почтенный? — спросил его сам Андрей Беспалый, показываясь в ту минуту из ворот.

— Ха! Ишь как раздобрел, волк тебя зарежь! — заговорил путник, подходя к Андрею. — Не признаешь? А? Ну, кланяйся да благодари, — не грех, чай... Местечко-то припас про меня небось, а?

Беспалый стоял, вытаращив глаза и держась одной рукой за приворотный столб.

— Братец?! — сорвалось наконец у него с языка.

— Я самый... А ты что думал? Ты думал, что нехристи и косточки мои все растрясли... Бог помиловал, привел еще свидеться... — скороговоркой хрипел служивый.

Братья обнялись и расцеловались.

— Ишь домина-то! Ровно усадьбу состроил... — говорил пришлец, идя с Андреем на двор и указывая глазами на хоромы. — Кубышку-то поди накопил до краев... Полнехонька, а?

— Кубышку!—с жалкой гримасой промолвил кулак.— Было бы с чего копить-то... Времена-то нонече не те... Плохие, брат, времена! Народ избеднял, избаловался...

— Ну, ну! Лазарем-то не прикидывайся, добро! На макарьевского-то нищего ни с коего боку не смахиваешь.

— Да нет, взаправду... Пьянство у нас нонече такое пошло, что и-их! Этого винища проклятого... — с жаром начал было Беспалый.

— Тсс! О водке ни-ни! Этаким манером о водке говорить я никому не даю, потому... Да вот ужо сам увидишь, почему... Я на это строг!

Войдя в избу, помолившись образам, поздоровавшись с хозяйкой, с племянником и с малыми ребятами,

служивый снял с себя ранец, скинул шинель, отряхнул шапку и все это повесил у двери на гвоздь. Он обтер о рогожу сапоги, поставил в угол свой посох и наконец уселся.

— Ну, вот и в лагерях! Все по местам и амуниция как следует... У нас ведь живо! У бога — недолго, у нас — как раз! А теперь закурим! — говорил служивый и, вытащив свою коротенькую трубку-носогрейку, набил ее каким-то серым кореньем и с чувством принялся затягиваться.

— Как же это ты, братец, надумал-то к нам, а? Сколько уж годков ты и вести не подавал о себе! — начал Андрей Беспалый, отмахиваясь от едкого дыма, который пускал на него служивый.

— Да ты скажи наперво: рад ты мне или нет? — перебил гость.

— Чтой-то, братец, ты говоришь так! — возроптал хозяин.

— Ты постой, постой! — опять остановил его гость.— Бобов не разводи! А коли ты мне рад, так выставляй полуштоф беленького да закуску и все как следует...

Скоро явились водка и закуска; притащился и самовар — чуть ли не ведерный.

— Ну, с этим-то грехом проваливай! К шуту его!.. — гаркнул солдат, помахивая на самовар трубкой. — Ишь, пузо-то штыком не пробьешь! Как и у тебя, брат, видно... — с громким раскатистым смехом добавил служивый, тыча брата в брюхо кулаком. — Отъелся, волк его зарежь! Ишь жиру-то...

Андрей Беспалый ойкал от братниных ласк, и оконницы дрожали от богатырского солдатского хохота.

Гость исподволь усидел полуштоф, поел всю закуску без разбора и так вдруг зазевал, что хозяева сейчас же спохватились «дорогому гостю» покой дать — и захлопотали о постели.

— Важно! — возопил солдат, поднимаясь с места и потягиваясь. — А тревоги у вас по ночам не бывает, а? — спросил он, уже взлезая на полати.

— Как это можно... — возговорил Беспалый. — У нас насчет этого спокойно... У каждого амбара, почитай, караульный ходит...

— Да не то! Я вот насчет клопов да прочего... — пояснил служивый.

— Гадов нет, — затянула хозяйка, — а вот клопы-то...

— Есть? Так! — подхватил солдат с азартом. — Ну, да я их завтра уже всех кипятком вышпарю. Всю артиллерию пустим в дело — котлы, чугуны, горшки...

Гость улегся и скоро захрапел... А Беспалый в тот вечер с женой долго проговорил о «дорогом госте», свалившемся им как снег на голову, только потяжелее снега... Ларион Назарович тремя годами был моложе брата Андрея и, как холостой, пошел за брата в рекруты. После того прошло уже много времени; пятнадцать лет о нем не было ни слуху ни духу. Дослужившись до чистой отставки, Назарыч жил на местах, был сторожем при одной богадельне в Петербурге, служил на железной дороге и еще где-то. Наконец захотелось ему проведать родной край и повидать из своих, кто уцелел в живых. Дома его считали уже давно умершим, и не было о нем речи, так что Андреевы ребята даже и не знали, что у них есть дядя «военный». Сам Беспалый был всех больше поражен появлением брата: предположения о его смерти, по времени, обратились в твердую уверенность, и Беспалый не иначе говорил о брате, как добавляя: «царство ему небесное». И вдруг «брат покойник» оказывается живешенек и здоровешенек, полштофа усиживает как ни в чем не бывало, а силой-то еще с кем хочешь потягается.

— Вот так штука! — говорил Беспалый жене. — Накось! Ровно с того свету сорвался, ей-богу, право...

— Он что же это — у нас и останется? — спросила жена.

— Да бог его знает! Вишь, ведь толком-то от него ни лешего не добьешься... Мелет-мелет — гагайкает!.. Може, останется, — може, опять унесет его, — с досадой проворчал Беспалый.

— А коли останется, так работник-то он плохой будет! — сообразила жена. — Испивает, видно, шибко... Пришел, не успел и лба перекрестить — сейчас и за водку!

— Ну и поживет, бог с ним! Не объест, — молвил хозяин.

— Не объест, так обопьет! Не легче того! — заметила жена, а хозяин беспокойно заворочался на постели, хотя еще ни один клоп не кусал его.

Укусило Андрея одно давнишнее воспоминание. Когда брат пошел в солдаты, Андрей остался — по уговору — должен ему сто рублей серебром, полушубок да

холста. Все это он обещал выслать ему и не выслал: сначала было не из чего, а потом было из чего, да жаль денег стало. Оказия в город все как-то откладывалась, долг не отсылался, хотя брат года два в письмах все напоминал ему о долге, молил христом богом выслать ему деньжонок. А потом брат писать перестал, время-то пошло да пошло, долг-то забылся, а братцу царства небесного у бога помолили. Вот в эту ночь и припомнились Андрею братнины письма, оставшиеся без ответа; припомнились сто рублей и полушубок, и холст.

На другой день, перед завтраком, гость опять предложил любезному братцу, на радостях, выставить полштофа. Невестка нахмурилась, но брат не прекословил, и полуштоф явился на столе. Впрочем, Беспалый заметил косвенно, что не велика польза, коли человек то и знай вино лачет, но служивый сурово остановил его.

— Гм! А ты не знаешь, сколько казна доходу-то от вина получает, а?..— прикрикнул он.— Вы, деревенщина, ничего не понимаете!..

Закручьевцы, узнав, что к Беспалому брат пришел, стали после обеда один по одному набираться в Андрееву избу. Заявился и Прокудов Григорий, и Антон Кудряшев, и племянничек его, и кабатчик Иван Прохоров с братом, и несколько баб. Служивый рассказывал о различных приключениях во время стоянок на зимних квартирах, о лагерях, куда к ним государь приезжал и делал смотры, рассказывал о тяготах и опасностях боевой жизни, о своих кавказских походах, о битве при Черной речке, где товарищ под градом пуль и картечи, в виду неприятеля, перетащил его на руках через мост и отправил его — бесчувственного — на перевязку. Хозяева и гости, разинув рот и вытаращив глаза, слушали и дивовались, а те из баб, у кого родные ушли в солдаты, прослезились и тихо плакали.

— А какую бы, примерно, на Кавказе можно было протекцию устроить, а? — осведомился Антон Кудряшев, когда служивый принялся расписывать и расхваливать кавказскую природу.

Кудряшев, как и все вообще кулаки, на каждый вновь открывшийся уголок земли смотрел с чисто своеобразной точки зрения: нельзя ли, мол, в нем какую-нибудь протекцию предпринять. Под словом «протекция» в Закручье разумелось: нельзя ли и там кого-нибудь облапошить, открыть новые, невиданные и неслы-

ханные источники богатства и набить себе потуже карман.

— Отчего же это мужичков там не поселяют, а? Ведь это бы пречудесно было! — заметил Кудряшев, когда служивый объяснил ему, что рабочих рук там мало, и потому они больно дороги.

— А уж земелька, братцы, фю-ю! — присвистнул солдат.

— А насчет питейных как? — полюбопытствовал кабатчик. — Ишь ты! Вот и поди! — отозвался он, подмигивая брату и толкая его локтем, когда солдат сказал, что там виноградное вино по грошу.

— Вот, Максимушка, забраться бы нам куда, а? Э-эхма!... — И кабатчик опять подмигнул.

Когда же солдат принялся рассказывать о диких кошках, о кабанах, о барсах и шакалах, кулаки призадумались. Видимо, эта сторона кавказской жизни им пришлась не по сердцу.

— Ишь зверья-то там сколько! — молвил Прокудов, почесывая затылок. — Ходи, значит, да оглядывайся! Того и смотри, что на зубы попадешься али на какую ни на есть гадину наступишь... Т-э-эк! Да как же их не избивают, а? Их изводить бы надоть; потому...

— А вот шел бы, да и изводил! — посоветовал ему Назарыч.

— Гм! Изводил... Ловок больно... — огрызнулся Прокудов. — Это дело не наше... Это уж от правительства, значит, надоть...

Григорий Иванович, как и все его собратья-кулаки, разумел дело так: правительство, как и все вообще на белом свете, существует для торговых людей, а потому оно и обязано все делать для того, чтобы по возможности облегчить житье-бытье этих почтенных людей. «Потому, мужик что?... мужику ничего не надо: пожитков у него немного, на крохи его никто не позарится. С ним хлопот не в пример меньше: человек он темный, ничего ему не надо. Живет он себе да работает, — ему и горюшка мало! — размышлял Прокудов. — Не то что торговое дело! При нашем деле глаза да глаза нужны, замок да замок, собачище да и собачище! Поломаешь иной раз голову-то, таких трудов примешь, что ой-ой! Заботушка да думы, — и совсем беда!»

Закручьевцы, со своей стороны, скоро посвятили Назарыча в свои дела, причем Кряжева, разумеется, изо-

бразили так, как будто бы он был сам дьявол во плоти. Когда сказания дошли до кассы и до «общественной лавки» — служивый усмехнулся.

— Ишь вы, толстые! — загудел он. — Не любо, небось, стало, а? Митька-то вас, видно, того, значит... поприжал? Ха! Волк его зарежь!.. — И старый солдат, глядя на вытянутые и нахмуренные лица собеседников, разразился неистовым хохотом.

Так в рассказах, в расспросах и угощенье прошло несколько дней. Любезнейший братец, по наущенью жены, намеками и обиняками допытывался у служивого, как он думает насчет своей головы? Думает ли он уйти от них, или расположится на житье?

— Помаршировал и баста! Довольно! Всю Россиюшку-матушку исколесил и в грязь, в слякоть и в жарынь! Нагляделся всего-таки на белом свете; посмотрю еще теперь на ваше смуринское житье-бытье! — без всяких обиняков объяснил служивый. — Спина болит, перед погодой ноженьки ноют. В болоте по целым дням приходилось по колено в воде стоять. Ну, да и грудь... Иной раз так захватит, что хоть волком вой, так в пору! Свинцовка-то недаром побывала. Так вот, брат, я и думаю: пора костям на покой! А до погоста-то придется, надо быть, у тебя привал сделать... По совести-то, и не грех, а? Ты как насчет этого? — спрашивал служивый, поводя усами.

Брату Андрею приходилось только счет полуштофикам вести. Невестка злилась. Но дело было уже решено и подписано: старый служивый оставался на привале у Андрея Беспалого.

II. ДЕРЖИСЬ, ЧАЛАЯ!

Уездный город Черешинск стоит на одном из притоков большой реки и в тридцати верстах от железной дороги. В старые годы, то есть до реформы и до проведения чугунки, через этот городок проходил важный почтовый тракт, а в настоящую пору тракт брошен и городок заглох, словно бы вдруг уединился от всего живущего мира. Городок грязен, грязен до того, что на его улицах, вымощенных фашинником, осенью и по весне люди и лошади буквально тонут в грязи по уши, о чем, впрочем, местный корреспондент уже когда-то доносил в газеты. Большою подвижностью черешинцы

не отличались никогда. Например, они уже четверть столетия толкуют о мосте через реку, составляют проекты, сметы, а моста все еще нет как нет, — и ходит по реке, от берега к берегу, дощатый паром и перевозит возы, тарантасы, людей и скот. По базарным дням, в понедельник и четверг, зачастую на пароме по вечерам случаются несчастья, когда сельский люд, справив свои делишки и погуляв, возвращается домой. Полиция в таких случаях обыкновенно присутствует на берегу для водворения порядка; но тем не менее ежегодно несколько пьяненьких в этом месте идет ко дну.

В Черешинске есть две церкви, и из них одна — собор; кладбище за городом служит летом местом гулянья и называется «Михайловской оградой». Есть в Черешинске несколько улиц, в каждой улице по нескольку грязных постоялых дворов. Перед собором расстилается изрытая базарная площадь; на нее выходит ряд лавочек. Кроме того, в Черешинске водится клуб, деревянный острог, обнесенный частоколом, училище, больница и серый-пресерый одноэтажный домик, на синей вывеске которого черными буквами значится: «Земская управа». В этом низеньком словно какою-то неведомою десницею приплюснутом домике собираются черешинские земские деятели и вяло отбывают свое дело; потолок, приплюснутый невидимою десницей, как будто давит, гнетет их, и всем им охота поскорее избавиться от давления этого потолка, развязаться с докладами и отчетами управы и вырваться из этих серых стен, с тем чтобы возвратиться к домашним очагам. Черешинское земство до сих пор не слишком отличалось деятельностью. Сначала, правда, благих намерений очутилось вдруг очень много, и дело стало лишь за деньгами. В настоящую же пору, когда увлечение прошло своим путем, черешинское земство, как говорится, ни богу свечка ни черту огарок, действует бесследно и таким таинственным образом, как будто бы оно привидение. Само общество смотрит на земство не серьезно, а как на явление постороннее, стоящее вне жизненного круговорота. Конечно, цифрою окладов интересуются, но вопросы о постройке мостов, о починке гатей и дорог и тому подобных сухих материях идут мимо общественного сознания. «Не нашего ума дело!» — говорит общественное мнение, кивая на тот серый, приземистый домик, что ютится в одном из глухих закоулков города.

Люди же, которым надлежит ведать гати, мосты и прочее, стараются поаккуратнее сдать их на подряды, а подрядчики в свою очередь заботятся лишь о том, как бы сдать с рук работу. А мосты ломаются, гати проваливаются, и дороги портятся, портятся без конца...

В 1871 году очередное земское собрание было назначено на 21 и 22 сентября, но благодаря тому, что на первое заседание явилось лишь пять деятелей, сессия была продолжена еще на день и закрылась наконец 23 числа вечером. С нашей смуринской стороны на ту пору были в городе: Илья Петрович Лисин, в качестве гласного от крестьян, и госпожа Водянина, хлопотавшая о земской субсидии для сельской школы.

День склонялся уже к вечеру. Солнце желтым шаром упадало за горизонт. Красноватым светом окрашенные облака бороздили западную окраину неба, суля ветреную погоду...

По дороге к городу тихо тащился Кряжев на своей Чалой, очевидно, давая ей передышаться после быстрого бега: лошадка вся была в пене и в поту. Лежа в телеге, на охапке сена, Кряжев посматривал по сторонам и с видимым беспокойством оглядывался назад, словно с минуты на минуту ожидая за собой погони. Перед ним, сквозь легкий туман, уже белели колокольни, и город черными пятнами выступал там и сям. И над этими белыми колокольнями, и над темным предместьем догорали последние отблески красной зари. Глядя на город, раскидывавшийся перед ним, в сумерках вечернего освещения, Дмитрий на минуту задумался о своих делах и об этом городе, от которого теперь зависело помочь ему или подгадить. Общественная лавка у него никак не выгорала; кредита у городских купцов он не мог добиться по сию пору. Дело стало лишь за тем, чтобы только один купец оказал доверие, а за ним уж и другие не откажут. Москвинова нужно за бока; Москвинов всем голова и указчик.

А Кряжев действительно боялся погони. Выехав из Смурина после раннего обеда и уже благополучно сделав полдороги, Дмитрий вдруг заслышал позади себя колокольчик и скоро завидел вдали пару гнедых. Он очень хорошо знал этих высоких гнедых коней. Это прокудовские кони... «Для чего его нелегкая несет в город? — мелькнуло у Кряжева в голове. — Это уж он не

на наш ли счет?..» Что Гришка злился на Кряжева и желал помешать ему устроить общественную лавку, в том не было сомненья. Он легко мог прослышать, что Кряжев отправился в город. Так не едет ли он теперь нарочно для того, чтобы запугать городских торговцев и уговорить их поостеречься Кряжева? «Ну, ежели так, потягаемся! Поглядим, чья вывезет!» — подумал Кряжев, ударил вожжами и пустил свою Чалую во весь скач. И Чалая понеслась, расплескивая воду из колей и немилосердно кидая по сторонам грязью.

— Держись, держись, Чалая! — покрикивал Кряжев. Тут припомнил он, что для одиночки и налегке есть в город попрямее дорога — полем и лугами. Конечно, ехать по ней в позднюю пору было небезопасно: того гляди или лошадь засадишь в овражек, или слетишь да сломаешь себе шею. Но раздумывать было некогда Кряжев свернул с большой дороги, и тележонка его запрыгала по кочкам, по рытвинам и буеракам: она вся вздрагивала и трещала, словно каждую минуту готова была рассыпаться вдребезги. Кряжеву жаль было бить свою усталую Чалку, но все-таки скрепя сердце он хлестал и хлестал ее ременным арапником, ворча себе под нос: «Бежи, бежи, Чалая! Выручи! Хошь поколей, да выручи!..» И он посвистывал, постукивал кнутовищем, поминутно мызгал и дергал Чалку вожжами: неспокойно было у него на душе. Гнедые, чудилось ему, так на него и наскакивают, так и разметывают над ним по ветру свои волнистые темные тривы и топчут его с Чалкой своими блестящими подковами.

Такая бешеная скачка продолжалась около получаса. Гнедых давно уже было не видно, не слышно. Одна ось в телеге у Кряжева стала как-то сомнительно поскрипывать. Кряжев попридержал лошадь и пустил ее шагом. До города оставалось версты три... Кряжев слышал, как в городе били часы. Он выгадал верст шесть или семь... Вдруг опять Дмитрию померещилось, что звенит колокольчик и дружный лошадиный топот доносится до него по ветру. Он живо приподнялся в телеге и опять припустил свою Чалую, и лошаденка, то рысцой, то вскачь опять пустилась вперед, мотая своей косматой гривой и хвостом. Через несколько минут путник уже въезжал в ворота постоялого двора Устимовой, где, обыкновенно, бывая в городе, останавливалась Лизавета Петровна.

Наскоро отпрягши лошадь и поставив ее к телеге под навес, Кряжев помыл в первой попавшейся луже свои сапоги, почистил с них кнутовищем грязь, заткнул арапник за пояс, обдернулся и поразгладил пятерней свои сползшиеся волосы. Перемолвившись с знакомым ямщиком и узнав от него, что Гришка еще не приезжал, а что ихняя барыня откуда-то недавно пришла с Карянинским барином и теперь в номере, Кряжев поднялся по скрипучей лестнице наверх, заглянул в переднюю и остановился...

III. НА ПОСТОЯЛОМ ДВОРЕ

Там Лизавета Петровна провожала какого-то господина. Господин стоял уже в пальто, с шапкой-бояркой под мышкой, в глубоких калошах, и крепко и долго пожимал Лизавете Петровне руку.

— Благодарю вас, Николай Иванович!—говорила Водянина.

— Помилуйте! Не за что! — веселым и беспечным тоном отвечал тот. — Если бы вы сказали раньше, так это мы обделали бы с Андреем Никаноровичем так, просто между собой... Нечего вам было дожидаться и собрания. Хотя нас в газетах критикуют, а все-таки мы от хорошего дела не прочь. Только ведь вы сами знаете: что мы? Пешечки-с... Иной раз и рад бы, а тут... — И говоривший при этом оттопырил губы и выразительно кивнул головой.

— Я вам очень, очень благодарна! — повторила Водянина.

— А уж я, как хотите, побываю к вам, посмотрю вашу школу! — крикнул гость, выходя.

— Побывайте! — промолвила ему вслед Лизавета Петровна.

Из сеней показался Кряжев; Водянина увела его в свою комнату и заперла дверь на ключ.

— Сегодня для меня, положительно, выпал счастливый день! Все мне удается. Я, право, так рада! — говорила она, забираясь на диван и обращая к Кряжеву свое веселое лицо.

— Ну и ладно! — отозвался тот, опускаясь на стул у переддиванного столика и поглядывая на барыню.

— Земство дает денег на школу, — продолжала Лизавета Петровна. — Теперь единовременно отпустят двести рублей. Это на обзаведение, а потом будут выдавать

по сто пятьдесят рублей каждый год. Ведь недурно, Дмитрий Михайлыч, а?

— Очень даже хорошо! — согласился тот. — Теперь, значит, школа у нас совсем...

На мгновение Водянина призадумалась и, слегка прищурив глаза, смотрела перед собой с таким мечтательным видом, словно бы перед нею рисовалась вдали какая-то бесконечная, невообразимо-прекрасная картина. Даже ее молящее выражение лица стушевалось на этот раз, и голубые глаза смотрели довольно и счастливо. Она только что возвратилась из земского собрания, где видела многих из своих знакомых, переговорила с ними и устроила свои дела как нельзя лучше, как даже сама не ожидала. Председатель управы, седенький старичок, благополучный муж и отец многочисленного семейства, давно уже открыто и пламенно ухаживал за Лизаветой Петровной, чем и возбуждал в черешинском обществе веселый смех и шуточки. Николай Иванович Каряинов, один из членов земской управы, человек очень веселый, «разбитной, обязательный», хотя открыто Лизавете Петровне своих чувствований не высказывал, но на самом деле желал бы стать с нею на самую короткую ногу. Водянина сегодня, как на грех очень мила в своем черном шелковом платье, с шелковым пунцовым платочком на шее и с длинной золотой цепью на груди. Недаром председатель чуть не растаял от восторга, когда на прощанье ему удалось поцеловать кончики ее пальцев. Каряинов был сегодня также обязательнее обыкновенного. Словом, что не могла бы сделать невзрачная, хоть и честнейшая девушка на свете, то с успехом выполнила молодая, красивая женщина.

— А я вот с Москвиновым никак не могу сладить, — заговорил Кряжев. — Не верит... все отлынивает. Знать, добрые люди разговаривают его. Хотел я вас попросить: не поручитесь ли вы за нас?.. — Кряжев запнулся и задумчиво повел пальцем по краю стола.

— Да, конечно, поручусь! — подхватила барыня, приподнимаясь на диване и приближая свое лицо к Кряжеву. — И вы до сих пор молчали? Ах, Дмитрий Михайлыч! Да отчего же бы я не поручилась-то за вас? Только поруку-то принял бы он...

— Гм! Да вам стоит только ручкой повести... Примет, беспременно примет! — с уверенностью вскричал рабочий и вдруг, понизив голос и просительно глядя на

Водянину, добавил: — Так уж, коли можете, Лизавета Петровна, сходим к нему теперь! Потому, не ровен час. Вон Прокудов тоже для чего-то гонит в город на своих гнедках... Боюсь, как бы он не подвел чего...

Водянина поустала сегодня, ей хотелось есть и пить, в горле у нее пересохло. Она уже было послала за лимоном и попросила хозяйку поставить самовар. Но ведь уже сказано, что барыня была «добрая», да к тому же и день-то выдался очень хороший. Барыня не поколебалась принести еще одну жертву. И вот она живо накинула свою черную суконную шубку с черным мерлушечьим воротником и на голову надела черный большой платок.

Отправились. На улице было грязно и темно, так темно, что перебираться приходилось почти ощупью. Фонари тогда считались еще роскошью, и городская дума предоставляла светилам небесным, по их благоусмотрению, озарять от поры до времени мрак и мерзость запустения черешенских улиц и закоулков. Утопая в грязи и запинаясь за обломки фашин, Водянина, в сопровождении Кряжева, вошла наконец во двор купца первой гильдии Силы Феофилактовича Москвинова. Сам купец первой гильдии стоял в ту пору на крылечке, с фонарем в руке, и красным трепетным светом озарялась его высокая, дюжая фигура в синем распахнутом казакине, с патриархальной седой бородой и без шапки.

— Овес такой, что не только кони, сам съешь да еще и оближешься! — толковал он с ямщиками, только что отпустив им несколько мер овса.

Купец, как видно, был в духе и приятно ухмылялся. Увидев госпожу Водянину, он вдруг закланялся и замахал фонарем: очень уж он удивился такому внезапному нашествию.

— Покорно прошу... пожалуйте! В горницу пожалуйте! — заговорил он, узнав, что Водянина с Кряжевым пришли к нему.

Москвинов на всех людей, с которыми ему приходилось сталкиваться так или сяк, смотрел как ловец на свою добычу. Поэтому и в настоящем случае, когда он, раскланиваясь, встречал гостей, в голове его тотчас же начали слагаться догадки и соображения, сводившиеся к копейкам и рублям. Из темных сеней посетители между тем проникли в горницу, где их обдало запахом щей, тараканов и геранью. На стене висел ряд раскрашенных

картинок. Тут можно было видеть, как Щеголев наводил пушки на неприятельскую эскадру, как Александр Благословенный вступал в Париж; далее виднелся гроб господень; в углу же, рядом со «Страшным судом», приютился «Последний день Помпеи» в таком жалком, изодранном виде, что разобрать в нем решительно нельзя было ничего...

— Товар-то у меня еще не дошел, на станции в Москве залежался! — сказал Москвинов, когда Кряжев объяснил ему причину своего прихода. — Что будешь делать? Рад бы радостью, голубчик ты мой, да вот...

Москвинов деревенских называл «голубчиками».

— Я хотела бы быть поручительницей за них, если можно! — заметила Лизавета Петровна.

Москвинов опустил глазки перед ее быстрым взглядом и забарабанил по колену своими толстыми пальцами, украшенными кольцами и массивным золотым перстнем.

— Да как же-с, помилуйте! Мы и папеньку вашего очень хорошо знали! — бормотал он, высчитывая выгоды сделанного ему предложения.

Через несколько минут дело было кончено к обоюдному удовольствию. Москвинов захлопотал было о самоваре и о кренделях, но Лизавета Петровна стала собираться домой. Провожая гостей с фонарем до ворот, Москвинов напомнил Кряжеву зайти к нему завтра поутру. Когда они уже подходили к воротам, гремя колокольчиком и бренча и шурша бубенцами, подкатила к дому пара гнедых и как вкопанная остановилась у приворотного столба. Кряжев имел удовольствие видеть, как, кряхтя, вылезал из телеги Прокудов, а за ним полз Антошка Кудряшев. Насмешливая улыбочка пробежала по его лицу, и он громко присвистнул.

— Уж это не они ли? — оборачиваясь к нему, спросила Водянина.

— Они!... Да поздно, соколики, прилетели!

Целую меру овса задал в тот вечер он своей Чалой и крепким, беспробудным сном спал всю ночь до рассвета в своей телеге, под навесом сарая... Легла спать и Лизавета Петровна на жестком диванчике, но долго спать не могла: ей представлялся седенький председатель, расшаркивавшийся перед ней, и Николай Иванович, поглаживающий свои мягкие, прелестные баки; ей мерещилось задумчивое, все о чем-то тревожно вопро-

шающее лицо Кряжева, мелькало лицо купца первой гильдии, впрочем похожее не на лицо, а черт знает на что... И добрая барыня шептала спросонок: «Маленькое дело, дельце! Да! А все-таки... в ожидании лучшего, большего...».

IV. ИЗ-ЗА УГЛА

Свечерело. В избах на Смурине уже горела лучина.

Кряжев только что возвратился из кузницы и не вздувал огня, а, свалив гвоздь в чулан, сумерничал, лежа на лавке и покуривая трубочку. Вдруг дверь приотворилась, и дребезжащий голос спросил:

— Дянька! А, дянька! Ты дома?

— Ну, чего надоть? — в свою очередь спросил Кряжев, всматриваясь в темноту сенец и ничего там не видя.

— Вот бумажку тебе! — явственнее пропищал голос. Маленькая Анютка, племянница Кряжева, переползла через порог и явилась перед дяденькой в синем мамкином шугае, которого полы и длинные, широкие рукава таскались по земле.

— Какая такая бумажка? Покажь-ко! Откуда бог дал? — спрашивал Кряжев, поднимаясь с лавки.

— Аксютка Тишкинская подала... Снеси, говорит, отдай дяньке... — И Анютка не без труда высвободила из руки какую-то неуклюже сложенную бумагу.

Кряжев той порой высек огня, вытащил из-за печки светец к окну и, вставив в него горящую лучину, взялся за посылку. Это, оказывалось, было письмо, начертанное удивительными каракулями.

— Ну, ладно, бежи! — сказал Кряжев племяннице, и когда та, благополучно перебравшись через высокий порог, скрылась, он принялся разбирать писульку и разбирал ее так долго, что пять лучин сгорело дотла, прежде чем чтение было доведено до вожделенного конца. В письме было нацарапано следующее: «Не ходите севодни вкабак Клександру если и звать будут против вас они умышляют, Сама пришла да нельзя, дядинка григори иваныч сбеспаловым уговаривались и контуют ей богу пишу Всю правду истинную, прити нелзя». Письмо было подписано большою буквою Е.

Ясно, от кого послание — от Евгении!... «Фу ты, пропасть! — с сердцем подумал про себя Кряжев, сжигая бумажку и топча пепел ногой. — И чего это только дев-

ка лезет? Думает, больно испужаюсь я ихних... Испужался! Как же! А вот нарочно пойду к Лексашке... Вот и поглядим, да и посмотрим!» Только недолго на этот раз пришлось Кряжеву размышлять о том: чего это девка лезет? Ему уж пора было идти к барыне. Он наскоро оболокся, потушил лучину и вышел из избы.

Лизавету Петровну он застал за письменным столом.

— А учителя-то все еще нет! — сказал он.

— Обещал, так будет, хоть в ночь сегодня, да приедет. Уговорились ведь четвертого октября открыть школу. Он знает, что время дорого... — говорила барыня, надписывая адресы и запечатывая одно письмо за другим. — Ведь только до пасхи и поучиться-то им! Много ли же тут времени! А вы, Дмитрий Михайлыч, послезавтра сходку-то сберите, мешкать нечего. Уж пятьдесят человек у нас набралось, из них шестнадцать чужих. А в Красных-то Горках сколько учеников, вы не знаете?

— Да теперь, кажись, больно немного; человек, надо быть, двенадцать или около.

— Надо бы и тех поторопить! Чего они еще там сидят, дожидаются! — заметила Лизавета Петровна.

— И те сберут сход! — поддакнул Кряжев. — Только говорят: до конца года порешить нельзя... Потому, у них там какой-то уговор, что ли, бог их знает... Да вот с нашими-то как еще сладить. Говорил уж я им не одиножды. Во ужо, говорят, ослобонимся, успеем еще... Сейчас видно, что старосте не в охотку это дело... Вот оно что!

Действительно, Дмитрий уже несколько раз уговаривал сельского старосту собрать сходку насчет школы, и все безуспешно. Староста, видимо, отлынивал. А дело заключалось в том, что смуринцам надо было решить вопрос, следует ли им платить на красногоркинскую школу, когда у них самих в селе основывается школа на счет земства и на счет их помещицы. Вопрос важный, неотложный и стоящий денег. Лизавета Петровна уже много раз обсуждала его; Кряжев хлопотал, да не мог еще ухлопотать. Положили подождать до приезда учителя и до открытия школы.

Потолковав еще о школе, о том, о сем, Кряжев простился с Лизаветой Петровной, обещаясь поторопить своих и красногоркинских.

Возвращаясь из усадьбы, он повстречал на Смурине Абрамку, вечно пьяненького мужичка — кабачного завсегдатая. Тот стал зазывать его в питейный...

— Туда и иду! — промолвил Кряжев, с сожалением и злостью взглядывая на обтрепанного и спившегося Абрамку.

Когда Кряжев вошел в питейный, за стойкой стоял сам хозяин «Лександр Констенкиныч», лысый человек с косыми глазками, горевшими самою ненасытимою алчбой. Этот белый, мягкий, словно разбухший человечек был известен в околотке за лицемера и за самую продувную, алчную бестию, какой еще смуринский мир не производил от века. Теперь, ухмыляясь и косясь, по-видимому, разом на все углы своего питейного, он, в своей обычной пресмыкающейся позе торчал за прилавком. Середи кабака, с трубкой в руках, стоял Назарыч в облаках табачного дыма и о чем-то ораторствовал. Кудряшев с Беспалым сидели на лавке и тихонько говорили промеж себя, не обращая, по-видимому, никакого внимания на служивого. При появлении Кряжева Беспалый чуть заметно перемигнулся с братом. Еще какой-то прихожий мужичок забился в угол и перевязывал свои грязные, сырые онучи концом узловатой веревки. Отопившаяся сальная свеча тусклым, жалким светом озаряла эту дымную картину, на сером фоне которой ярче всего выступал, как злой дух, косоглазый Лексашка в своей красной рубахе. А там, далее, за его пресмыкающейся фигурой, на полках, сквозь сумрак и дым, виднелись ряды бутылок, штофов и полуштофов, косушек и шкаликов с разноцветною жидкостью.

— Налей-ко, брат, мне чего ни на есть жиденького рюмочку! — лениво проговорил Кряжев, подходя к стойке и здороваясь с хозяином.

— Пожалуйте, Митрей Михайлыч! Чего прикажете? Чистенького? — спросил тот, лебезя перед Кряжевым.

— Все едино! Качай хоть чистенького! — отвечал Кряжев и оглянул честную компанию.

— А-а-а... па-азвольте, — забасил солдат, оборачивая к Кряжеву свое красное, пьяное лицо. — Это, ежели вы насчет лавки, мы можем... Можем!.. — И Назарыч, пошатываясь, помахивая трубкой и сыпля искры, подошел к самому Кряжеву и почти в упор глянул на него своими посоловевшими глазами. — Ты насчет товару, а?

Купи! У меня товару — у-ух! А, милый человек? Купишь? Давай торговаться, без запросу... по-божески, значит...

Сдержанное хихиканье послышалось с той стороны, где сидели Беспалый с Кудряшевым. Кряжев той порой выпил стаканчик, закусил сухой коркой и так же в упор поглядел на служивого, подумав: «Не хитрую же штуку выдумали! Право! Пьяного солдата натравить захотели... Своих-то боков жаль, стало быть!..»

— Да что у тебя, у служивого, есть-то? — с усмешкой обратился он к Назарычу. — Вот у братца твово есть...

— Я же тебе говорю: покупай!—заорал служивый.— Сапожные обноски, портянки старые да еще...

— Потеха! — шепнул Кудряшев.

Явственнее раздалось хихиканье. Лексашка косой переступил с ноги на ногу и облокотился на стойку, как бы ожидая какого-то представления. Пьяный Абрамка усмехнулся.

— Только-то у тебя и есть, что обноски! — заметил с усмешкой Кряжев. — Коли уж очення их много, так заводи торговлю сам, а мы старой одеждой не торгуем!

— Как ты стоишь перед начальством, а? Во фрунт! Руки по швам! Налево, кругом — марш! — загаркал солдат, размахивая трубкой.

— Какое же ты мне начальство? Кто тебя в начальники-то ставил? — продолжая усмехаться, заметил ему Кряжев.

— Аа! Да как же ты мне теперь грубить можешь, а? Скрозь строй тебя! — Служивый так и лез на Кряжева с кулаками.

— Оставь, служивый, до греха! Отстань, не замай!— уговаривал тот.

— Что-о-о? — затрубил Назарыч, все ближе и ближе подшатываясь к Дмитрию. — Да я из твоей рожи что сделаю — знаешь?..

— Не кричи, брат! Не из пужливых! — остановил его Кряжев. — А и не годится тебе, старику, на ссору лезть... Тебя уськают, а ты... — И Дмитрий вскользь взглянул на Беспалого.

— Кто его уськает? Не малый ребенок! Сам поди смыслит... — вполголоса промолвил Антошка Кудряшев.

— Что-о-о? Уськает? Кто уськает, а? Я разве пес какой? — приступал солдат.

— Тебе говорят: отвяжись до греха... Честью говорят! — ровным, спокойным голосом твердил Кряжев, поглядывая на Беспалого и Кудряшева, ожидая, что те вступятся за Назарыча, и желая сцепиться с ними. Драться же со служивым для него не представляло никакого интереса, ибо служивый никак и ничем не мог его разобидеть.

— Аа! Ну-ко, ну-ко, тронь! Тронь-ко! ну! — бормотал солдат, плечом упираясь в Кряжева. — Тронь-ко, смей! Ну!.. — Но ему, видно, и самому наскучило ждать, потому что он вдруг со всего размаха хватил Кряжева по спине кулаком.

Кряжев выпрямился, поднял руку и тяжело опустил ее служивому на плечо. Тот отшатнулся, но в ту же минуту опять полез с кулаками на Кряжева.

— Я тебя так вот тут и... — забурчал было он, но Кряжев ухватил его за горло и так быстро двинул к стене, что служивый, пятясь, чуть не сшиб с ног Беспалого, пробиравшегося с Кудряшевым к выходу.

— Бросьте, Митрий Михайлыч! Ну его... Народ еще гляди соберется... — взывал целовальник, выбегая из-за прилавка. — Те его шибко подпоили... захмелел совсем.

И когда Кряжев отпустил запыхавшегося служивого, тот как сноп повалился на лавку и, придя в себя, тупо поглядел на Кряжева.

— Нехорошо, нехорошо, служивый! Из-за брата подставлять свои старые кости! Ну, дело ли это, а? Жалость глядеть на тебя... — говорил Кряжев с досадой. — Не тронул бы я тебя, да... Ну, прости, что помял маленько.

И Кряжев пошел вон.

— А ведь правду говорил! Ей-богу, правду! — дрожащим голосом заговорил солдат и, опустив на руки свою седую стриженую голову, тихо заплакал.

Косой Лексашка, глядя на него, глупо ухмылялся во весь рот...

Когда Кряжев подходил уже к своей хатке, по безмолвной смуринской улице пронеслась во весь дух тройка лихих почтовых лошадей по направлению к школе. «Надо быть, учитель!» — промелькнуло у него в голове.

V. ДОБРОЕ НАЧАЛО

Владимир Дмитриевич Верхозов, смуринский сельский учитель, был студент Казанского университета, человек молодой, лет двадцати восьми, среднего роста, худой, сухощавый, с смуглым, желтоватым лицом, с карими большими глазами, от страшной худобы казавшимися еще больше, с реденькой темной бородкой и с темными же, гладко выстриженными волосами. Верхозов был очень нервен и очень желчен. Казалось, во весь день не выпадало ни одной минутки, когда бы он не волновался. Сидя ли наедине, за книгой, или беседуя в обществе, он перекидывал обыкновенно ногу на ногу и раздражительно покачивал ногой, как бы в такт мыслям, теснившимся в его голове. Иногда нога двигалась тише, иногда же начинала покачиваться быстрее, учащеннее, сообразно тому, замедлялся или ускорялся ход его мыслей. Часто он был рассеян, не слыхал, что говорили, и отвечал невпопад. Позабывшись выйти на улицу без шапки, не поздороваться или не попрощаться — было для него самым обыкновенным делом. И он худел, тощал с каждым днем, сгорал, как отапливающаяся свечка, поставленная на ветру...

На другой день после описанной стычки в кабаке происходило открытие сельской школы. Отец Петр отслужил молебен, и учитель переписал всех учеников и учениц по имени и по фамилии. Учитель и священник были приглашены на обед к Лизавете Петровне. Перед самым уже обедом приехал из города Каряинов с судебным следователем, чрезвычайно молчаливым молодым человеком, недавно лишь познакомившимся с госпожою Водяниной. Учитель и следователь хранили молчание, предоставив разговор хозяйке и словоохотливому ее обожателю; священник изредка вставлял свое словцо. Только раз — и то уже в конце обеда — Верхозов нарушил молчание, именно когда Николай Иванович, со своею обычною развязностью и ухарством, принялся развивать ту мысль, что крестьяне любят пользоваться на даровщину услугами других, что они чужой труд не ставят ни во что.

— Прошедшее по крайней мере не представляет, мне кажется, таких случаев, когда бы наш народ пользовался чьими-нибудь услугами даром! — заметил Верхозов. — Он всегда платил щедро.

— Я только положительно знаю, что мужик — вообще черный народ — на учителей, на писателей, вообще на людей, занимающихся умственным, а не ручным трудом, смотрит просто как на бездельников, которым даром деньги с неба валятся за то, что они бары, — возразил Николай Иванович с самодовольнейшим видом.

— А за что же бы мужику слишком уважать науку? Она до сей поры служила только нам, а для него она еще почти ничего не сделала путного! — с усмешкой заметил Верхозов.

Каряинову, по-видимому, учитель не особенно понравился... Священник, выходя из-за стола, заметил, что «народ еще темен, и долго учить его надо, чтобы добиться от него проку».

— Все мы еще, батюшка, темные люди! — с легким вздохом отозвался Верхозов, чем сильно удивил отца Петра.

— А позвольте полюбопытствовать, где вы изволили кончить образование? — обратился после обеда священник к учителю, когда тот, закурив сигару, принялся шагать по зале, а Каряинов со следователем и с хозяйкой ушли в гостиную.

— Кончил я в гимназии, кончил и в университете, а образования все еще не кончил! — ответил Верхозов, останавливаясь перед отцом Петром, потягивавшим длинную трубку.

— Смирение паче гордости! — с улыбкой заметил священник.

Но Верхозов уже не слышал и опять принялся шагать по комнате. Лоб его наморщился, густые брови нахмурились. Священник молча следил за ним глазами, вздыхая, шептал «о господи боже» и красивыми кольцами выпускал изо рта приятный дым Жукова.

— Откуда вы такого выкопали? — спрашивал вполголоса Николай Иванович хозяйку. — На гвоздях не спит?

— Да разве Владимир Дмитрич похож на такого? — в свою очередь спросила Лизавета Петровна. — О нет! Он — человек больной, раздражительный... Не знаю, как уж он справится со школой!..

Николай Иванович только плечами пожал...

В тот же день вечером Верхозов давал вступительный урок. В классной ярко горели две лампы, освещая

бревенчатые стены с длинными рядами моха и гладко, заново выструганный потолок. Около сотни мальчиков и девочек — от семи до четырнадцати лет — сидели на лавках за новыми столами. Черная блестящая доска стояла в одном углу, а на ее приступочке белел кусочек мела. В комнате припахивало сосной — свежим, непросохшим деревом. Лизавета Петровна, в сопровождении Каряинова и отца Петра, явилась на вступительную лекцию. «Добрая барыня» в тот вечер была очень весела: она вся так и сияла, так и лучезарилась при виде осуществившейся ее давнишней мечты. С какою любовью глядели на ребят ее голубые, кроткие, вечно молящие глаза! С какою лаской приглаживала она волосики сидевшей с нею рядом девочки! С каким удовольствием и с какою надеждою посматривала она на учителя, расспрашивавшего поочередно ребят: как их зовут, кто у них в семье есть, что они теперь работают и прочее. Каряинов сидел позади Лизаветы Петровны, на краю лавочки, и, видимо, скучал, позевывая в кулак. Отец Петр стоял у стены и, поглаживая бороду, озирал классную. У самой двери поместилась кучка дворовых: две-три женщины в праздничных платьях, кучер, староста грайвороновский и позади всех Кряжев. Он как-то робко, боязливо посматривал на маленького черного человека, который так торопливо похаживал по комнате между рядами столов, так быстро выспрашивал обо всем ребят и так зараз охватывал своими взорами всех присутствующих, словно съесть хотел.

Дворовые дивились, что учитель уж «очень просто» за дело принялся.

Однако ученье, хотя с виду и было просто, но пошло хорошо. Азбука проходилась по звуковому способу, и через месяц ребята уже научились читать и писать.

— Прежде-то, бывало, парень по две зимы учится, да и то ничего не знает, и ни в зуб то ись токонуть, а у нас в четыре недели — вот и поди ты! — говорила одна баба.

— Моя-то Машка как придет домой, так сейчас и почнет писать! — толковала другая. — Ухватит уголек из печи, да и чиркает и чиркает.

— И-и-и, матка, не говори лучше! Сашутка вечор газетину читал... Да ведь каково внятно! Мы инда с отцом диву дались... — восторгалась баба.

Бабам было очень любопытно послушать, как так скоро ребята грамоте учатся, — и стали они одна за другой ходить в школу. Учитель был не против таких посещений, лишь бы не шумели. Кряжев, побывав несколько раз на уроке, однажды вечерком явился к учителю с просьбой, «не поучит ли он и их, стариков». Узнав, что желающих наберется с десяток, а после, может статься, будет и более, Верхозов согласился. Условились учиться по вечерам в понедельник, в среду и пятницу, часа по два.

«А человек-то совсем не страшный! Он с виду-то только этакой...» — думал про себя Кряжев, идя домой от учителя. Учитель ему почему-то все казался гордым и сердитым. Он несколько раз заговаривал с Лизаветой Петровной насчет вечерних лекций, прежде чем решился наконец обратиться прямо к учителю.

VI. ОСЕННИЕ ВЕЧЕРА

Деревья стоят совсем голые. Земля иной раз поутру и ввечеру подмерзает. Снег кружится в воздухе. Серо кругом Смурина и над Смуриным, все серо — и поля, и небо, и туманная даль. Молоченье уже покончили. И Кряжев отмолотился, да и брату Василью пособил управиться. Не дымят овины, и гладкие, крепко убитые токи стоят безмолвны и пусты, и лишь ветер пошевеливает вороха соломы, желтеющие за ригами.

Всяк занимается своим делом. Прокудов по субботам по-прежнему высчитывал свои барыши и поглаживал себе брюшко с таким видом, как будто бы он один зараз поглотил весь дневной запас пищи, потребной для прокормления всего Смурина. Андрей Беспалый сильно беспокоится, что «братец много винища лопает»; а братец, покуривая трубку, утверждает по-прежнему, что уж он «поломался-таки на своем веку», что «надо и другим честь знать». Все же Закручье вообще частенько постукивало косточками на счетах, заседало за самоваром и гадало-погадывало: «Скоро ли уймется этот леший, Митюха; скоро ли он перестанет варзать», то есть досаждать почтенным кулакам. Антон Кудряшев все поговаривал, что «надо бы беспременно под него какую ни на есть химию подвести». Под «химией», конечно, разумелась вообще какая-нибудь пакость... Но ни Антон Кудряшев, ни соседи его до сих пор еще никакой

химии под Кряжева подвести не могли. Оставалось только ждать, не поможет ли время — этот всегдашний помощник злых и добрых начинаний. Смуринцы днем работали в кузнях, а по вечерам лежали на печи или починивали кое-что из упряжи и сбруи, захаживали в кабак и толковали про то, какую добрую лошадь завел Беспалый, больше ста целковых заплатил; про то, что Кудряшев на Ведрове новый кабак открывает, а на Борку уже недавно открыл.

— Ведь это, братцы вы мои, что же! — рассуждали смуринцы. — Ведь это, значит, вся волость его водку пить станет!..

Аггушка похаживал в лес с ружьецом, бил тетеревей и куропаток и часть относил на продажу то в барский дом, то к учителю. Остальную же часть добычи Аггушка оставлял себе, хотя прежде того вовсе не было заметно, чтобы он любил лакомиться дичиной. Замок в его отсутствие по-прежнему висел в пробое. И еще одна странность замечалась за Аггушкой: если сестра его или Кряжев, единственные лица, навещавшие его, слишком засиживались у него в хатке, Аггушка вставал, оболокался и говорил, что ему надо идти. Евгеша захаживала к нему часто, и все такая невеселая и, плача, говаривала:

— Ах, и для чего только я приехала сюда! Знала бы — утопилась бы лучше. Здесь с тоски же помрешь все равно! Что за жизнь такая распроклятая! То ли дело было в Питере...

— Замуж, что ли, охота? — заметил ей однажды брат.

— Ха! Замуж! — передразнила девушка. — За Евстигнеича, что ли?

— Что ж! Евстигнеич чем же не человек? — философствовал брат. — Не дурак, чай, обниматься поди тоже умеет...

— Ах, ну тебя, братец, совсем — и с писарем-то! Не говори лучше, не раздражай! — прикрикнула Евгеша.

— Так какого же тебе еще рожна надоть? Я так полагаю: девке нужен парень — вот и вся недолга!

— Да отвяжись ты, пожалуйста! Ничего мне не нужно... А так вот только сердце ноет, болит. — И девушка горько заплакала.

— Да я что? Я — ничего... Так только, к слову... — оправдывался Аггушка, крепко недолюбливавший сест-

риных слез, даже просто боявшийся их. — Не угодишь на вас...

В школе шло ученье своим порядком. В урочный час девочки и мальчуганы сходились в школу, и школа несколько времени стояла тихо; потом вдруг ученики с шумом выбегали из дверей, и школа оживала. Веселый детский смех и говор далеко разносились по улице. Кряжеву около того времени опять удалось подлить маслица на закручьевский огонь. Общественная лавка, открывшаяся в избе Федора Горелого, пошла наконец хорошо. Много уж смуринских забирало в этой лавке. Слухи, шедшие с закручьевского берега о недоброкачественности товаров, оказались вздором.

У Кряжева в ту осень вечера проходили отменно хорошо. Почти каждый вечер, если только у барыни не было гостей (а гости вообще бывали редко), Кряжев сидел в барском доме, в кабинете Лизаветы Петровны. Барыня или читала, или рассказывала, или же просто разговаривала с ним. И чего-чего только не наслушался Кряжев в эти длинные осенние вечера, когда ветер глухо завывал по саду, дождь хлестал в окна и крупными каплями тек по стеклам, словно весь мир зараз хотел в те темные ночи выплакать все свое тяжкое, вслух не досказанное горе. А в кабинете было тепло, уютно; топилась печка, и весело потрескивали в ней сухие поленья. Старинные часы мерно чикали на стене, а Кряжев иногда так заслушивался и задумывался, что не слыхал, как часы били удар за ударом. Только когда чтение прекращалось, или обрывался разговор, и барыня задумывалась над книгою или выходила в другие комнаты, Кряжев машинально поднимал голову и пристально смотрел на верх часов, где из-за скалы выступал красиво нарисованный тигр с страшно разверзтой пастью и в такт с движением маятника поводил своими белыми глазищами. Вот-вот, того гляди, подожмет свои мягкие лапы, соскочит с часов, вцепится Кряжеву в горло, да и почнет терзать его на куски.

— Какой это чудной зверь! — заметил он раз барыне, кивая головой на старинные часы.

— Это еще дедушкины часы! — ответила та. — Любил он такие диковинки покупать... А что? Разве страшен тигр?

— Тигр! — повторил Кряжев. — Его, значит, так зовут... Гм! Страшон... Ночью приснится, так испугаешься...

— А люди иной раз друг для друга пострашнее тигра будут! — молвила с улыбкой Лизавета Петровна.

— И то бывает! — прошептал Кряжев и с той поры подолгу и часто заглядывался на страшного зверя, таращившего на него с часового циферблата свои буркалы.

Много узнал, много услыхал кузнец от барыни в те осенние вечера. А барыня передавала ему все так просто, так ясно... И барыня, видимо, старалась добиться того, чтобы рабочий все понял, все уразумел, и когда тот перебивал ее каким-нибудь замечанием, доказывавшим, что он понял ее мысль, барыня, видимо, ощущала довольство, и глаза ее с удовольствием останавливались на ученике. Недаром же она и была «добрая барыня». В эти вечера Кряжев значительно окреп умом и научился смотреть гораздо далее Смурина и видеть то, что прежде ему никогда не привиделось бы и во сне. Он узнал, например, что на белом свете очень много живет таких же крестьян-рабочих, как и он, и живут они в таких же селах, как и их Смурино, живут так же, как смуринцы, — иные получше, иные похуже; но все похвастаться своим житьем-бытьем не могут. Узнал он, что заправильщиков всеми делами немного, но они сильны тем, что учены, все знают, все могут и умеют, а крестьяне, как слепые калеки или как скот, кроме своих хлевов, ничего не смыслят и думают, что мир за деревней у них клином сходится, а там дальше что такое — бог его знает, не сообразишь. Узнал он и о том, какие чудеса есть на свете, какие машины выдуманы, какие железные корабли плавают по морям и развозят людям что надо. И много еще другого узнал Кряжев в эти ненастные осенние вечера.

Особенно ему памятен выдался как-то один вечерок...

— Ну, скажите вы мне, Лизавета Петровна, вот что! — говорил Кряжев, облокотивши голову на руки, руками опершись на стол и пристально смотря на барыню. — Как же это ученые-то люди говорят этак, а?.. Вон хошь наш мировой, примером сказать... Вы, говорит, лентяи, пьяницы, дармоеды... Что же это он так, а? Разве он не знает, что ежели бы да мы были лентяи-лежебоки, так ведь нам и кусать-то стало бы нечего! И пропоицы мы, и такие-сякие... Ученый человек, а говорит бог знает что...

Водянина усмехнулась.

— Не все же такие... Другие про вас иначе говорят... — молвила она и затем постаралась передать ему в утешение, как и что говорят про них другие.

— Вот вы сказывали: есть, вишь, такие люди, крепко за своих стоят... — заговорил после недолгого молчания Кряжев. — А ведь и у нас такие-то есть, не учены, сказать по-ихнему не смогут... А ежели бы все так-то, тогда бы, гляди... Учитель ономнясь сказывал, как один отец помирал, да сыновей учил... велел это, значит, себе веник принести... Истинная правда. По прутику-то всех переломаешь!

После того разговор уже не мог пойти на лад. Кряжев скоро простился и ушел, оставив барыню одну перед догоравшим огнем, погруженную в думы.

Мертвой сторонкой показалось ей Смурино в те минуты... Ну, вот точно погост! Вдвинули Смурино в какой-то глухой уголок, да и забыли про него, забыли, что и тут люди живут. И чудилось ей, что Смурино отдалено от всего крещеного мира за тридевять земель и тридесятью морями, окружено стеною каменною, высокою, и нет в той стене ни единой даже щелочки для просвета — здесь всегда сумерки... Как бы проломать эту стену? Много поди для того сил надо? Богатырем надо быть!.. «Я не богатырь, нет!» — говорила самой себе Лизавета Петровна...

. . . .

А Кряжев той порой шел по берегу Вожицы, шел тихо, не торопясь. Земля в ту ночь покрылась первым снегом. Между побелевшими берегами речка тихо катила свои мутные, темные воды, от снега казавшиеся еще темнее. Слегка, словно украдкой, поплескивали о берег волны. Серая, непроглядная мгла задергивала небо. Ветер к ночи стих. Деревья стояли неподвижно. И тихо, страшно тихо было в воздухе, как тихо бывает лишь в первые дни зимы. Кряжев смотрел на Смурино. От него невдалеке темнели, словно пришибленные, хатки. И заходили в голове у него думы. Припомнилось ему и то недавнее время, когда он жил так же, как все смуринцы, знал столько же, сколько и они, думал и чувствовал по-ихнему. А теперь уже не то, совсем не то. Прежде у него было желание: вдруг, не учась, изловчиться читать. Но вот он читать научился. Теперь же ему хотелось бы разом перелить из своей головы во

все смуринские головы свое знание. Это было уже похитрее, чем научиться читать. Как передать смуринцам все то, что он чувствует сам теперь, вот в этот тихий вечерний час! Как им растолковать все, когда он и сам многого словами не мог бы высказать! Ежели бы подмога была, тогда бы так. И глядя на безмолвные, забелевшие поляны и на черные, кривые избенки, Кряжев опять почувствовал кругом себя ту гнетущую, мертвящую пустоту, какая уж не раз давала ему чувствовать себя.

У него на Смурине — вон в тех лачугах тоже есть родные, близкие. Есть брат, мать. Да что он поделает с братом, если брат норовит сторониться от него. А мать уже пять лет, почитай, с той поры, как он отделился от брата да не захотел жениться на Марье Сергеевой, и двух слов с ним не промолвила. Она к нему и глаз не кажет, возится со своей внучкой и ровно, кроме «Васеньки», нет у нее сына. Есть у Кряжева и в Закручье благоприятель. Ну, да бог с ним, с этим благоприятелем! Лисанька — хитрая штука: ей пальца в рот не клади. Вон и там, за этим садом, живет хороший человек, которого он только что оставил. Добрая барыня, да все же ведь барыня; значит, не свой брат... Вон опять там, на косогоре, в черной баньке, чудной человек живет. Да кто его распознает: что он такое есть? Иной раз Аггушка глядит на него так, как будто и любит его, крепко любит, а в другой раз посмотрит — смеется и все точно на что-то злится и такие неладные слова говорит, что просто всю душу воротит.

— Эх, кабы мне собакой оборотиться! — сказал раз Аггушка. — Злющая бы я была собака...

— А тебя бы палкой зашибли! — смешком заметил ему Кряжев.

— И пущай! Шкура-то не дорого и стоит! — возразил тот.

Ну, не чудной ли после этого человек, Аггушка!.. И еще живее чувствует Кряжев, что нет около него ни одной души живой, ему близкой, понятной ему, такой, которая бы разумела его... «Село, кажись, и родное, а вот, поди ты, и собаки своей нет! Никто к тебе не поластится!» — с горечью подумал он. Только то, видно, и будет, что все отшатнутся от него, как от чумного, зачнут на него пальцами показывать и забудут его, а если и вспомянут добром, так разве тогда. как моги-

ла примет его грешное тело и высокий бугор насыплют над ним. Сердце его глухо и как-то непривычно для него вдруг заныло; точно беду чуяло... «А ну, добро! Этак-то, пожалуй, еще вольготнее! Некому хошь по тебе плакать будет...» — ободряет себя Кряжев. Мелькает мысль о том, что есть, однако, на свете одна душа; и живет она близко — вон на том берегу... Стоит слово молвить, прилетит голубка, и топором не отгонишь! Но это воспоминание о красивой девке не принесло, видно, ему отрады. Лицо его нахмурилось, и глаза невольно отворачивались от мутных вод речки, словно бы в этот зимний вечер Кряжев опять ожидал увидать выходящую из вод красавицу... Какие хорошие, добрые глаза; какая ласковая улыбка; какие волосы черные и блестящие! Кряжева вдруг как будто жаром обдало... «Ну ее к черту!» — молвил он про себя, идя к своей хате. Все эти думы, которые мы так долго передавали на бумаге, в одну минуту пронеслись в голове его. Завтра эти мрачные думы скроются, пройдут...

VII. НАЗАРЫЧ СВОДИТ СЧЕТЫ

В тот же самый вечер в избе у Андрея Беспалого вышел большой шум.

— Так ты так-таки и не дашь, а? — спрашивал служивый, сидя на лавке, расставив ноги и поглядывая на брата из-под своих седых, нависших бровей.

— Так-таки и не дам! — подтвердил тот, отодвигая от себя допитую чашку и утирая рукой губы и кстати нос. — Хошь чаю, так пей, налью! А водки ни-ни! И не проси! Да это что же? Просто деньгам один извод. На тебя, видно, не напасешься. Знай себе косушки ставь! Да что же это такое!

— Брат! — перебил было солдат.

— И не проси, не дам! — строго заметил Беспалый, фыркая от сильного негодования.

— Послушай... — снова перебил служивый.

— И слушать не хочу... И не проси, и...

— Сми-р-р-р-но! — загремел солдат, вдруг выпрямляясь, и со всего размаха так хватил кулаком по столу, что рамы в оконницах задребезжали, чашки чайные ходуном заходили по столу, а крышка слетела с самовара и, звеня, покатилась по полу.

Беспалый осовел; почтенная невестушка, весь день разжигавшая мужа против служивого, так и присела со страху.

— Сми-р-р-р-но! — заревел опять солдат, заметив, что Беспалый перебирал губами.

Теперь солдат стоял у стола, вытянувшись во весь рост и грозно сверкая глазами на брата и невестку, ровно он своими взглядами хотел пришибить их на месте.

— Теперь уж я буду говорить, а ты слушай, да и уходить не смей! Прищемлю! — заорал служивый. — Раздурак-дурак я был, что за этакую свинью паршивую в рекруты пошел! Мне на ученье бока ломали, под пушки гнали... Ты знаешь ли, что такое Севастополь, а? Али это вас не касается? Не торговое дело? Живодеры окаянные! Севастополь — это был ад кромешный! Понимаешь? А эта вот самая голова была там целых шесть месяцев!

Солдат ткнул пальцем себе в голову.

— Заместо кого же это лоб-то подставлял, на смерть шел, ног лишился, сидючи в болоте по колено? За тебя, рыло, за тебя! А ты что в ту пору поделывал, а? Кузнецов грабил, мошну себе набивал да дома строил? Забыл поди, что и бог-то есть... Ха! И ты, ты, тварь злая и неблагодарная, смеешь еще говорить, что я у тебя прошу? Я тебе, оболтус, приказывать, командовать могу!.. А кто сто рублей моих зажилил, а? А полушубок, а холст? А кто в землю мне кланялся, кто в ногах у меня ползал? Ты, ты подлая рожа! Что буркалы-то уставил, али не домекаешь, а?

— Да что же, братец... Ты уж другой месяц у меня живешь... — начал Андрей Беспалый. — На одну водку, ей-богу, сколько...

— Молчи, паскудина! — гаркнул солдат, стуча по столу. — Ничего мне теперь от тебя не надо! Только не зови ты меня больше братом! Не брат ты мне! Слышишь?..

Беспалый шмыгнул за перегородку и вынес оттуда три синих ассигнации и разложил их перед братом на столе. Теперь братаны стояли прямо друг против друга, только угол стола и самовар разделяли их. Служивый смотрел прямо на Андрея, желая подловить его взгляд, но тот, видимо, избегал такой встречи...

— Это еще что! Ах, ты, иуда! Бери; убирай ты свои

пятишницы к лешему! — И Назарыч, судорожно скомкав ассигнации, бросил их на пол.

— Братец! Да что же, право, я уж и не знаю... можно и водки принести... — бормотал Беспалый, поглядывая на ассигнации, лежавшие у его ног и боясь, как бы солдат в сердцах не наступил на них и не изорвал бы их своими сапожищами.

Беспалый мысленно уже каялся, что из-за косухи такая история вышла.

— Не срамись по крайности, братец! — жалобным тоном заговорил Беспалый, увидав, что служивый лезет за своим походным ранцем, засовывает в карман своих штанов трубочку, накидывает на плечи свою серую шинель и берется за палку и шапку.

— Сказано: не зови меня братом! Не брат я тебе...— проговорил служивый. — Мне из-за тебя срамиться нечего... Я не виноват, что нас одна мать на свет уродила! Правду Митрей-то про вас говорит: живодеры вы, хуже всякого иуды... Того хошь совесть мало-мальски зазрила, взял да повесился... А вы христа-то десять раз продали бы, да и не удавились бы... Потому совести у вас уж больно мало... Вот что!

Беспалый побелел от злости. Все лицо его как-то странно подергивало; губы едва-едва шевелились.

— Что ж! Подь к Митюхе! Он тебе, може, целый штоф выставит! — пробормотал Беспалый, кривя насмешливо губы.

— И пойду! — сказал солдат, идя к двери и оборачиваясь.

— Так деньги-то не возьмешь, что ли? — спросил Беспалый, наклоняясь и поднимая с пола свои пятишницы.

— Это тебе от меня на гроб да на саван! — промолвил служивый и вышел из избы.

Беспалый с чувством отплюнулся ему вслед, покрестился на образ и, присев к столу, начал разглаживать ассигнации, грязные и потемневшие. С любовью посмотрел на них Беспалый и запрятал опять в сундук, обругав своего братца «служивого» дураком...

Велико было изумление Кряжева, когда он в описываемый вечер подошел к своей хатке. На ступеньках его крыльца сидел Назарыч в своей солдатской серой шинели и, прикорнувшись к стене, не то дремал, не то спал. Мешок и палка лежали с ним рядом на земле.

— Что за диво? — вслух проговорил Дмитрий. — Служивый! А, служивый!

И Кряжев, наклонившись, притронулся к плечу спавшего.

— А? Что? — забормотал тот спросонок, но, сообразив в чем дело, поднялся и встал на ноги. — Ух, ноги-то отсидел как... да и озяб же, продрог совсем! — продолжал солдат, берясь за свой ранец.

Он оперся на палку и посмотрел на Кряжева.

— Ночевать пустишь? — спросил он.

— Войди! — проговорил тот и, отдернув кол, отворил дверь.

Назарыч последовал за ним. Зажгли лучину. Дмитрий собрал кое-что поужинать и поставил водки.

— Вишь, как иззяб! Выпей-ко, добро, и согреешься, — предложил Кряжев.

Солдат выпил стаканчик и закусил немного.

— Ты чего это? — спросил своего собеседника Кряжев, заметив, что тот как будто бы прослезился.

— А это так уж... у меня это бывает... глаза слабы! — пробормотал служивый, утирая глаза и принимаясь за трубку.

Кряжев же порешил, что братья, видно, из-за чего-нибудь маленько повздорили.

VIII. ЧЕМ ЛЕЧИЛСЯ, ТЕМ И УШИБСЯ

Отец Василий, или отец благочинный, как звали его в околотке, был из себя мужчина видный, представительный, лет сорока пяти, высокого роста, широкоплечий, с высокой грудью, с необыкновенно приятным голосом и мягкими манерами. Его благообразное лицо украшалось темно-русой бородкой, а голова на плечах сидела в такой неприступно горделивой позе, как будто бы отец Василий отроду никогда и никому не кланялся, хотя достоверно известно, что он низко-низко кланялся, бывая в консистории по делам. Вообще же это был священник нового покроя, человек кабинетный и даже отчасти ученый. У помещиков, подобно прочим сельским священникам, он не заискивал, а если и заискивал, то с таким глубоким чувством собственного достоинства, что все признаки заискивания как-то стушевывались, и со стороны казалось, что отец Василий делает величайшее одолжение ближним, обязываясь у них. Впрочем, и то

надо сказать: сами помещики были не прочь позаискивать у героев нашего времени, у Чиркова с братией. С Чирковым и с подобными ему благочинный был очень хорош, так как он уже давно разгадал и уразумел, куда вместо «дворянских гнезд» должно было идти с поклоном; на прихожан-мужиков отец Василий смотрел свысока и без крайней надобности их к себе на глаза не пускал, отсылая их к своему помощнику, младшему священнику, отцу Александру. Сам в праздники с крестом ходил редко и с крестьянами хлеба-соли не водил. За все это крестьяне его прозвали «гордым».

Отец Василий пописывал в местных «Епархиальных ведомостях», тиснул даже во дни оны статеечку в «Домашней беседе», представлял длинные отчеты в статистический комитет и, не без чванства, называл себя членом-корреспондентом этого комитета, потому что, кроме обязательных сведений, он представлял в комитете свои добровольные труды. Он читал два-три духовных журнала, из газет же предпочитал «Современные известия». О пастве он мало заботился, предоставив свое стадо отцу Александру, и из-за книг и отчетов не видал копошившейся кругом него бедности. Приход для него был не действительностью в сермягах и в драных шугаях, а просто рядами отвлеченных цифр рождений, браков, смертности и прочего. С рабочими он сам не возился: их договаривал, нанимал, присматривал за ними и расплачивался или отец дьякон, или же племянник, Семен Васильевич, уже известный читателю пьяненький педагог. Домашний обиход лежал на кухарке и на поповнах: отец Василий уже вдовел седьмой год.

С полуденной стороны дома был разбит небольшой цветничок, обнесенный красивою зеленою решеткой, а немного далее, через двор, находился садик. Отец Василий любил прогуливаться в цветничке и даже по вечерам иногда сам поливал цветы, причем одна которая-нибудь из дочерей, Варенька или Людмиленька, носила ему от колодца лейку с водой. Кабинет его выходил в палисадник, и отец Василий также частенько, посиживая с книгой у окна, любовался на астры, жонкили, бархатцы и на свои любимые махровые георгины. Благочинный жил в собственном двухэтажном доме с мезонином. В мезонине, или «в светелке», приютились Людмиленька с Варенькой, в верхнем этаже господствовал сам благочинный, а внизу гнездилась школа.

У входной двери в верхний этаж висел колокольчик с блестящей ручкой, единственный колокольчик во всей смуринской волости. Отец Василий любил принимать у себя городских гостей, чиновников и в особенности людей ученых. Каждому гостю с должной аккуратностью сообщалось, как отец благочинный трудится на пользу статистики, как благодарит его комитет, и даже владыка с губернатором почтили его посильные, скромные труды своим милостивым вниманием. При этом отец Василий показывал гостю письменные доказательства, совершенно подтверждающие его слова. Он выкладывал документ за документом, и с каждым разом голова его поднималась все выше и выше, грудь выпячивалась пуще и пуще, благообразное лицо становилось более и более серьезно, и губы крепко-накрепко сжимались.

Большой письменный стол занимал чуть ли не треть его кабинета и также составлял предмет гордости хозяйской. На столе всегда были навалены книги, кипы газет и бумаг; стояла громадная стеклянная чернильница, громадная песочница; под столом помещалась плетеная корзинка для ненужных бумаг и писем. И между этим большим письменным столом, между креслом отца благочинного и его приходом лежала глубокая бездна.

Слава о смуринской школе дошла и до Красных Горок, до отца благочинного и его племянника. Дошли также до них слухи о том, что, по милости Кряжева, смуринские мужики отказались платить на красногоркинскую школу. Прогневался отец благочинный, и три дня сряду пьянствовал с горя его любезнейший племянничек. Дела принимали такой оборот, что красногоркинской школе не в далеком будущем угрожало закрытие, а учителю полная отставка. Учеников было мало, человек двенадцать. И действительно, красногоркинские стали уже поговаривать, «вероятно, по наущению Кряжева», как думал отец благочинный, о том: не лучше ли им в самом деле закрыть свою школу, а платить по условию, сколько придется, на смуринскую школу. Тем более было удобно отсылать им своих ребят на Смурино, что при школе была устроена столовая, где приходящие могли жить на своем хлебе и на своих харчах. От барыни была нанята кухарка.

— А у нас, братцы, надо быть, робята ничему пут-

ному не научатся у Семен Васильича! — говорили в Красных Горках.

— Еще бы! Знай себе только пьянствует да над робятами озорничает! — замечал один родитель.

— У меня Гаврюха кою зиму ходит, а в книге читать не умеет! — говорил другой. — Надоть порешить ее и совсем, школу-то!

Решили послать ходока на Смурино, разузнать все как следует и переговорить с барыней, а затем, если понадобится, собрать сход и покончить со школой. Отец же благочинный, хотя и называл своего непутевого племянничка «чудышком» и «сокровищем», но тем не менее радел о нем и во всяком случае не мог допустить, чтобы крестьяне закрыли школу, находящуюся под его веденнем.

«Сокровище-то опять, гляди, на мою шею сядет! Никуда его не пристроишь! — рассуждал сам с собою отец Василий. — Нехорошо!.. И в городе заговорят, забубнят, спросят: «Отчего, отец Василий, крестьяне школу у вас закрыли?» Гм! Отчего! Оттого, что народ уж больно распущен, всякого дурака слушается! Ну, чего тут этому Митьке надо, спрашивается? Знал бы сверчок свой шесток, не совал бы свой нос не в свое дело, куда не спрашивают... Это он для своей барыни подрадеть хочет, ребят из других школ к себе переманивает!» Отец благочинный решился пустить в ход все свое влияние, употребить все меры для спасения школы и для обеспечения за племянником его стодвадцатирублевого жалованья...

— Ты смотри, Семен, учи их толком, да не очень муштруй! Слышишь? — говорил племяннику отец Василий. — Не ударь лицом в грязь... уж постарайся!..

— И так уж, кажется, учу... А как их не бить? Нельзя не бить! — возражал тот.

— Точно, без наказания нельзя, да все-таки не слишком того... понимаешь? Отец дьякон мне сказывал, что Дмитрий смуринский все мутит. Надо уладить это дело во что бы то ни стало...

Учитель стоял у стола в своем одерганном сюртучишке, а благочинный в светло-лиловой рясе сидел, развалившись в креслах, и посматривал на племянника.

— Видишь, лицо-то у тебя какое нехорошее... Точно

целую неделю пьянствовал без просыпа... Нехорошо, нехорошо, Семен! — покачивая головой, промолвил отец Василий.

— Да я уж, дяденька, постараюсь! — бормотал Семен Васильевич, корча из себя угнетенную невинность. — Вы тут все можете... вам только стоит со старостой поговорить.

— Вот допишу письма, позову его, а ты съезди! — сказал благочинный, поднимаясь с кресел и ходя по комнате. — Съезди, посмотри, да так, знаешь, как будто не нарочно приехал, а просто заехал по пути. Понимаешь?

— Я, дяденька, так все и сделаю, как вы изволили говорить! — молвил Семен Васильевич, почтительно отступая к двери.

— Так и сделай! — подтвердил и отец благочинный.

— А насчет Митьки отец дьякон верно сказал... Это он... Они там с барыней все...

— Ну ладно, ступай! Да не пить у меня, слышишь! — крикнул отец Василий вслед племянничку, когда уже дверь затворилась за ним.

Это происходило в воскресенье.

Верхозов, свободный от школьных занятий, читал какую-то немецкую книгу и делал из нее выборки. Классная, если помнит читатель, была рядом с учительской комнаткой, и поэтому Верхозов мог слышать все, что происходит по соседству с ним. Часу в первом дня он услыхал, что дверь в классную отворилась, кто-то вошел и ходил между столами, осторожно ступая сапогами. Классная никогда не запиралась, в нее мог входить каждый когда угодно, и Верхозов вовсе не удивился, заслышав скрип двери. Но подумалось, не к нему ли пришел кто-нибудь, не его ли ищет какой-нибудь родитель, желающий поместить в школу свое детище. Он быстро прошел коридор и, растворив дверь классной, остановился не без удивления, увидав перед собою Семена Васильевича.

— Что вам нужно? — не очень-то мягко спросил он посетителя, приняв его за писаря-пьянчужку.

— Я думал, что можно посмотреть... Извините, пожалуйста! — проговорил Семен Васильевич, торопливо скидая фуражку и с поклоном вылезая из-за парт.

— Да кто вы такой? — спросил Верхозов.

— Я тоже-с учитель... из Красных Горок...

На это Верхозов сказал, что учитель из Красных Горок может осматривать школу сколько ему угодно, и хотел было уже уйти, как Семен Васильевич объявил, что он уж все осмотрел, и вышел вместе с ним из классной.

— Дверца-то без запора! — заметил посетитель.

— Запора и не нужно! — возразил ему Верхозов, быть может, слыхавший кое-что о неудовольствии благочинного и в приезде учителя подозревавший какие-нибудь каверзы. — Школу должны все оберегать. Сторожей не надо. Разве только какой-нибудь отчаянный болван решится принести школе какой-нибудь вред...

— Ах, народ-то здесь! — с легким вздохом и улыбкой сожаления начал было гость.

— Что же! Народ как народ... как везде. Не хуже и не лучше! — серьезно перебил его Верхозов.

— Так-с. А вы здесь, должно быть, еще недавно... Очень приятно! Будем знакомы!

Последние слова Семен Васильевич проговорил мягким, заискивающим тоном. Верхозов молча поклонился и пошел в свою комнату. Семен Васильевич, кажется, надеялся попасть в учительскую комнату и там еще понюхать, но не удалось. Даже он, при всей своей малой проницательности, заметил по лицу Верхозова, что тому вовсе неприятно «быть знакомым» с красногоркинским педагогом... «Фю, фю, фю! Нос-то как задирает! Просто мое почтенье!.. Ровно профессор... Ха!» — сам про себя говорил красногоркинский учитель, взбираясь на лошадь и отправляясь в обратный...

— Экое сокровище бог дал, а! — в тот же вечер говорил отец Василий, ускоренным шагом ходя по своему кабинету и с негодованием поглядывая на пьяного племянника, стоявшего прислонившись к притолоке. — Уж назюкался, а? Кто денег дал? Говори! Варюшка или Людмила? Ну, что же молчишь-то? Языка лишился, что ли? — возвышая голос, спросил благочинный и остановился перед несчастненьким учителем.

— Я, дяденька, ей-богу... как вы сказали... рю-юмочку одну... виноват, дяденька!.. — бормотал племянник, еле шевеля языком и глубоко понурившись.

— Так ребят никого не видал? — продолжал допрашивать отец Василий. — Не спрашивал у них: дерет ли? И насчет книг не узнавал и о молитвах, а?.. Да ну же, говори!

— Виноват, дяденька... ей-богу, я вин-н... — И племянничек так выразительно прикрыл ладонью свои уста, что отец Василий только рукой махнул.

— Фу ты, прости господи! Ну, вот и делай дело с таким олухом! — возопил благочинный. — Пошел, выспись!

Верхозова между тем чрезвычайно раздражило такое подсматривание. Он уже подозревал, для чего являлся к нему этот пьяненький красноглазый человек, руки которого тряслись и который весь, казалось, разбух от вина, отупел и поглупел. Кряжев уже объяснял ему, что благочинный стоит за своего племянника и на смуринскую школу, перетягивающую к себе последних учеников из Красных Горок, смотрит косо. Для Верхозова было ясно, что в его школе будут стараться найти темные пятна и при случае даже не откажутся от какого-нибудь подкопа. Хотя он от своих питомцев, прежде учившихся в Красных Горках, уже имел некоторое понятие о той школе, но вознамерился видеть ее лично и отдать визит Семену Васильевичу.

— Пусть же видят, что я не бегу, не скрываюсь от них! — в тот же день после вечерних чтений говорил он Кряжеву. — Сам к ним приду и посмотрю на их ученье...

В четверг, через три дня после посещения Семена Васильевича, Верхозов объявил своим ребятам, что учение у них будет после обеда, нанял бойкую лошадку с бойким же молодым парнем и, закутавшись в серый толстый плед, поскакал в Красные Горки. Хотя снежку уже давно напорошило, но ветром с дороги его посмело, и потому ездили еще на колесах. Езда была хорошая: мерзлая земля была гладко укатана, как скатерть. Верхозов живо отмахал пятнадцать верст и не успел очнуться, как тележка его подкатила к дому отца Василия.

Семен Васильевич в то утро пришел в класс, по обыкновению, с пустой головой и не в духе: ему никак не удалось достать денег, чтобы опохмелиться. Сердито принялся он спрашивать урок, треснул несколько раз книгой по голове одного парнюгу, другого огрел по затылку, но урок все еще шел сносно, без кровопролития: ребятишки, словно чуя над собой невзгоду, не баловали, и учителю не представлялось случая сорвать свое сердце. Вдруг мальчик, писавший на доске, уронил мел, мел покатился под переднюю лавку. Другой мальчуган

бросился поднимать его и наступил ногой; мел рассыпался. Дверь была тотчас же заперта, явились прутья. Мальчика, обронившего мел, двое старших учеников взвалили на стол, и Семен Васильевич, вооружившись лозой, стал отводить свою душу. Когда мальчик охрип от крика, место его занял другой преступник, уничтоживший кусочек мела. Но это был мальчик лет четырнадцати, довольно сильный, и во время наказания он несколько раз вырывался из рук своего мучителя и пытался проскочить в дверь, но учитель лично вступал с ним в борьбу, снова полагал его на стол и хлестал с двойной яростью, так что чуть руку не вывихнул. Мальчик напрягал последние, отчаянные усилия вырваться из-под розог, как вдруг в дверь раздался стук.

— Кто тут? — прорычал Семен Васильевич, едва переводя дух от усталости.

— Смуринский учитель! — раздался за дверями голос.

— Ах, черт тебя... Ну, ты! Одевайся! — шепотом проговорил второпях Семен Васильевич, подсовывая под парту прутья.

Затем он любезно впустил учителя, с которым сам желал «быть знакомым». От Верхозова, по-видимому, не укрылось происходившее перед его приходом. Он взглянул на двух заплаканных, раскрасневшихся мальчуганов со взъерошенными волосами; он наклонился и поднял с полу несколько прутиков и положил их на стол.

— Не угодно ли прислушать? Вот не угодно ли сюда, на стул? — говорил той порой Верхозову Семен Васильевич, желавший во что бы то ни стало отвести гостя подальше от заплаканных мальчиков.

— Не беспокойтесь, я постою! — отвечал гость. — Продолжайте, пожалуйста. Я не помешаю. Мне только хотелось у вас послушать...

— Чему вам учиться у нас! Нам нужно учиться у вас! — с смиренной улыбочкой промурлыкал учитель.

— Напрасно вы так думаете: я еще новичок в этом деле! — с улыбкой же возразил Верхозов.

— Читай «верую»! — приказал Семен Васильевич одному из своих старших учеников.

Тот, не переводя духу, прочитал «верую» и, произнеся «аминь», остановился как вкопанный. Ученик дышал так тяжело, как будто бы без отдыху пробежал

с версту или более. Семен Васильевич милостиво кивнул ему головой.

— Восемью девять? — обратился он к другому.

— Семьдесят два! — отрезал тот.

— Скажи «Стрекозу и Муравья»! — приказал Семен Васильевич, беря ласково мальчугана за плечо.

Тот отбарабанил половину басни без запинки, но вдруг остановился и ни тпру ни ну, в смущенье, может быть, от необычной учительской ласки.

— Хорошо же ты знаешь! А сколько раз учили эту басню, а? Все еще не вытвердил! Нехорошо! Ленишься! — умеренно-строгим тоном заметил Семен Васильевич. — Садись!

Ученики с изумлением переглянулись: Терешка по какому-то случаю не заполучил на этот раз затрещины, хотя по всем их соображениям затрещина следовала Терешке.

— Не угодно ли вам что-нибудь самим спросить? — с достоинством предложил учитель Верхозову, усаживаясь в сторонке на подоконник.

— Пожалуй! — согласился тот и обратился к одному из заплаканных мальчиков: — Скажите мне: хорошо ли сделал муравей, что не накормил и не пустил обогреться к себе в муравейник стрекозу? Ведь у него место было, корм лишний тоже был... Муравей ведь запаслив!.. Ну, что же! Хорошо он сделал?

Мальчик встал и, широко раскрыв глаза, смотрел на смуринского учителя.

— Добрый ли это муравей, или злой, а? — мягко пояснил Верхозов.

— Добрый! — сказал мальчик с заметною нерешительностью, причем Семен Васильевич самодовольно ухмыльнулся, словно хотел молвить: «Знай-де наших!»

— Почему же он добрый? — спросил Верхозов, задумчиво взглядывая на мальчика.

— А попрыгунья-стрекоза ничего не собрала про запас... Так ей и надо! — запинаясь и после долгого колебания ответил мальчуган.

— Вы как думаете? — спросил Верхозов другого мальчика, который смотрел необыкновенно бойко и смело.

— Муравей злой... злюка... — ответил тот, встряхивая сильно волосами.

— Пожалуй, что и так! — промолвил Верхозов.

Лицо Семена Васильевича при таком извращенном толковании басни вытянулось; но он все наматывал себе на ус для точной передачи дяденьке. «Вали все в кучу! Там разберем!» — думал он про себя... Урок между тем кончился: ребятишки начали собираться по домам.

— Скажите, пожалуйста, отчего эти двое такие заплаканные? Больны они, что ли? — спросил вслух Верхозов.

— Нет! Это я им маленькое внушение сделал... Нельзя, знаете-с... — пояснил Семен Васильевич.

Верхозов приподнял брови и пошел вон. А Семен Васильевич так расходился после этого неприятного и неловкого посещения, что в тот же день, за послеобеденным уроком, выдрал еще трех мальчуганов; так что наконец Людмиленька уж без церемонии подошла к окну и закричала: «Не с ума ли он сошел сегодня, что так дерет ребят, — на улице слышно...»

IX. ПОВСЕДНЕВЩИНА

Кряжев со старым Назарычем между тем жили-поживали мирком да ладком. На первых порах каждый раз при наступлении сумерек служивый говаривал: «А я уж ночку еще у тебя переночую!» — на что Кряжев также всегда отвечал: «Ночуй!» Поутру гость с хозяином опять обменивались одними и теми же фразами:

— Я уж посижу у тебя! — скажет, бывало, солдат.

— Посиди! — подтверждает Кряжев.

Так они переговаривались между собой с неделю времени. Солдат все показывал вид, что вот-вот он исчезнет. С таким решительным видом выколачивает он трубку и с таким решительным видом снова набивает ее, как будто бы то была последняя трубка, которую ему предназначено выкурить под гостеприимным Митюхиным кровом. Дмитрий очень хорошо видел, что служивый только фальшивые тревоги производит; очень хорошо знал, что некуда ему тащить свои старые кости, свое разбитое тело, некуда приклонить ему свою победную головушку. Поэтому он долго никакого вида не показывал и наконец после двухнедельных сборов однажды после ужина сказал солдату так:

— Чего тебе, служивый, уходить от меня! Места у

меня в избе не убудет. Живу я один, и хозяйки заводить неохота! А насчет пропитанья ежели — хватит! С голоду не помрем! Так вот я и говорю; оставался бы ты, добро! Куда идти? Походил, чай! Так-то!

Служивый разгладил краем коротенького чубучка свои седые усы и потом с глубокомысленным видом, приставив его к носу, спросил:

— А что же я у тебя делать стану? За лежанье на печке нашего брата не кормят...

— Эх ты, милый человек! Да ведь изба-то у меня иной раз пустая совсем стоит! — возразил Кряжев. — Зимой я в кузнице, летом в кузнице, а то в город али по деревням уедешь... Все едино: избу-то приходится же колом припирать. А насчет пропитанья говорю: не сумлевайся! Хватит... А ты по дому поделаешь что ни на есть, летом на работе подсобишь... Вот мы и квиты! Ну, так по рукам, что ли, да и шабаш?

— Шабаш так и шабаш! — проговорил солдат, поднося к глазам кулак, будто почесывая им переносицу.

Так с тех пор и поселился служивый у Дмитрия. Длинная палка его стояла в углу, ранец висел на стене под полатями, а остальное движимое имущество, то есть сапоги, фуражка и шинель, были то на служивом, то лежали на лавке в уголку. Трубка с коротеньким черным чубуком всегда покоилась на подоконнике — замечательная пенковая трубка: она была с крышкой и изображала собой медвежью голову, из ноздрей и сквозь зубы которой во время куренья валил дым; сбоку на стальной цепочке висела медная большая игла для чистки. Трубка была старенькая, и служивый ею очень дорожил, как подарком «своего старого друга», убитого на Малаховом кургане в день последнего приступа. Рядом с трубкой, на подоконнике же, всегда лежал кисет, сшитый из треугольников разноцветных материй, кисет тоже очень старенький, засаленный, но очень любезный сердцу солдата. Это давнишний подарок одной «кумы» — малороссиянки, в избе которой он стоял лет двадцать тому назад. С этими двумя вещами солдат никогда не разлучался, а если бы его сделать оценщиком при продаже этих двух вещей, то он, вероятно, заломил бы за них такую цену, что разве только Кузьме Ивановичу Чиркову под силу было бы приобрести их. При начале сожительства Кряжева со служивым самым трудным и щекотливым вопросом представлялся вопрос

о водке; но служивый самоотверженно решил так, чтобы пить ему в день не более трех рюмок: за завтраком, за обедом и за ужином. Дмитрий против такого распределения ничего не имел. Служивый ходил за Чалой, кормил-поил ее, чистил и даже иногда водил гулять по улице, чем и приводил в большое волнение умы всех смуринских мальчишек. Служивый мел избу, варил щи и кашу, только не мог управиться с хлебами — хлебы по-прежнему пекла для них старуха-соседка. Кряжеву времени для работы и досуга стало выпадать более, и это он старался выставлять солдату на вид, а солдат ухмылялся и в шутку называл Кряжева «вашим благородием». Днем, управившись с обедом, служивый сидел на крыльце, если на дворе было красно; тут он покуривал свою трубочку, глазел по сторонам или собирал вокруг себя ребятишек. Ребятишки разглядывали медвежью голову, рассуждали, спорили и слушали солдатские песни. Иногда служивый захаживал в кузницу проведать Дмитрия, сидел у него, толковал. В сумерки, перед окончанием работ, он опять являлся к Кряжеву, забирал гвоздь и уносил его в чулан. Вечером он отдавал хозяину рапорт, начиная его словами: «Все обстоит благополучно». По вечерам солдат начинал свои бесконечные рассказы о походах и о войне.

— Французы, вот-то народ! — говаривал он. — Как дело кончится, как объявится перемирие, они уж с нашими и тары-бары, и папиросками угощаются, и спички подают друг другу... Англичане — ну, те горды, не подступайся! Знай себе плюет. А народ тоже ничего; выпить любит! Пьют здóрово!..

Иной раз приятели засиживались подолгу. Иной раз заходил к ним кто-нибудь из смуринцев. Захаживал и Аггушка изредка. Только служивый никак не мог в толк взять, отчего Аггушка все волком выглядит. Служивый раз и заметил ему об этом.

— С волками живу, потому и сам волк! — объяснил Аггушка.

Почасту также служивому приходилось коротать длинные вечера одному: Дмитрий уходил то в школу и после урока сидел у учителя, то отправлялся к барыне на усадьбу.

Однажды, в воскресенье, часа в четыре, Кряжев явился к Лизавете Петровне с кассовыми книгами и с отчетом, им самим составленным, и расположился с

нею в кабинете. Лизавета Петровна как попечительница смуринского ссудо-сберегательного товарищества должна была просмотреть отчет и отправить его с первою почтой в Черешинск. Надо было поторопиться: срок представления отчета уже приближался, да к тому же и Водянина собиралась уезжать. Вдруг явилась горничная с докладом, что приехали поповны, дочери благочинного, и спрашивают барыню.

— Вот не вовремя-то пожаловали! — с кислой гримасой заметила барыня и, попросив Кряжева оставить ей до утра все книги, простилась с ним «до завтра» и вышла в гостиную, где уже Варенька и Людмиленька ожидали ее.

Людмиленька — перезрелая дева, воображавшая почему-то, что все мужчины только спят и видят, как бы соблазнить ее и увлечь на путь порока. Она была высокого роста, с рыжеватыми волосами, с прямым длинным носом и с сероватым лицом, покрытым веснушками. За нос в приходе звали ее «рулем». Ходила и сидела она прямо, не сгибаясь, словно аршин проглотила; говорила вяло, медленно, тянула в нос. Младшая, Варенька, лет девятнадцати, была поменьше ростом, с светлыми, льняными волосами, с маленьким вздернутым носиком и вообще выглядела поблагообразнее и поскладнее. Она была вертлява и подвижна, как гуттаперчевая куколка, говорила бойко, быстро, словно горохом сыпала, поминутно хихикала и, увлекшись своим рассказом, имела привычку мотать головой, как коренная лошадь, если слишком высоко подтянуть ей повод.

После обычных поцелуев и осведомлений о здоровье, гостьи расселись и, как водится, затолковали о погоде, как о таком предмете, на котором могут сходиться и простолюдин, и князь, и люди всевозможных партий. Лизавета Петровна осведомилась, что у них новенького.

— Максимку сегодня водили в правленье. Недоимки все не платит, пьянствует, жену бьет; на стороне, говорят, завел себе... — затянула Людмиленька.

— Ну уж, сестрица, вздумала о чем рассказывать! — перебила ее Варенька. — Очень интересно Лизавете Петровне знать, что делают с мужиками... Ничего у нас новенького нет... Скука! просто хоть умирай!..

— Отчего же вы думаете, что крестьянские дела меня не могут интересовать? — спросила ее с улыбкой Лизавета Петровна.

— Да что вам в них! — возразила Варенька. — Что вам в том, кого наказывали, да как, да за что! Сестрица всегда какую-нибудь пошлость выдумает...

А сестрица, в ответ на такое легкомысленное замечание, очень презрительно повела носом. Разговор коснулся смуринской школы. Варенька осведомилась об учителе и, заметив вскользь, что она уже видела его в Красных Горках, захихикала и призналась, что он походит на цыгана.

— Папаша говорит, что он, должно быть, бунтовщик! — болтала девушка. — Я никогда не видала бунтовщиков... Интересно бы, право, познакомиться с ним...

Людмиленька же, узнав, что учитель холостой, вдруг сжала губы и с таким целомудренным видом поправила и подобрала платье, как будто бы ужасный мужчина уже готов был ринуться в гостиную, ухватить ее за ее желтое барежевое платье и совсем увлечь в бездну. Подали чай. Но чем далее шло время, тем заметнее Варенька волновалась, хихикала уже совершенно без толку и некстати, вертелась в креслах и ахала все чаще и чаще. Наконец, Лизавета Петровна вышла в другую комнату, Варенька вдруг сорвалась с места и, не слушая увещеваний сестрицы и не обращая никакого внимания на ее помавания носом, шмыгнула за Лизаветой Петровной.

— Ах, Лизавета Петровна! Голубушка, милая! Я к вам с просьбой... с большой, с огромной просьбой! — защебетала поповна, едва переводя дух.

— Что такое? Если могу... — начала было Водянина и не кончила, потому что Варенька вместо дальнейшего объяснения принялась лобызать ее самым неистовым образом в губы, в щеки, в шею, в плечи.

— Я слышала, вы скоро едете в Петербург... Ах, милая, милая Лизавета Петровна! — пересыпая поцелуями, стрекотала Варенька. — Голубушка, христа ради, возьмите меня с собой! Я хочу учиться акушерству. Вон Машенька выучилась... счастливица! А папенька не пускает... Там, говорит, все неверующие какие-то... Возьмите меня! Он простит... Ничего не будет, право...

— Да вы серьезно хотите учиться? — спросила ее Лизавета Петровна, пристально смотря ей в лицо.

— Ах, разумеется, серьезно... а то как же еще! Я буду учиться так... Просто, кажется, с ума сойду! Только бы уж мне кончить!

Тут же уговорились, что Варенька за день до отъезда отпросится у тятеньки в Грайвороново погостить на неделю, будто бы по просьбе Лизаветы Петровны, и немедленно же по приезде в Петербург напишет обо всем отцу.

— Наш учитель может дать вам письма к некоторым учащимся! Я скажу ему, — заметила Водянина.

— Ах, пожалуйста! Ах, я не знаю, что со мной и будет, ей-богу! — заахала Варенька, всплакнула немного и опять захихикала.

Скоро сестры уехали, а Лизавета Петровна просидела почти всю ночь, любуясь на цифры и сличая их. Дела товарищества шли хорошо. Школа тоже процветала.

И спит спокойно «добрая барыня», и грезятся ей хорошие сны.

X. ИЗ-ЗА ШКОЛЫ

Отец благочинный, узнав о посещении Верхозова, распалился гневом.

— Это что же за ревизоры такие заездили! — восклицал он.—Предписание у него есть, что ли? Если есть, так покажи! Мы от гласности не прячемся! А всякому мальчишке не позволим к нам в школу нос совать.

Отчасти из желания отплатить «мальчишке» за его посещение красногоркинской школы, отчасти побуждаемый опасностью своего собственного положения, отец Василий вознамерился сделать визит смуринской школе. Недели через две, как бы мимоездом, он завернул в школу и, узнав от прислужницы, что войти в класс можно, прямо направился в классную и застал Верхозова за уроком. Отец Василий благословил ребят и в коротких, но довольно напыщенных словах отрекомендовался учителю. Тот, с своей стороны, назвал ему себя. Гость внимательно слушал и следил за тем, что делается и говорится в школе.

— Позвольте полюбопытствовать, — вдруг обратился он к Верхозову, засучивая, по обыкновению, рукава своей щегольской лиловой рясы. — Молитвы они знают? — И благочинный кивнул головой на школьников.

— Старшее отделение знает, а младшее — нет! — ответил учитель.

— А младшие что же-с? — спросил посетитель.

— Младшее еще не подготовлено, и молитвы ему не

по силам! — пояснил учитель. — Ведь мы еще только второй месяц учимся... Поспеваем, как можем...

— Напрасно, напрасно-с! Откладывать бы не следовало... — совершенно мягким тоном заметил благочинный, слегка покачивая головой и как бы с некоторым сожалением взглядывая на питомцев. — Если они еще не твердо читают, так они могли бы заучить молитвы со слов старших. Это ведь недолго... Вы же наизусть им что-нибудь, я думаю, задаете?..

— Младшие у меня наизусть еще ничего не учат! — сказал Верхозов.

— Нет-с! Я с вами не согласен... — возразил отец Василий, поднимая голову. — И если позволите, то посоветовал бы вам не откладывать этого дела и приступить сейчас же к молитвам...

— Да ведь я же о том и хлопочу, чтобы их поскорее развить настолько, чтобы они могли сознательно читать! — подхватил учитель. — Я о том и стараюсь. Я сам тороплюсь. Курс у нас маленький — три года, да и то не целых: только по семи месяцев...

— Так, так! Извините, что побеспокоил! — закланялся отец Василий. — Вы знакомы с моим племянником? Очень рад, очень рад... Он, правда, новых методов не знает, но человек старательный и свое дело понимает. Прошу покорно к нам! А вы, детушки, что-то нашу церковь забыли нынче. Нехорошо! Заглядывайте! Я уж давно вас никого не вижу. Да! А на задних-то партах у вас темненько! — добавил священник, протягивая руку по направлению к задней стене. — Окошечко бы тут вот прорубить надо!..

— Да! Здесь окно и будет! — подтвердил Верхозов.

— Да и тесненько, кажется, у вас немножко! — промолвил священник, озираясь по сторонам.

— В тесноте люди живут... Хуже было бы, если б школа стояла пустая. А у вас много учеников? — с улыбкой полюбопытствовал Верхозов. — У вас, кажется, просторно...

— Да! Было много, да некоторые вышли... — отозвался благочинный, поднимая голову и выпячивая вперед грудь. Затем, поклонившись еще раз, благословив учащихся и попросив их не вставать, он вышел вон.

Но отец Василий не тотчас же уехал со Смурина. Он еще повидался с некоторыми учениками, бывшими питомцами красногоркинской школы, поспрашивал у них,

достаточно ли у них книг, есть ли бумага, перья, аспидные доски и грифеля; не бьет ли их учитель, ходят ли они в церковь? Мальчики отвечали, что всего у них вдоволь, что учитель — добрый, и в церковь они ходят. Так и уехал благочинный, пообещавшись прислать своим прежним питомцам несколько евангелий и житий святых.

Верхозов же очень хорошо понимал, с какой целью пожаловал к ним в школу отец Василий. Ни за собой, ни за школой Верхозов предосудительного ничего не знал; поэтому он нисколько не смутился бы, если бы в одно прекрасное утро нагрянули на него врасплох все благочинные на свете. Он только потешался тревогой, какую произвела смуринская школа в мирных весях. При этом, конечно, закрадывалось к нему в душу нечто вроде темного предчувствия, что какие-нибудь мелочи очень легко могут затормозить его дело, могут возникнуть ложные толкования самых простых и обыкновенных явлений; могут явиться недоразумения, оттуда могут родиться придирки и подвохи, личные счеты, да и мало ли еще что! Верхозов теперь стал в положение человека, ворохнувшего то, чего не следовало бы трогать. Все это на Верхозова не могло нагонять страхов, но для раздражения больного, желчного человека пищи было слишком достаточно.

На этот раз госпожа Водянина уезжала из Грайворонова на год, а «может быть, и надолее», как говорила она. Барыня много рассказывала Кряжеву о той стороне, куда она едет; там почти круглый год лето, там высокие горы заходят за облака, бездонные пропасти чернеют между гор, и люди в той земле живут не по-нашему. Наконец, накануне отъезда, как было условлено, явилась Варенька. В самый день отъезда стоял трескучий мороз. Старые стены барского дома пощелкивали, окна вплотную разрисовались узорами, дрова ярко горели в печах, и в комнатах припахивало березовой корой. Время было послеобеденное; сизые сумерки заглядывали в окна. Лизавета Петровна сидела на своем маленьком чемоданчике, в высоких сапогах и в дубленом полушубке, на груди которого перекрещивался серый с красными каемками башлык. На коротких волосах ее была уже надета белая барашковая шапочка. На столе лежали дорожная сумка и не-

большой карманный револьвер. Кряжев молча сидел у печки на скамеечке и взглядывал молча на добрую барыню. Уж не загадывал ли он о том, при каких обстоятельствах, когда и как приведется ему встретиться с нею? Вероятнее, что он просто грустил.

— А вы, Дмитрий Михайлович, пожалуйста, будьте осторожнее! — несколько раз повторяла ему Лизавета Петровна.

Кряжев кисло усмехнулся и раздумчиво покачал головой.

Глаза же барыни светились в те минуты упованием и надеждой, словно перед нею развертывалось уже вблизи то самое чудесное зрелище, до которого она давно уже хотела досягнуть. Докурив последнюю папиросу, Лизавета Петровна встала, крепко пожала руку Кряжеву, перекинула через плечо сумочку и вышла на крыльцо. Черные хатки и белые, снежные равнины прощались с нею тихо, неслышимо своим мертвенным безмолвием. Ясное, бледно-голубое небо с белым полумесяцем в вышине обдало ее холодом... Колокольчик звякнул, полозья скрипнули, и кибитка заныряла в ухабах. Барский дом заперли. Кряжев пошел на Смурино...

Велико было смущение и замешательство отца Василия, когда он узнал, что Лизавета Петровна увезла его дочку, и смущение это чуть ли еще не увеличилось, когда через неделю он получил по земской почте письмо от Вареньки со штемпелем С.-Петербургского почтамта. Дочь извещала его, что, ожидая помехи со стороны отца, уехала, не сказавшись, а учиться акушерству ей между тем очень хотелось; что добрая Лизавета Петровна снабдила ее на первое время деньжонками и даже помогла ей найти комнатку, удобную и дешевую, и познакомила ее с очень хорошими людьми; что она уж подала прошение, надеется в начале января поступить, а через два года, кончивши ученье, непременно приедет к родителю уже повивальной бабкой. Варенька просила его не беспокоиться, не гневаться на нее и дать ей возможность кончить ученье. «Из наших, из духовных, нынче очень много учатся акушерству», — писала она в успокоение отцу. Сумрачен и уныл засел отец Василий за сочинение письма к своей беглой дочери. «Много неприятностей и горя причинила ты мне своим необдуманным и легкомысленным поступком, — писал он, между прочим. — Но ежели ты в самом деле

будешь учиться хорошо, то бог с тобой, пусть хранит тебя божия матерь, а я тебе каждый месяц буду высылать 25 рублей деньгами да холста. Только не входи ты, Варя, в политику... А ежели, паче чаяния, ты впутаешься в какие-нибудь дрязги, то так и знай, не будет тебе от меня благословения, и 25 рублей в месяц высылать не стану».

Работница же отца Василия, бывшая его советницей на поприще практической жизни и стоявшая на короткой ноге с его племянником, держала по этому поводу совещание с просвирницей и Семеном Васильевичем, и по решению их выходило, что Варвару Васильевну следовало вытребовать по этапу и водворить на место жительства, а для того чтобы опять куда-нибудь не убегла — задать ей хорошую баню. Хотя благочинный в данном случае и одобрял некоторые домостроевские правила, но приложить их на деле не мог. Он боялся прослыть тираном и потемнить свою славу, созданную статьями в «Епархиальных ведомостях». Отец Василий очень хорошо знал, что учитель русского языка в уездном училище пописывает очень ядовитые статейки в обличительном вкусе. «Попадись-ка такому на зубок, так он тебя по косточке разберет! — совершенно основательно думал благочинный. — Ведь для них ничего святого нет... Свистуны, сатирики!..»

В день получения рокового письма над отцом Василием разразилась еще другая напасть. По настоянию Кряжева, в Красных Горках наконец собралась сходка по вопросу: следует ли платить на школу, коли ребятишки учатся на Смурине? Поддерживать ли школу ради десяти-двенадцати мальчиков, когда на Смурине уже около семидесяти учеников? Не лучше ли поэтому красногоркинскую школу закрыть за ее непригодностью? Отец Василий уже ждал этой сходки и теперь, уведомленный племянником, накинул на плечи свою енотовую шубу, надел высокую теплую шапку и, вооружившись тростью с серебряным набалдашником, отправился на сходку.

— Вы сначала рассудите хорошенько, закрыть школу всегда успеете... Семь раз примерь — один отрежь! Не всякому также слуху верьте! — говорил он крестьянам. — Был я там в школе, нарочно заезжал, все видел и знаю. Горница крохотная, тесно, темно; книг при школе мало. А учителя тамошнего не одобряю. Да и шко-

ла распущена — крик, гам, точно в каком кабаке. Ребятишки без всякого присмотру, дерутся, озорничают, чьему-то петуху, говорят, глаз вышибли, одному парнишке всю одежду порвали. Так в такую-то школу вы хотите ребят посылать, православные? Не добро, не добро вы затеяли! А в нашей школе учитель из духовных, в семинарии обучался, ну и сам я за школой присматриваю. Комната у нас большая, светлая; книг много.

— Семен-то Васильич шибко уж дерется! — заметил голос из толпы.

— Как дерется? — озадачился отец Василий. — Не слыхал, от первого слышу... А если он прутиком... тово... так без этого, голубчик, и генеральские дети не учатся.

— А на Смурине вон не дерут! — отозвался тот же голос.

Отец Василий презрительно глянул на толпу, словно отыскивая дерзкого. Губы его слегка дрогнули; он не привык толкаться с мужичьем и не мог хладнокровно выносить невежественных речей. Он не возразил на замечание, но, высокомерно подняв голову, сухим тоном добавил:

— Я вам сказал, свое дело сделал, а вы уж как знаете!

Благочинный кашлянул, запахнулся в свой енот и, повернувшись, молча пошел домой. А сходка долго еще галдела и не пришла ни к чему.

Через несколько дней опять собралась сходка, но благочинный на этот раз уже не пожаловал. Крестьяне решили: не давать более денег на красногоркинскую школу, а платить, ежели понадобится, на смуринскую.

Подошел введеньев день. Исстари заведено было, что в этот праздник красногоркинский священник, разъезжая по своему приходу с крестом, заезжал и в смуринский приход к помещикам и к тем из богатых крестьян, кто приглашал его. Это, быть может, объясняется тем, что Смурино, некогда малолюдный поселочек, принадлежало к красногоркинскому приходу, где введеньев день был храмовым праздником. В прежние годы с крестом ездил обыкновенно младший священник, отец Александр. Он и ныне объехал свой приход, но в довершение и отцу Василию вздумалось прокатиться на Смурино, благо санная дорога стояла отличная и термометр показывал десять градусов мороза.

На другой день праздника, когда в школе шло уче-

нье, он подкатил к школе со своими церковниками и послал подвыпившего дьячка к учителю осведомиться, благоугодно ли будет тому допустить батюшку в школу. Верхозов ответил, что сегодня у них ни церковный, ни табельный день, что у них в школе идут занятия, и потому он принять священника не может, а если угодно ему зайти в столовую (что рядом с кухней), то «милости прошу»... Но отец Василий в столовую не захотел и покатил далее. А вечером он строчил письмо за письмом в Черешинск и далее Черешинска насчет красногоркинской школы, насчет неправильного приговора крестьянского схода и еще кое о чем. Он открякивался и откашливался, и по всему было видно, что одно письмо особенно занимало его, потому что, прежде чем запечатать его, он прочел его по крайней мере раз пять или шесть. Отец благочинный в тот вечер был сильно возбужден. Личности Лизаветы Петровны, Митьки Кряжева и смуринского учителя каким-то чудом слились для него в один мрачный, чудовищный образ. И этот гигантский мрачный образ — чудилось отцу Василию — на все, на что бы он ни взглянул, бросает темные, густые тени, благодаря которым отец Василий ни на что не может посмотреть спокойно-веселым, довольным оком.

XI. ДЕВИЧЬЯ БЕДА

До сих пор в этом рассказе Евгеша, племянница Прокудова, занимала немного места, да ведь немного места занимала она и в действительной жизни. Помогала она тетке управляться по дому, шила, вязала, плела кружева к полотенцам, изредка ходила на посиделки, но долго там не оставалась никогда. Тетка часто журила ее и на ее сиротской беззащитной головушке вымещала при всяком случае свою досаду и злость: не туда она и ведро-то поставила, не так и помело-то положила, не умеет она и подол-то обрубить как следует, что она только перед парнями «пялится» — словом, для ее ворчанья придирки находились на каждом шагу. Писарь частенько наведывался, но совершенно напрасно. Напрасно он вписывал в свою тетрадь от поры до времени стихи в таком, например, роде:

Тут пастушке дорогой указал пастух рукой:
«Вот нам должно так с тобой
То гулять, то скакать
В роще сей густой!»

Но красавица вовсе не желала ни гулять, ни скакать с Евграфом Евстигнеевичем. Она то смеялась над ним, то злилась. Раз даже писарю досталось солоно от «пастушки дорогой».

Однажды, как-то по осени, Евгеша была на посиделках у Антона Кудряшева, куда заявился и писарь. Девушки пряли, шили, но, конечно, не столько работали, сколько песни пели да с парнями перебивали. Парни потчевали девок пряниками и орехами, — и в избе шла преусердная щелкотня, и было очень весело. Немолчный, громкий говор расходился по избе, и поминутно резко прорывался крик и веселый хохот. Вдруг вспало на ум одному молодцу ткнуть в куделю своей возлюбленной горящею лучиной; в единый миг охватило прялку полымем, девушки закричали, бросились на помощь к погоревшей подруге и принялись тушить куделю. В суматохе угораздило кого-то уронить светец, лучина погасла, и изба погрузилась во мрак. Произошла свалка. Кого-то придавили, кого-то сбили с ног, кто-то даже крикнул «караул»...

— Анютка! Это ты? — пищал голосок.

— Не пущай ее! Ха-ха-ха! — вопили ребята.

Евгеша стала уже было пробираться подобру-поздорову к двери, как вдруг почувствовала, что чьи-то тяжелые лапы обхватывают ее, чьи-то толстые мокрые губы прилипают к ее шее, и какой-то шершавый сюртук прижимается к ней. Она живо высвободила одну руку и с размаху впотьмах хватила крепко кого-то по мягкой и потной роже; шершавый сюртук отшатнулся. Еще проходит секунда, кто-то вздувает огонь. Бледным, синеватым огоньком, шипя и потрескивая, загорается серная спичка. И при этом синеватом освещении перед девушкой мелькнуло лицо Евграфа Евстигнеевича, подергивавшееся отвратительной сладенькой улыбочкой, в то время как его левая щека горела ярким румянцем. Еще секунда, спичка светло загорелась, и Евгеша увидела уже в дверях лишь спину улепетывавшего преследователя.

— Одначе кого-то ловко смазали! — заметил один паренек, когда лучина зажглась по-прежнему и все пришло в должный порядок.

— Да, так жиганули кого-то! — отозвалась одна из девушек.

— Так их и надо, баловников! — отозвалась другая.

Никто не видал интимной сцены, происшедшей между писарем и Евгешей: только одна Евгеша знала, кого смазали, и помалкивала...

Но писарь не унимался; казалось, поцелуй впотьмах и здоровая смазка поддали ему еще жару. Наконец, сидя однажды в праздник с Евгешей наедине, он прямехонько повел речь о женитьбе.

— Я замуж никогда не пойду! — заметила Евгеша, слегка покраснев.

— Пустое-с! Девушки всегда так говорят! — самоуверенно возразил писарь.

— Что в замужестве хорошего?

— Как что! Сами хозяйкой будете... Теперь, примерно, хоть тетенька... Известно, она женщина хорошая, а все-таки подчас, поди, и скажет что и поворчит... И на месте ежели бы где жили, тоже не много разгуляешься!

— А замужем-то разгуляешься! — насмешливо заметила девушка. — Знаю я тоже мужьев-то. Маленько что не по-ихнему, сейчас и кулаком... На то же самое и наведет! Запряжет в работу, как казачиху, да и поедет на тебе! Экая, подумаешь, хозяйка!

— Это точно, что муж мужу рознь! — согласился Евграф Евстигнеевич, очевидно, подразумевая, что он был бы вовсе не похож на такого мужа, который «сейчас и кулаком». — Конечно, человек невоспитанный, это так, верно вы говорите... А есть мужья такие, что с жен-то пылинку сдувают!

— Такого-то мужа и днем с фонарем не отыщешь!

— Нет-с! Зачем-же так! Вон исправник-с... Раз, как я был у него в городе с бумагами... Жена только что откуда-то пришла... Спрашивает: душенька, не промочила ли ноги? Погода-то была в ту пору дождливая... А она: нет, говорит, душенька, не замочила! и чмок его— это самого-то... — Предпоследнюю фразу писарь произнес таким нежным, трогательным тоном, каким, вероятно, не говаривала ни одна исправница в мире.

Девушка невольно расхохоталась.

— А вы не видали, как Кузьмич свою Устишу за волосы треплет? — спросила она писаря.

— Необразованность мужичья, и больше ничего-с! Народ темный и обращенья не знает...

— Очень приятно, нечего сказать! — заметила девушка со смехом, и этим смехом кончилась беседа, потому что в избу вошла тетка.

Писарь, конечно, не отчаивался: ведь у него была в запасе дяденькина власть. Но время еще не ушло; он еще успеет обратиться к этому последнему средству. Писарь решил поприсматривать за девушкой до поры до времени.

А Евгеша той порой худела и худела. Ни Прокудов и никто на деревне не замечал, что девка сохла не по дням, а по часам. Только от зорких Аггушкиных глаз не укрылась происходившая в сестре перемена.

— А ты, Евгенька, тово... — говорил он ей между делом, когда она зашла однажды посидеть к нему в хатку. — Из лица-то ты как будто осунулась.

— Пройдет! — промолвила та, а у самой губы так и дрожат и слезы просятся на глаза.

— Гм! — мычит Аггушка. — Болесть, что ли, какая привязалась, а? Чего молчишь-то?

— Я, братец, совсем здорова! Чего ты? — в свою очередь изумилась Евгения.

Знала она свою болезнь, да как сказать-то про нее!

— Ну и врешь! Кабы здорова была, так щеки-то, гляди, не опали бы! — упорствовал брат. — Из Питера-то ты пришла, щеки-то у тя были ровно краской вымазаны. Еще Митюха говорил в те поры: не румяны ли Евгенья на щеки-то наводит?

— А ему-то что? — как-то вдруг странно оживляясь, спросила девушка, а глазки ее засветились ярким огоньком, и прежний румянец, казалось, готов уже был заиграть на смуглых щеках.

— Спрошай сама! Я почем знаю... — сквозь зубы процедил Аггушка, углубляясь в свою работу.

Красивая клеточка выходила из его грубых, мозолистых рук. Тоненькие прутики, вымоченные и распаренные в печи, гнутся в искусной руке, живо закругляются и образуют легкий сводик. Скоро будет готова клетка. Таких клеток Аггушка уже много понаделал; целый ряд их стоит у него на вышке. Вот ужо, по первому пути, свезет он их на Митюхиной Чалке в город и выручит за них деньгу. Аггушка сидел перед лавкой на низеньком, гнилом обрубке дерева, наклонив голову и позавесившись своими рыжими косматыми волосами. И с таким вниманием щурился он на прутики, прилаживая их друг к другу, и мычал и посвистывал, так глубокомысленно просверливал буравчиком дырочку за дырочкой в тонкой дощечке, что, право, можно было поду-

мать, что в те минуты вся его душа ушла в эти палочки и дощечки, которые грудой были навалены перед ним на лавке. На самом же деле было не так. Он подумывал о сестре: отчего она худеет и сохнет ровно цветок в поле, как хватит его первым морозцем. Не зная он бабьих болестей, не домекал, отчего девка может сохнуть и хиреть. Слыхал он, правда, что иной раз нападает на девку кручина, когда ей охота стает замуж идти.

— Тетка, может, тя уж больно ест, а? — спросил он сестру, помолчав.

— Огрызается, известно, да ничего... — отвечала та.

— А Гришка-то из-за меня поди тоже косится?

— Нету, дяденька — ничего!..

— Гм! — промычал Аггушка, снова углубляясь в свои прутики и дощечки.

А с Кряжевым Евгения за все это время виделась редко, все больше встречалась у брата. Кряжев ни полсловом не намекнул ей о письме, и девушка не знала, как отнесся к нему Дмитрий. Что он не воспользовался ее предостережением, об этом девушка уже знала по той драке в кабаке, о которой три дня сряду толковало Смурино, передавая с прикрасами из уст в уста слух о страшном побоище, причем Кряжев чуть не убил до смерти солдата и едва не разнес весь Алексашкин кабак. При встречах Евгеше мало удавалось с ним говорить. Только не шли у нее из головы те речи, что довелось ей однажды слышать у Крестов. Смуринские бабы смехом говорили Кряжеву: отчего он по сю пору себе хозяйки не ищет.

— Для чего мне хозяйка! Я сам себе хозяин! — отвечал он тоже как бы смешком. — Да что у нас и за девки! Все какие-то гнилые, бог с ними... А мы теперь с служивым важно живем...

— Так и не поженишься? — приступала одна бойкая бабенка.

— И не поженюсь! — решительно ответил Дмитрий.

Только и было. Кряжев отошел к мужикам, стоявшим у питейного; бабы посмеялись, потрунили над ним и загалдели о другом. А Евгеша все слышала и все запомнила.

Брат с сестрой долго сидели молча. На дворе было непогоже. Ветер завывал по полю, и нет-нет так дунет, что вот, думаешь, сейчас и снесет Аггушкину хатку с крутого косогора, где она приютилась на самом юру.

Сухим снегом сыпало в оконницу и заносило избушку.

— Ишь как стонет! Точно убивают кого... — вполголоса промолвила Евгения, прислушавшись к завыванию ветра и сидя подгорюнившись у окна. — О господи, прости нас, грешных!..

Опять помолчали.

— И не боязно тебе, братец, одному здесь зиму-то жить, а?

— Чего боязно! — переспросил Аггушка. — Воры да разбойники на меня не польстятся, потому корысти мало, а голову-то им поберегать надо... Голову-то проломлю, да исшо и не одну, гляди. Сунься-ка! Топор-то вон! — И Аггушка кивнул головой в ту сторону, где из-под лавки действительно поблескивало острие топора. — Мне, Евгенька, бояться нечего, — продолжал брат, осторожно нагибая прутик. — Вашим закручьевским бояться можно, — это так! Потому перво-наперво, что уж больно толсты, скоро-то и не поворотишься... А польститься-то у них есть на что. А у меня ни ворам красть, ни огню жечь, ни воде топить, как есть нечего. Вот разве клетки... — Аггушка усмехнулся, тряхнул головой и, закинув назад волосы, поглядел на сестру. — Никоего лешего не побоимся...

В ту самую минуту в сенцах захрустел снег под чьими-то тяжелыми шагами, кто-то завозился, отыскивая скобку. Евгения вздрогнула и обомлела от испуга.

— Ой, братец! Кто это? — шепнула она.

Дверь распахнулась, и весь в снегу вошел в избу Кряжев.

— Дай, брат, струга! — сказал он, постукивая о порог ногой и стряхивая с себя снег. — Ну и вьюга же... Хошь глаз выколи! — добавил он.

Аггушка отыскал под лавкой струг и подал его Дмитрию.

— Я думал, ты на мельнице! — заметил Аггушка, почесываясь и выпрямляясь над своей работой.

— Нету! Служивый за меня поехал...

— Шибко ты Евгеньку у меня испужал... Чуть не померла со страху, инда побелела... — сказал Аггушка, усмехаясь.

— Да ты, братец, все «черт» да «черт»! — перебила его девушка.

— А мы разве на черта не похожи? — спросил Кряжев.

— Чтой-то вы говорите такое! Ровно вы, право, сговорились... И то еще опомниться не могу. Сердце так и бьется... — И девушка приложила к груди руку, словно желая прислушаться, как скоро бьется ее сердечко.

Сердечко и вправду билось очень сильно. Кряжев искоса поглядел на собеседницу, вспомнил реку и ясный летний вечерок, и красивую женщину, выходившую из воды. Он отвернулся, сел как-то боком к девушке и засвистал, глядя на закоптелый угол печи.

XII. ЛУЧИНА ДОГОРЕЛА

Прошло после этого вечера несколько дней. Служивый заседал в кабаке с вечно пьяненьким Абрамкой. Целовальник взглядывал на них своими косыми глазками и прописывал что-то в книжке, немилосердно муслям кончик огрызанного карандаша. Пьяненький мужичок долго сидел молча, понурившись, как бы раздумывая о чем-то; вдруг он с решимостью поднял голову, скинул с себя рваные сапоги и подошел с ними к стойке.

— Возьмешь? — неуверенно спросил он, умильно взглядывая на целовальника.

— Дрянь-то этакую? Да чего тут... почитай, одни дырья... — презрительно заметил тот, поворачивая перед собою сапоги и косясь на них своими прищуренными глазками.

— Голенища-то целые! — возразил Абрамка.

— А это... это что? А тут вот... — указывал ему Лексашка, тыча пальцем в дырья и в порыжевшую, истрескавшуюся кожу сапог.

— Ведь стóят же что ни на есть! — робко проговорил Абрамка.

Целовальник молча опустил сапоги на пол, к ногам их хозяина, а сам опять принялся за карандаш и наклонился над прилавком с таким видом, как будто и толковать не стоило.

— Ну, так как же, а? — спросил Абрамка, поднимая сапоги наравне с головой.

— Две косушки получи! — сквозь зубы процедил целовальник, не разгибаясь и не глядя на вопрошавшего.

— Это как же? Нут, уж ты, Констенкиныч, того, знаешь... — возроптал крестьянин, судорожно запахивая свой азямишко.

Целовальник помолчал, словно бы и не слыхал ничего. Абрамка отошел, сел на лавку и снова понурился. Погодя немного, он подошел к прилавку.

— Ну тя! Бери! Две косушки да гривну денег... На! — сказал он, подавая сапоги.

— Шел бы ты лучше домой, почтенный! — посоветовал ему Лексашка и, спрятав книжку в выручку, громко позевнул и потянулся.

— Не дашь? — приступал мужик.

— Не дам! — решительно, вяло ответил целовальник.

— Ну, так черт с тобой! Давай две косухи...

Целовальник посмотрел на сапоги, забросил их в угол и выставил перед мужиком две косушки сивухи. Служивый тем временем подремывал... А Абрамка не всегда так пил, как в ту пору, когда читатель познакомился с ним в кабаке у Лексашки Косого. После отца ему досталась хатка не хуже всякой другой смуринской хатки и хозяйство нераженькое, но такое, что на Смурине с ним всякий дурак бы прожил. Абрамка женился, прижил сына, и все шло ладно. В питейный он заходил только в праздники, да и то не каждый раз, недоимки большой не накоплялось, и жили себе добрые люди, да вдруг понадобилось его хозяйке оставить на дворе горящую лучину и понадобилось зачем-то петуху взлететь с навозной кучи на насест и сбить крылом лучинку в ворох соломы. Солома загорелась, затлелся сухой помост, и не успел Абрамка очнуться, как уже весь двор занялся. Дунул ветер на избу, и изба загорелась. Соседи спасали свое добро, бегали, орали, и никто никого не слушал. Лишь несколько человек прибежали на помощь к Абрамке, да и то уж было поздно. К утру от избы остались только почернелая печь да груда обожженных бревен, и Абрамкина хозяйка с воем бродила весь день по пожарищу, чего-то ища. Насилу-насилу Абрамка обстроился, при помощи тринадцати рублей тридцати семи копеек, полученных им в пособие «на погорелое место», как вдруг скотинка поколела — вся как есть, до последней ярочки. В долг Абрамке никто уже не верил. Той порой недоимки за ним накопилось много. Абрамку позвали в правление. Дня два или три после того ходил он ровно в воду опущенный... Погодя малость, его опять сводили в расправу. Сынишка, мальчуган лет восьми, захирел с чего-то, и пришлось его та-

щить на погост. Вместо него, как на грех, жена родила еще двух девочек. Хозяйство падало все пуще и пуще. Тут Абрамка слюбился с одной солдатской вдовой; своя хата, жена и малые детки ему опротивели. Жена плакала, ругалась; Абрамка колотил ее. Раз даже привел он к себе в избу солдатку и вместе с нею шибко побил свою хозяйку. За такое озорство старики порешили Абрамку высечь с его любезной — и высекли. После того Абрамка вовсе уж перестал жить дома, перебрался к солдатке и проживал то у нее, то у Лексашки в кабаке. Недоимки росли. Мир уж давно порешил, что Абрамка «сбился вдосталь». А жить-то он думал прежде совсем не так. Впрочем, Абрамка был не один; много у него насчитывалось товарищей по смуринской волости...

Кряжев в тот вечер сидел у себя в избе перед лучиной и, справив свою работу, готовился отходить ко сну. Ветер выл на дворе; белесоватая зимняя ночь давно уже заглядывала в оконце. Кряжев только поджидал Назарыча.

— Ну, вот никак и он! — проворчал Дмитрий, заслышав, как в сенях захрустел снег и за дверями раздался шорох.

Дверь отворилась, и седой пар клубами повалил в избу, но не служивого увидел на этот раз Кряжев перед собой. Из-за седого пара явственно рисовалась перед ним знакомая женская фигура, мелькала темноволосая головка и на ней яркий, пунцовый шерстяной платок. Пар рассеивался, стлался по полу, и теперь прямо на Кряжева смотрели знакомые глаза. Кряжев не встал, даже не пошевелился. Евгения тихо подошла к нему и села на лавку.

— Старик-то в кабаке? — спросила она вполголоса, оглядываясь по сторонам.

— А ты зачем? — невольно сорвалось у Кряжева с языка.

— Я, Дмитрий Михайлыч... — начала было девушка, но вдруг голос ее оборвался, и рука потянулась к Митюхину плечу.

— Послушай... Ведь я николи не женюсь! — дрогнувшим голосом молвил Кряжев. — Потому, не приведи бог с бабой вязаться... Не беда, коли бедна одна голова... А тут и совсем согрешишь.

— Я и сама не пойду замуж, ежели... Не хочу и не хочу... — перебила Евгеша, прямо взглядывая Кряжеву

в глаза. — Только скажи, по нраву ли я? Полюбилась ли? А я... я... Дмитрий...

Евгения остановилась, тяжело дыша. Грудь ее высоко поднималась; лицо горело, как в огне; глаза поминутно затенялись дрожащими ресницами; губы полураскрылись. По всему было видно, что жгучая страсть охватила ее всю...

— Гм! М-м... — промычал Кряжев, как бы отыскивая и не находя слов.

— Я уйду, уйду, уйду! — скороговоркой молвила девушка сквозь слезы.

Ветер с страшной силой дунул в ту минуту, со свистом обогнул за угол Митюхиной хаты и с воем-ревом понесся за околицу.

— Нет! Ты уж теперь не уйдешь отсюда! — прошептал Кряжев, как-то вдруг раздражительно рванувшись с места. — Ежели ты сама пришла... и ежели говоришь... Ну так...

Необычный румянец загорелся на его щеках, глаза блеснули... И в то же мгновение девушка почувствовала, что ее обняли, да так крепко, так страстно, как ей не снилось и во сне... Лучина догорела и потухла. Красные искры сыпались на щелеватый пол... Ветер, как бешеный, ревел кругом хатки и стонал душу надрывающим стоном.

XIII. ЗАГАДКА БЕЗ РАЗГАДКИ

— А отец-то благочинный ведь свое дело таки уладил! — говорил однажды вечером Кряжев Верхозову, сидя у него в комнатке перед топившеюся печкой. — Закручьевские наши ребят к нему в школу отдают... человек пять уж набралось. Это все, значит, нам назло! Да у себя по деревням с десяток пареньков нахватали. Вот теперь, глядишь, у них уж больше двадцати... Чирков, Кузьма Иваныч, помочь обещает... А про нашу школу какие слухи пущают — страсть! У нас и тесно, вишь, и темно, книг мало! И про вас тоже, Владимир Митрич... В бога, говорят, не верите...

Кряжев покуривал свою трубочку, и дым серыми клубами тянулся к печному устью. Верхозов только что кончил занятия в классе и отдыхал. Он разгребал кочергой уголья и задумчиво смотрел в огонь. Верхозов, казалось, рассеянно слушал Кряжева и лишь молча покачивал головой на его рассказ. Отсвет огня прямо па-

дал на его смуглое худощавое лицо с темною бородкой и на его красную рубаху, выпущенную сверх штанов, заправленных в длинные сапоги. Кряжев оставался в полусумраке. Две тени их, колеблясь и дрожа, неясно рисовались в уродливых громадных размерах на гладком деревянном потолке. Свеча была еще не зажжена, и дальние углы комнаты пропадали впотьмах.

— Гм! Так говорят, что я не верю в бога? — с усмешкой переспросил учитель. — Как же это узнали? Я здесь, кажется, еще никому не исповедовался!

— Не знаю уж, как это... — отозвался Кряжев. — Говорят, что ребята у нас слово «бог» маленькой буквой пишут. Это, вишь, Семен Васильич у кого-то из наших тетрадку видел... Может, и выдумал...

— Нет, не выдумал! — усталым голосом проговорил учитель. — Мои ученики пока еще только маленькие буквы и пишут...

Учитель закашлялся каким-то глухим, сухим кашлем и кашлял, кашлял долго. Он протянул ноги, откинулся на спинку стула и провел рукой по лицу. Горячий румянец, пятнами выступивший на его лице, быстро сбежал, и лицо его побелело, как у мертвеца; темные глаза прямо смотрели в огонь... И опять молчание. Кряжев поднялся наконец с места, запихал свою трубочку за голенище сапога и, как будто бы уж собравшись идти, взялся за шапку. «Ишь ты, сердечный, как мается! Донимают его... Пущай сдохнёт!» — промелькнуло у Кряжева в голове. Но он продолжал мять в руках шапку и не уходил.

— А я, Владимир Митрич, насчет того опять... — начал Кряжев, переступив с ноги на ногу.

— Что это? Насчет артели? — перебил учитель.

— Да! Вы вот вечор говорили о земстве...

— Ну что же! Земство поможет... — как-то вяло, словно нехотя, проговорил Верхозов. — А больно вам охота эту артель устроить, а? Вы думаете, что с артелью вы, как в раю у господа, заживете!

— До раю-то где же нам? — возразил Кряжев. — А все же полегче будет... Ведь мы теперь на кого убиваемся, из последних кишек лезем? На кого? Все на закручьевских. От них и железо покупаем, им и гвоздь продаем. Все к нам через ихние руки идет, как есть все. И все это в ихние руки плывет задешево, а к нам — втридорóга. Ну, вот тут и рассуди... Я онамеднись еще

не все порассказал вам... Хошь, примерно, зимой... Принесет им крестьянин гвоздь-то да в холодной горнице простоит с час и больше, все ждет ихнюю милость. А они не поторопятся — ни на столечко! Мужик-то продрогнет, зуба с зубом не сведет. До счета ли уж тут, знамо дело! Пропадай лишний гвоздь; из-за копейки торговаться не будешь, как мороз пальцы сводить зачнет. Тут кабы только развязаться да в избу... Вот ведь как у нас! Ловко машина подстроена.

Кряжев приостановился; учитель слушал и молчал.

— Положим, я в городе железо покупаю и гвоздь туда вожу на продажу, — продолжал Кряжев, с расстановкой и запинаясь. — Ну, мне, значит, и ладно. Меня, значит, не стригут и не бреют. И злятся же за то, боже ты мой!.. А мне-то, вишь, как будто бы... совестно... Потому, я один этак-то... Я уж давно об этом думал. Жаль ведь, ей-богу, жаль! Ну что ты тут поделаешь, а?

Кряжев печально покачал головой, и глаза его тревожно, вопросительно уставились на учителя.

— Ну что ж! Хуже не будет, может статься... — заметил тот, ероша свои коротенькие волосы и раздражительно, по обыкновению, покачивая ногой. — Только закручьевцам ваша артель будет не на задний зуб. Что им артель! Вы думаете: кроме как на гвоздях да на железе, им и прижать вас будет нечем? На сто ладов вас прижать можно...

Темное облако пробежало по открытому лицу Кряжева. Он как-то недоумчиво перевел глаза с учителя на темневшее окно, задумался и, по привычке, поднес палец ко рту, как бы силясь что-то сообразить...

— Добрый вы человек, Дмитрий Михайлыч! — заговорил опять Верхозов, поднимаясь с места и ходя по комнате. — Хороший вы человек, говорю вам по душе... А все-таки не сделаете вы того, что вам охота.

Далеко за полночь просидел Кряжев у учителя.

С недавнего времени, то есть с той поры, как касса и лавка пошли хорошо, Кряжева стала осаждать все одна и та же мысль: отчего бы им всем, кузнецам смуринским, не сложиться и не покупать железо в городе сообща, отчего бы не продавать им также сообща свой гвоздь гуртом. Ведь закручьевцы от них получают постоянные и верные барыши, и с этих-то барышей у них и лавки заводятся, дома строятся — один другого выше, один другого красивее, земля прикупается, выраста-

ют хуторки, деньги в кубышке копятся да копятся. А у смуринцев избы валятся, печи готовы рассыпаться по кирпичикам, крыши дырявы, а все оттого, что, коли соломы мало, так с крыш таскают для подстилки скоту, а иной раз она и в корм идет, будто и заправский корм. Отчего же и скотина-то этак мрет на Смурине каждую, почитай, весну!.. У смуринцев карманы пусты, по амбарам пустым знай только ветер в щели насвистывает... Смуринцы все в долгу да в недоимках на веки вечные. А покупай они железо по настоящей цене, продавай гвоздь, как быть да следует, — вот и лишняя деньга у них в мошне забрякала бы, крыши у изб прикрылись бы, печи поправились, и пол подновился бы: не пришлось бы по зимам в избе в полушубке сидеть да мерзнуть. И не помирали бы ребята с холоду, не колела бы скотина с голоду да от всяких болестей. Подати бы платить, недоимки делались бы меньше... Эх! И все бы это могло быть, да только как сладить с этим делом? Трудно.

Сговорить смуринцев на артель Кряжеву казалось потруднее устройства и кассы, и лавки, и всего, что только он ни задумывал до сей поры. Смуринцы испокон веков так-то работают; привыкли они к кулакам — и думушки у них нет, что дело можно бы и иначе повести. Да и деньги нужны... Нищие — плохие вкладчики. Кто же поможет Кряжеву в этом многотрудном деле? Лисин? Ненадежная подмога Лисин; за ним самим нужны глаза, а то, того и гляди, обморочит! А закручьевцы просто ошалеют со злости, только зачни, только словечко молви об артели...

А много бы можно было поделать хорошего, ежели бы удалась артель...

И чудесный сон приснился Кряжеву в ту ночь. Сидит он будто бы перед наковальней и кует своим тяжелым молотом так быстро-быстро. Только уж теперь он не в своей маленькой, низкой кузнице; он уже не упирается головой в потолок, поднимаясь с места. Нет! Теперь он работает в большой-большой кузнице, в высокой и светлой. И работает тут он не один, много народу работает с ним. Вон и Федор Горелый, и брат его Дема, и Абрамка, и Назарыч, и брат Василий, и сосед его Лукьяныч, и старшина их Сысой Иванов — все смуринцы налицо. Все они работают шибко-шибко... У каждого своя наковальня, свой молот. Дым не ест глаза: чад уходит в

отдушины в потолке. И не жарко... В большие открытые окна синее небо светит, и солнышко таково весело и радостно заглядывает в кузницу, словно в христов день. И, как в христов день, легко и радостно на душе Кряжева. Ребятишки гвоздь уносят домой в плетеных коробушках; бабы в двери заглядывают и не ругаются. «Обедать пора!» — кричит Кряжеву Евгеша, и голосок ее звенит, ровно колокольчик. И такая-то она нарядная. Пунцовая ленточка у нее в волосах, и ветерок эту ленточку пошевеливает. Щечки так и пышут, глазки огнем горят, а губы алые пораскрылись, — и вся она, как сама радость, чиста, светла и лучезарна. Теперь она еще лучше, чем была на лугу, о Николе...

А кузнецы той порой какую-то песню поют. Песня прекрасна. Песни лучше ее Кряжев в жизнь свою не слыхивал. Только никак он не мог в памяти ее удержать, чтобы потом дома сыграть ее на своей гармонии. Уж он слушает-слушает, силится запомнить, но нет! Как только звук вылетит, так в то же мгновенье и пропадает, забывается, как будто бы его и не было совсем. А чудесная песня так и разносится по кузнице, из окон рвется и несется далеко-далеко — и в полях звучит, и в лесу гремит, по реке плывет, отдается за болотами, ветром по поднебесью разносится...

Стучат молоты, летят-сыплются красные искры и тлеют на земляном полу, покрытом серою золою. Огонь пышет в горнах; меха пыхтят, раздуваются. Пот льет с красных лиц, бежит по спине под рубахой; а гвоздей целые груды, как горы, так и растут... «Вот так-так! — думает Кряжев. — Этак-то вольготнее будет!» И не удивляется он ничему, ровно так и быть тому следует. Любо ему смотреть, как все ловко, не переставая, работают; все трезвы, здоровы и веселы... А чудесная песня все несется и несется без конца...

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

I. В ОЖИДАНИИ АНТИХРИСТА

Трескучие морозы прошли: подули февральские ветры. На Смурине все обстояло благополучно. Придел Ивана Богослова был уже подновлен и освящен. За подновление его Кузьме Ивановичу Чиркову пономарь за обедней первому выносил из алтаря просвирку на серебряном блюдце; Кузьма Иванович после молебна в царский день первый подходил к кресту. И пыхтел он, и воздымал очи горе, и вздыхал во всеуслышание. Учитель, как говорили, по болезни скоро должен был оставить смуринскую школу. Слух шел, но откуда? — неизвестно. Антон Кудряшев открыл еще один кабак на закручьевской стороне. Пятерых ребят за зиму «мокроткой» задушило; двое родились. Трое пьяных замерзло на дорогах. Закручье по-прежнему жирело, толстело и копило деньжища; в смуринских кузницах по-прежнему с раннего утра стучали молоты, вздыхали меха. Так шли вообще дела. В частности же, Абрамка пропивал последний женин холст, таскаючи его украдкой к целовальнику, а тот, «рыжий черт», как звал его про себя Абрамка, глядел на него из-за прилавка своими косыми глазками, словно дожидаясь, скоро ли же Абрамка запродаст ему за косушку свою душеньку. Жена плакалась на него миру; недоимки на нем росли; уже два воскресенья подряд секли Абрамку в правлении.

— Такая уж линия, значит, нашла! — говорил он махая рукой. — А недоимки... Нешто я их уплачу когда ни на есть.

Абрамка, как и многие из смуринцев, совершенно отрицал возможность уплаты недоимок и на дерки, повторявшиеся периодически, смотрел как на неизбежное явление — вроде перемены дня и ночи или времен года. Абрамка и с ним другие смуринцы со вздохом посматривали на закручьевские хоромы и, не говоря худого слова, держали свой путь под сень вечнозеленой елочки. Там, за шкаликами и косухами, они становились речистей и смелее. Ну его, Сысоя Иванова, и с писарем, и со всем правленьем, и со всеми податями, с порками и розгами! А ну их, закручьевских богачей, с амбарами и с толстыми мошнами, с их зимней наемкой под летние работы, со всеми их каверзами и прижимками! Ну их

совсем!.. Смуринцы здесь оживают: ни жен, ни плачущих ребят нет перед ними. Им тепло, на сердце веселеет, и с хрипом рвется из груди пьяная, бесшабашная песенка. И тащат, тащат смуринцы из дому последнее лохмотье, последнюю надтреснутую дугу, а «рыжий черт» так-то любовно косится на них из-за стойки.

А есть и такой смиренный народ, что и адского зелья не лачет. Вон брат Митюхин, Василий, — из последней силушки выбивается, тоже весь в недоимках, вязнет и тонет в них, словно в болоте, и только что думает приподняться, глядь — ан того ниже опустился. Так вот и всасывает и всасывает его в омут. По избе ветер так ходенем и ходит, печь дымит во все щели, словно сама загореться собирается. Жена ноет: то корму для скотины нет, то мука́ вся вышла. Тошнехонько, душу воротит, — а Василий все-таки не идет в кабак.

— До могилки, знать, уж маяться! — говорит он, словно позабывая свои нелепые мечтанья.

И слышно в каждом его слове, что человек забит, пришиблен наповал...

Аггушка той порой клетки мастерил, ходил за риги на куропаток и на «чучелки» за тетеревами. С сухим треском раздавались его выстрелы то в поле, то прокатывались по лесу из конца в конец.

— Аггушка палит! — прислушиваясь, говорили на деревне.

Евгения пока беспрепятственно совершала свои прогулки в хатку Кряжева прямо через реку. Дома она сказывалась, что идет на посиделки, а на посиделки всегда являлась позже всех... Раз пришла она к Кряжеву сильно взволнованная, в слезах. Назарыча не было дома, но девушка все-таки шепотом и почти на ухо передала своему возлюбленному одну тайну. Отец ее бежал из Сибири и еще летом как-то пришел в их сторону. Он все скрывался у Аггушки, но девушка узнала об этом очень недавно. Старик тому назад с неделю вдруг заболел, и брат по его просьбе привел к нему Евгешу. «Вся в мать, живая как есть...» — пробормотал старик, увидав ее перед собой. Шибко он был измучен. Брат говорил, что вся спина у него иссечена, а на ногах кандалы протерли тело до костей. Старик за последнее время не мог двинуться, не мог пошевельнуть ни рукой, ни ногой.

— Глядеть я не могла на него, как он, сердечный маялся! — говорила девушка, утирая слезы. — Помер...

Братец вчерась стащил его в лес, зарыл в снег, покуда земля не оттает... А там похоронит ужо.

Так все разом и объяснилось Кряжеву. Вот что значило летнее видение в лесу; вот отчего у дверей Аггушкиной хатки появился замок и Аггушка стал так не жаловать гостей! Об отце его уже столько лет не было ни слуху ни духу; все на деревне думали, что он уже помер, и никто не поминал о нем. Кому же пришло бы в голову, что у Аггухи на бугре такой гостенек гостит?

Писарь все еще никак не мог ума приложить; неужто же и в самом деле он так-таки и не нравится Евгешеньке. Дело как будто бы вовсе уж нестаточное. И в досужие минутки он часто думает, какую бы такую махинацию подвести, чтобы Евгешенькино сердечко в полон забрать. Уж грызет он, грызет свои толстые грязные ногти, и никакой махинации не лезет ему в башку. Уж как он ласков с ней, и боже ты мой! Какие стихи он в тетрадь вписывает — просто ума помрачение, да и только!..

Но все было напрасно: Евгеша не уловлялась в расставленные ей губительные сети. А девушка к тому времени, как назло, поправилась и пополнела из лица. Идет, бывало, по улице в своей питерской шубке, сдвинет свои черные брови, а щечки на морозе горят, как маков цвет. И хорошеет она не по дням, а по часам — на горе Евграфу.

— Гляди-кось! Евгешка-то... Фу-ты, ну-ты! — говорят бабы, глядя на Евгению.

Писарь только томится и облизывается.

А Дмитрий Кряжев с Назарычем поживали ладно. За это время дело об артели подвинулось-таки вперед. Назарыч, слушая по вечерам Кряжева, постукивал по столу своим здоровенным кулаком и даже раз, помахивая трубочкой, грозно прорычал:

— Мы им засветим! Мы им глаза-то протрем! Ха!

Кряжев и сам усмехнулся, глядя на старика, собиравшегося, словно на войну.

— Ну, Андрей Назаров! Ты у меня держись только! — хрипел служивый, заочно обращаясь к своему братцу — к Беспалому и страшно вращая глазами.

— Ты погоди еще стращать-то их... Думаешь, так вот они и дались! — останавливал его Кряжев. — Нет, милый человек! От них подвохов-то будет еще не убраться...

— Ну, так — в атаку! Раз, два, три — и марш! — командовал Назарыч так усердно, что оконницы вздрагивали. — Мы их пужнем! Небо в овчинку почудится!

Кряжев уговорил-таки смуринцев завести артель. Мужик сер, да ум-то, говорят, у него не черт съел. Смуринцы поняли, что работать на себя и покупать железо в складе им будет выгоднее, чем забирать его у своих доброжелателей, что продавать гвоздь самим в городе, помимо кулаков, опять-таки будет выгоднее. Эти соображения бродили еще и прежде у них в головах. Только никак они не могли додуматься, возможно ли этому быть, а если возможно — так каким манером состряпать дело? Вот тут-то подмога Кряжева и пригодилась им. Он первый сказал им, что это возможно, и растолковал, как и что надо сделать для того. Нужно сперва сговориться, потом написать условие да послать к начальству на просмотр; затем на первый раз надо откуда ни на есть денег достать — только не от кулаков. А там уж дело само пойдет как по маслу.

Смуринцы — по-своему тоже народ практический, не увлекающийся. Вдоволь покачали они головами, почесались, поохали; уж ворочали они — ворочали одно и то же на разные лады. Со стороны, право, иной мог бы счесть их за дурачье... Но народ — не дурак. И смуринцы в конце концов согласились, потому что дело-то было уж очень просто и хорошо. Шибко забавляла их одна мысль: они будут обходиться помимо закручьевских, как ровно бы со Смурина те вдруг куда-то подевались.

— Как же это, братцы, они на нас глядеть-то будут? — спрашивали смуринцы.

— Очки, надо быть, в городе купят! — замечали остроумцы.

Когда Кряжев открылся Лисину, тот «со всем его удовольствием» ухватился за артель. Его рысьи глазки страсть как разбегались; казалось, и удержу не будет им.

— Мы уж постоим! — сказал он с жаром. — Анекдот выйдет преотличный... Не будьте в сумненье... Вот ужо как-нибудь на неделе в город поеду по своей надобности, зайду к Федору Иванычу... Мы уж с ним все обсудим и обладим, как быть следовает. Ведь он у нас там все ворочает. Голова! Все у нас по его дудке пляшут. Потому — сила!..

Здесь должно заметить, что Лисин под словом «у нас» разумел, обыкновенно, земскую управу, так как состоял гласным. Пугали Кряжева разбегавшиеся без удержу его рысьи глазки и его горячая готовность хлопотать с ним заодно об устройстве артели, да делать больше было нечего. Как уж Кряжев ни прикидывал обойтись без Лисаньки, а все выходит клин... Зато Кряжев настрочил его так, что Лисин днем раньше поехал «по своей надобности» в город, поехал и повидался с Федором Ивановичем.

Федор Иванович Вальд был еще молодой человек, лет тридцати шести, и чрезвычайно близко принимал к сердцу дела земства. В описываемое время он состоял членом управы, но ему уже сулили председательство. По крайней мере сам старик председатель, человек с большим весом и влиянием в среде черешинского помещичества, указывал своим партизанам на господина Вальда, как на желаемого себе преемника. Да и все в уезде почти уже смотрели на него как на человека, идущего в гору. Только сам г-н Вальд по наружности вовсе не походил на героя, восходящего на высоту. Он ходил тихо, понурившись, низко опустив плечи, словно под непосильною тяжестью. Ходил он каким-то колеблющимся шагом, и, глядя на него идущего, его невольно приходилось сравнивать с тростинкой, ветром колеблемой, или с утлым челном, без весла и руля ныряющим по произволу морских волн. Его большие светлые глаза смотрели сонливо и как-то чрезвычайно неопределенно, словно бы они просились спать. Голос был мягок и нежен. Его лицо было красиво, хотя несколько женственно; руки — белые, мягкие. Русые волосы его зачесывались назад, но часто падали ему на глаза. Все манеры его, медленные и вялые, указывали на то, как будто Федор Иванович устал, что ничего ему не надо: «Уйдите от него, пожалуйста! оставьте его в покое!..» Это снаружи. Но были такие вопросы, которые и его заставляли воспламеняться. Например, помнят, как однажды — когда чтения из русской истории и литературы, устроенные им в Черешинске, были оборваны на полуслове, без всякой, по-видимому, осязательной причины, — Вальд словно весь вдруг загорелся и так швырнул чернильницей об стену, как едва ли швырнул ею в черта и сам Мартин Лютер.

Господин Вальд, между прочим, совершенно чисто-

сердечно веровал в артель, веровал в то, что артели суждено обновить старый мир. Перед умственными очами Федора Ивановича и во сне, и наяву, и в мечтах, поминутно и на каждом шагу созидались артели, артели и артели, и люди блаженствовали в них...

Вот к этому-то доброму малому и явился Лисин для переговоров насчет предполагавшейся кузнечной артели в селе Смурине.

— Садитесь! — сонливо и вяло проговорил Федор Иванович, указывая гостю на стул. — Присядьте! Что скажете новенького?

Молча слушал он Лисина, под конец встал и ленивой походкой забродил по кабинету — верный знак, что артельный бес начинал его мутить. Походит-походит, постоит перед Лисиным, заложив руки за спину, промычит «н-да» и опять заходит. Он поминутно сбивает ковер и поправляет его; он почесывает за ухом, гладит бороду. Шаги делаются все тревожнее и тревожнее; ноздри у него начинают раздуваться, как у человека, пробуждающегося от сна. Одним словом, Федор Иванович проявляет в себе все симптомы страданий, которые обнаруживаются в нем каждый раз, когда он испытывает на себе наваждение артельного духа.

— Вот по этому самому, Федор Иваныч, мы уж к вам и обратились! — заканчивает Лисин свою повесть. — Похлопочите... И насчет устава-то... да и деньги-то вот тоже... Мы так уж все и решились...

— Хорошо, хорошо! Ладно, что вы надумали ко мне прийти! — отозвался г-н Вальд, опускаясь глубоко в кресло, уж вконец угнетаемый преследующими его призраками. — Это все возможно... У нас, в Черешинске, кузнечная артель не пошла совершенно по особенным причинам. Тут просто каверзы вышли... А это мы устроим. Вы так вашим и скажите!

Затем г-н Вальд счел возможным поговорить о Шульце-Деличе*. Лисин, как ни напрягал свои рассудочные средства, уловить из его рассказа ровно ничего не мог и ограничился лишь тем, что полюбопытствовал узнать: из благородных ли Шульце-Делич, или из простых?..

---

* Известный немецкий ученый, предлагавший устраивать артели. *(Прим. П. В. Засодимского.)*

Недели через две Кряжев опять протурил Лисина в город. Лисин на этот раз привез смуринцам обещание Федора Ивановича выхлопотать им от земства на устройство артели заимообразно шестьсот рублей серебром, с уплатой в десять лет — в полугодичные сроки или в иные, как окажется для них удобнее. Затем Лисин привез черновой образчик артельного устава. В уставе Кряжев, по соглашению со смуринцами, сделал некоторые необходимые изменения и дополнения. Наконец после многих сходок, после толкотни и рассуждений вкривь, и вкось, и впрямь, как вообще бывает на больших собраниях при новом деле, устав был написан. Целиком приводить его мы не считаем нужным, для желающих укажем лишь на некоторые его параграфы, а читателей, интересующихся наиболее всего романом, мы отсылаем далее...

§ 6. Членами артели могут быть только кузнецы-работники, и никто из артельщиков не имеет права поставлять в артельный склад гвозди, сработанные наемными рабочими.

§ 9. Артель имеет право во всякое время делать поверку книг, счетов и артельного имущества, находящегося в заведовании старосты и его помощников, и также наблюдать за всеми их действиями.

§ 12. Каждый артельщик за убытки, причиненные им артели, отвечает своим имуществом.

§ 16. Выходящий из артели имеет право на получение принадлежащей ему части из барыша только за то время, по которое он состоял в артели.

§ 21. Все участвующие в настоящем договоре и принятые впоследствии, которые по ревизским сказкам составляют одну семью, имеют только один голос.

§ 25. Каждый член артели вносит каждый месяц по 20 коп. сер. для составления запасного артельного капитала.

«Договор сей, — значилось в заключении, — по явке в волостном правлении, должен быть соблюдаем нами свято и ненарушимо до скончания жизни».

Особенно много хлопот стоило Кряжеву ввести § 25, но он все-таки провел его.

Лисин с Кряжевым свезли устав в город, а там уже и пошел он странствовать по белу свету. От г-на Вальда он перебрался в Черешинскую почтовую контору, оттуда в тюк, на котором поскакал почтальон до стан-

ции железной дороги; затем устав полетел по чугунке и благополучно прибыл в большой город, был перевезен в почтамт и наконец попал в такие хоромы, о каких смуринцам матери и пестуньи их никогда и в сказках не говорили.

Когда еще был не у шубы рукав, то есть когда устав еще не писался и денег у смуринцев еще не имелось в виду ни гроша медного, слух об артели уже ходил по деревням, везде возбуждая толки, догадки и споры.

— Ведь артель-то такая была уж в городе заведена... Да что из нее вышло? Так, пустое... — говорил Антон Кудряшев Лисину.

— Нет, кум! Не знаешь ты этих делов! — важно возразил ему Лисин. — Там, брат, особенная причина была, а не то чтобы... Федор Иваныч уж в этом деле до конституции дошел, потому голова, весь ниверсет прошел... Шульцедеева слыхал? — высокомерно вдруг закончил Илья Петрович, переступая с ноги на ногу и засовывая в карманы руки с сознанием своего торжества.

Но Антошка, сверх чаяния, не поразился нимало на этот раз ученостью и глубиной глаголов Лисина.

— Из тутошных, надо быть! — почти с пренебрежением отозвался Кудряшев. — А что нам Шульцедеев... Наплевать! Нам и посредник-то фю-фю!.. — И кулак присвистнул вызывающим образом. — Мы и сами с капиталом... Не больно испужались... Шульцедеев! Ишь сказал что!.. Гм!

— Профинтятся ужо! — говорил Прокудов Андрею Беспалому. — Уж Митька угодит их! Завоют во-о как, не своим голосом!

Когда же устав был послан на утверждение и о деньгах Лисин с Кряжевым заговорили так, как будто бы те были уже у них в руках, когда наконец самый пропащий смуринец, мразь и пропойца, вроде Абрамки, затолковал про артель, как про такое дело, которому быть не миновать, тогда Закручье просто взбеленилось. Закручьевские из сил выбивались, чтобы усовестить старшину и писаря вступиться в это дело.

— Вздорный народ бунт затевает, а ты, Иванов, и ухом не ведешь, ровно не твое и дело! — внушительно говорил старшине Прокудов, зайдя раз к нему в правление. — Да это что же такое у нас будет, а? Смута-то эта кончится али нет?

— Таперь, Григорий Иваныч, мы ничего не можем,

потому ничего и нет исшо! — урезонивал старшина закручьевского богатыря. — А вот поглядим да посмотрим. Время, чай, не ушло... Озорничать-то шибко не дадим, уймем...

— Не прогляди смотри! — грозящим тоном заметил Прокудов. — Это, брат, дело такое — ой, ой! Тонко вести надо... Держи ухо востро, а то как раз влетишь...

— Милостив бог! — успокоил себя Сысой Иванов.

Такая распущенность и мягкость в старшине сильно не нравилась закручьевцам. Выборы, кстати, были уж близко, и они надеялись посадить на место старшины своего ставленника, Семена Васильева, мужика глупого, но послушного. Этот из их воли уж не выйдет...

Слухи о печати антихриста той порой пуще заходили по околотку, и передавали их уже не шепотом, а вслух, и не одни бабы, но и мужики. Закручье старательно поддерживало эти слухи и еще всевозможным манером украшало их. Утверждали, что земство денег давать не думало, да и не думает, что деньги кузнецам идут от нечистого. Антихрист-де ходит по всем волостям и «носит в одном кармашке холеру, а в другом — коровью болесть», то — старухой, то стариком прикидывается и сыплет эти болести в реки, в колодцы и пруды, пускает их по ветру на все стороны. Все это для того, чтобы праведных устрашить, разорить крестьян, чтобы денег у него брали. Он всем дает. А потом, как обойдет все волости, «и зачнет по своим ходить, кто, значит, у него деньги брал. И почнет он это прикладывать им к руке свою печать. Кому приложит печать — и шабаш! Уж тот вместе с ним и провалится в ад, и в смоле будет кипеть, и на сковороде жариться, и почнут его дьяволы палить и тыкать горячими полосами железными, душить его серным смо́родом». Конечно, бабье, верившее и в банных, и в домовых, и в водяных, и в гуменных, до крайности смущалось антихристовой печатью. Крестьяне же посмелее, шутя, прямо говорили:

— Не токмо что к рукам, а пущай хошь прямо в лоб печатает... И то много легше, чем этак-то маяться...

В ожидании же «пришествия» всяк принялся за свое дело: Закручье дулось и глухо волновалось, а в кузницах меха пыхтели, стучали молоты, и позабористей как будто бы неслась по вечерам из кабака пьяная песня...

II. НЕДОИМКА-НЕВИДИМКА

Продули февральские ветры, протрещали сретенские морозы, и в полдень иной раз так потепливало, что Назарыч, сидя с трубкой на завалинке и поглядывая изпод седых бровей на солнышко, желтым шаром еще невысоко подымавшееся над горизонтом, но уже заметно припекавшее, бывало, говаривал:

— А ведь зима-то, брат Митюха, напровал идет! Гляди-ко, на стрехах-то какие сосульки повисли...

Подходила весна.

Выборы прошли благополучно: старшиной очутился, как и загадывали закручьевцы, Семен Васильев. Об участи устава смуринской артели еще не было ни слуху ни духу, хотя Федор Иванович и обнадеживал, что большой задержки не будет...

День выдался пасмурный, туманный, и рабочим, сидевшим в кузницах, весь день казалось, что смеркается и того гляди ночь нахлобучит над Смуриным свою темную шапку.

— Хошь лучину зажигай, так в пору! Вот те Христос... У голбца у нас как есть ничего не видать! — переговаривались бабы.

— И не говори, матка! Утрось насилу в иглу вдела! — отзывалась другая.

Наступил вечер, мглистый и сырой. Одной серой, непроглядной дымкой покрылось все небо и дали вокруг села Смурина. В избах тускло светил огонь. По задворкам по одному, как будто крадучись, сходились крестьяне к хатке Кряжева, и набралось в хатке народу густо. Табачный дым и пар застилали всю хатку. На столе горела сальная свеча, но из-за дыма и пара ни свечи, ни подсвечника было не видать, а лишь каким-то желтовато-красным язычком мигал и дрожал огонек. Крестьяне стояли, сидели на лавочках, на печи и на полатях; несколько пареньков уселось на пол, ближе к столу. Около стола на лавках заседали «старики». Лица большею частью были хмуры, задумчивы. Только молодежь смотрела весело и пересмеивалась промеж себя. Из туманного полусумрака там выдавались всклокоченные головы, опущенные на руки, там синим пятном вырисовывалась пестрядинная рубаха, здесь выступала на свет пола армяка в заплатах, там мелькал желтый, только что выдубленный полушубок, а у одного из пар-

ней, сидевших на полу, на шее алел шерстяной шарф. Дальние же углы скрывались как бы в тумане.

Крестьяне собрались в тот вечер в Митюхину хатку по делу, по важному делу. Почти уже год становой приступает к ним с недоимкой; в последнее же время он стал приставать все пуще и пуще и чуть не каждое воскресенье сгонял их в правление. Но суть-то дела заключалась в том, что о происхождении этой недоимки не знала ни одна живая душа. На сходках крестьяне обращались к становому с просьбой указать: откуда навязалась к ним эта недоимка в образе пятисот сорока рублей серебром. Становой в ответ лишь покрикивал... Так его спрашивать и перестали. Недоимка не уплачивалась по безденежью: дело затягивалось. Наконец крестьяне обратились к Кряжеву с просьбой разобрать и рассудить это дело. Кряжев на подмогу к себе позвал учителя. Собирались же крестьяне по задворкам для того, чтобы не обратить на себя лишнего внимания.

Кряжев поместился с краю стола. Рядом с ним сидел Верхозов в наглухо застегнутом черном пальто и с папиросой во рту. На столе были грудой навалены расписки черешинской почтовой конторы и квитанции из черешинского казначейства в получении денег. Верхозов внимательно проглядывал их одну за другой и диктовал Кряжеву, а тот уже исписывал до конца рядами цифр серый полулист бумаги. Крестьяне вполголоса толковали между собой. Парни шушукались и хихикали, ероша друг другу волосы. Две бабы заглядывали из-за перегородки... Наконец последняя грязная, засаленная бумажка прошла через руки Верхозова. Кряжев отодвинул в сторону счеты и ворох квитанций и расписок и вместе с учителем принялся проверять еще раз свои вычисления. Поправили две-три копеечные ошибки и подвели итог.

— Ну, вот те и все! — с полувздохом промолвил Кряжев, поднимаясь с места и потягиваясь.

— Недоимки у вас, братцы, ровно тридцать семь рублей восемьдесят девять копеек! — сказал учитель, оглядывая сверх своих синих очков собрание.

— Т-э-эк! — протянул один старик среди глубочайшего безмолвия, воцарившегося в избе с первых же слов Верхозова.

— Это за последний год? — спросил Федор Горелый, выступая на свет и покачивая курчавой головой.

— Да! За последний! — ответил Верхозов, просматривая лист.

— Ну, так! Это-то так и есть... Супротив этого мы не баем! — с жаром подхватил Горелый. — А вот отколе пятьсот-то рублев взялось, ты скажи... Вот что!

— Такой недоимки я за вами не вижу... Все бумаги перебрал, за все старые года счеты свел... Вот смотрите сами, кто грамотный! Берите! — И Верхозов подал старикам исписанный лист.

Очевидно, вышло какое-то недоразумение.

— Так это они что же? — заговорило разом несколько голосов. — Кое уж воскресенье понапрасну в расправку таскают... Это не того... Не годится этак... от дела-то отрывать..,

Сходка зашумела.

— Ну, что же таперь делать-то, а? — надумал наконец один из стариков. — От шуму-то нашего, чай, ничего не будет...

— А надоть, господа, к мировому прошенье написать! — сказал Кряжев, перемолвившись предварительно с учителем. — Пущай растолкует! Представить, значит, ему все расписки... как уж он положит... Больше что же делать...

Порешили написать прошение к посреднику и приложить к этому прошению все квитанции и расписки, как явные доказательства своей правоты. Верхозов тут же написал прошение и предложил крестьянам подписаться. Те подписались лишь тогда, когда дважды с расстановкой прочитали им бумагу и пояснили ее. Грамотные сами с некоторыми усилиями нацарапали имена и прозвища, а за безграмотных расписался Кряжев. Возник вопрос: скольких послать с бумагой и кого? Решение этого щекотливого вопроса позатянуло сходку. Один не шел, отговариваясь своею неречистостью, другой боялся, «как бы мировой на него не закричал», третьему было недосужно; четвертый справлялся о том, положит ли мир что ни на есть на прокорм на время ходьбы. И вот вырастает денежный вопрос, не менее щекотливый. Пятьсот рублей недоимки словно бы позабылись на ту минуту; всякий убоялся расходов на прокорм посланцев и горланил во всю мочь. «Да и что выйдет из этой ходьбы? Будет ли еще прок, леший его знает!» — бродило в головах. Денежный вопрос решили: по гривне с рыла. А для того, кому идти, бросили жребий. Жребий

выпал: Василью Кряжеву и Гавриле Михайлову, сельскому старосте. Оба заежились, замолились миру, чтобы ослобонили их от ходьбы и от посредника.

— Ох, Васюк, Васюк! Бедная голова! — смеялся один из пареньков. — Ему и речей не найти!..

Сходка стала просить сходить Дмитрия Кряжева. Кряжев сначала думал, что идти ему одному, без товарища, будет не ладно; но когда Верхозов молвил ему на ухо, чтобы он согласился, то он махнул рукой и сказал: «Ну, ладно!» Он и сам уж видел, что без него дело не обойдется, что, откажись он, прошенье так и заваляется, пропадет без вести... В нарочно оставленном пробеле Верхозов четким, крупным почерком вписал, что нижеподписавшиеся крестьяне такой-то волости, села Смурина, уполномочивают от себя идти с прошением к г-ну посреднику «Дмитрий Михайлова». Оставалось лишь приложить печать.

— Староста! Печать-то у тя никак? — спросил один из крестьян, обращаясь к Гавриле Михайлову

— У меня-то у меня... — нерешительно ответил тот.

— Так чего ж стал? Тащи ее сюда! — крикнули ему.

— Ночевать нам здесь, что ли, и взаправду! — заговорили в толпе.

— Сходить уж, знашто... Э-эх! — махнув рукой, проворчал староста и стал пробираться к выходу.

Гаврило Михайлов состоял старостой по очереди, был человек бедный, и самому ему охота было избавиться от новой недоимки; но смущала его быстрота решения, смущало и позднее время, неурочная пора для сходок — и в особенности участие в этом деле учителя с Кряжевым. Он искренне желал, чтобы старостой сельским в тот день был не он, а кто-нибудь другой из смуринцев. Много бы поспокойнее заснул он в ту ночь! «А ну как не по закону, а? Ну, как тут они какую ни на есть химию подвели? Тут чего?» — смутно и отрывочно пробегало в голове старосты, когда он, придя к себе в избу, полез в сундук за печатью.

— Чего уж так долго-то? — впросонках спросила его с печи жена.

— Да сходка тамо... — с сердцем отозвался Гаврило, захлопывая крышку сундука.

— Таперь-то у вас сходка! Какая такая сходка! Водку, видно, лопаете... вот и сходка! — брюзжала старостиха.

Гаврило, ругнув на сон грядущий жену, вышел вон. «А ну, как влопаешься с ними? Ах, черт бы их...—раздумывал он. — Печать-то ведь я дам... Ну, значит, меня и к ответу... Я, значит, все дело скрепил... Ах, ей-богу, право! Ах, дела, дела!..» И, привздохнув, положил Гаврило Михайлов печать в широкий карман своего полушубка и потащился к хатке .«Не дать нельзя: осерчают... скажут... гм! А дашь, так и сам с ней наплачешься, с печатью-то... И для чего только эти печати на свете заведены!» — размышлял староста. И уж так-то тяготился он в ту ночь своею властью и сопряженною с нею ответственностью, что просто не приведи бог!.. Вот вошел он в избу и, протискавшись к столу, вынул печать, но из рук ее не выпускал и держался за нее крепко.

— Семен-то Васильев про это дело не знает... — начал он, сжимая в руке печать. — Потому, к ответу ежели потянут, так уж я в первую голову... Мы вот так рассудим...

— Нечего тебе печаловаться, Гаврило! Подписи-то ведь наши... Мы все в ответе! — заметил ему Кряжев. — А что ты насчет Семена Васильевича, так уж это совсем напрасно... Это наше дело, а не волостное... Мы, значит, от себя прошенье подаем... Какая же тут беда? Что ты! Прочухайся лучше!..

Кряжев той порой подмигнул одному молодому рослому парню. Тот, как бы шутя, облапил старосту, вырвал у него печать, живо начернил ее и с силой притиснул к левой стороне нижнего края листа, в то самое время как другой паренек закрыл старосте глаза, тоже шутя. Все дело обошлось в один миг. Гаврило Михайлов разинул было рот, чтобы еще сказать что-то, да так и остался: черный кружок с белыми буквами грозно-грозно поглядел на него с бумаги.

Сходка стала расходиться. Смурино уже спало, нигде ни огонька, и собаки не лаяли.

— А вы времени-то не теряйте, уходите поскорее! — на прощанье говорил Кряжеву учитель.

— Уйду до света! — отозвался тот, крепко пожимая учителю руку.

И такая поспешность, как оказалось, была вовсе не лишняя.

III. И СЛЕД ПРОСТЫЛ

Евграфу Евстигнеевичу что-то не поспалось в ту ночь. С вечера он переписывал из песенника в свою тетрадку стихотворение, начинающееся так:

Все покоится в природе,
Исполняя свой закон,
Токмо ветер на свободе
Тяжкий мой разносит стон.

Сон его был тревожен и чуток... Вдруг он послышал под окном шаги, опять шаги и говор. Он слез со своей мягкой перины и подошел к окну.

— Да это наши смуринские, никак... Федька с кем-то!.. Гм! Коего лешего они таскаются тут по ночам? — проворчал он и пошел за перегородку, где на жесткой постилке сладким сном спал его прислужник, мальчуган лет двенадцати.

— Эй, ты! Ишь сволочь, дрыхнет! — бурчал писарь, пиная ногой мальчугана.

Тот вскочил и, почесываясь и ероша волосы, таращил на Евграфа Евстигнеевича заспанные глаза.

— Сейчас тут мужики прошли, беги, окликни: откудова? — приказал писарь.

Демка, как был в одной рубахе да в портках, так и выскочил на улицу, без шапки и босой. Возвратившись, он доложил своему господину, что он окликнул мужиков, но те не отгаркнулись и завернули в проулок, а когда он завернул за ними туда, то их уже было не видать. Одного из мужиков Демка признал за Федьку Горелого. Евграф Евстигнеевич пошел на свою половину, чиркнул серёнкой и посмотрел на часы Было около часа ночи. «Из кабака нешто? Да нет, поздно...» — подумал писарь.

— Бежи, пошли старосту! Коли спит — разбудить! Живо! — крикнул он Демке.

Когда в сопровождении Демки староста явился к писарю, тот был уже в халате и при трубке, а на столе в медном, покрытом зеленью подсвечнике оплывал сальный огарок.

— Спал, чай? — опросил Евграф Евстигнеевич старосту.

— Нету, не спали исшо... — с запинкой ответствовал тот. — На сходке о сю пору провожжались... Вот до коего времени...

— На какой такой сходке? — выпучив глаза, быстро спросил Евграф Евстигнеевич.

— Да вот все это, значит, насчет того... — И тут Гаврило Михайлов рассказал писарю начистоту все дело, разумеется, стараясь лишь выгородить себя.

— Т-а-а-ак! Молодцы! — протянул писарь, выслушав повесть о сходке и о приложении неизвестно кем печати к приговору. — А ведь вы, братцы мои, того гляди до уголовщины достукаетесь этаким-то манером! — многозначительно оттопырив губы, заговорил Евграф Евстигнеевич.

— Ах ты, господи боже! Вот напасть-то! — бормотал Гаврило Михайлов. — Уж говорил я им, говорил!.. Вот как говорил... Нельзя, говорю, никак! Не можно, говорю, эфтого... потому, не в законе... Э-эх, народ!..

— Хорош и ты... Хорош староста, нечего сказать! Сам беспорядки производит! — язвительно усмехнулся писарь, ужаснейшим образом морща брови.

— Воля ваша, Евграф Евстигнеевич! А я вот, как перед богом... Э-эх, ну!.. — не договорил староста, хлопнул руками по переду полушубка и поник головой.

— Надо это дело поправить. Не оставлять же так! Ты как смекаешь, а? — походивши предварительно взад и вперед по комнате, заговорил писарь, останавливаясь перед Гаврилой Михайловым.

— Знамо, оставлять нельзя, да что тут поделаешь-то! — заметил тот.

— А ступай-ко ты к Митьке, скажи: так и так, мол... Вздору, скажи, мы наделали. Возьми у него прошенье... А завтра мужикам скажи...

— Ну, дела! Вот так дела! — ворчал староста, направляясь к избе Кряжева.

Кряжев уже спал, и, когда староста завозился под окном, ворота ему отпер Назарыч.

— Ну, Митрей Михайлыч! Наделали мы с тобой делов, нечего сказать! Подь-ко сюда!.. — приступил староста, когда служивый разбудил Кряжева.

Кряжев слез с полатей и, как бы еще впросонках, сел со старостой рядом на лавку.

— А писарь-то проведал... Не дело, говорит, мы затеяли... — молвил староста. — Судом припужнул... Ах! бросим, ей-богу это... Отдай ты прошенье-то! Ну его!..

— Прошенье? — как бы вдруг очнувшись, резко заговорил Кряжев. — Ну, уж это вы по-пустому с Евгра-

фом Евстигнеевичем беспокоитесь! Не видать вам прошенья, как ушей своих... И чего только ты это вздумал!

— О двух головах ты нешто, что этак-то говоришь? — заметил староста.

— Нет, об одной, да и той для мира не пожалею! Слыхал?.. — тихим, но внятным и ровным голосом сказал Кряжев, приподнимая брови и глядя исподлобья на Гаврилу Михайлова.

Огня в избе не вздували, но староста все-таки мог разглядеть кое-как лицо своего собеседника. Лицо было совершенно серьезно, немного нахмурено...

— Ну, чего ты манишь-то? Шут ты, ей-богу... — заигрывающим тоном молвил староста, как бы желая себя уверить, что Митюха шутит с ним. — Ведь супротив начальства не пойдешь...

— Сам ты — шут гороховый! — совершенно серьезно сказал Кряжев. — Писарь-то начальство? Не слишком ли будет? Ведь этак и плюнуть будет некуда! Того и гляди, в начальство попадешь...

— Эка сморозил! — заметил староста.

— Ну да! Этаким-то начальством ворота подпирать стать! Гм! Горе-начальство! — с усмешкой огрызнулся Кряжев. — Мы его поим, кормим, а он нам служит за то, старшине помощник. Вот он — начальство-то какое! Коли не исправен, так по шапке, да и из деревни вон!..

Увидал староста, что дело, видно, не на шутку пошло, коли Митюха заговорил свои непутевые речи и «буркалы этак заворочал».

— Ах, друг! Ведь ответчик-то я... Хошь бы меня-то пожалел! — взмолился староста, придвигаясь к Кряжеву.

— Для мира и матери родной не пожалею, не токмо что тебя... И себя не пожалею, никого! — тем же тихим, ровным голосом отрезал Кряжев.

— Отдай, Митрей Михайлыч! — хватая Кряжева за руку, проговорил Гаврило Михайлов. — По гроб я те...

— Сказал: не отдам — и не отдам! И не проси! Приговор от общества мне даден — по форме, как следует... — отбивался Кряжев.

— Ах ты — хрен!.. Вот, ей-богу... Так не отдашь? — приступал староста.

— Ни за что в свете не отдам! — повторил Кряжев и полез на полати.

— Ну, шабаш, да и полно! — уходя, проворчал староста.

Писарь, узнав об исходе переговоров, затопал, закричал, заплевался так, что и боже упаси! Староста в те минуты, казалось, разом сократился и душой и телом: он желал бы сделаться на ту пору самым маленьким человеком в мире.

— Хошь вырви, хошь силком возьми, а прошенье добудь! — орал писарь. — Сказано тебе: дело не шутовое... Все из-за тебя пропадем, дурья ты голова! Под какое дело подводишь, а? Ведь это что? Бунт! Как есть бунт... В остроге сгниешь...

— Воля ваша! — повторял Гаврило Михайлов, тяжко вздыхая и переминаясь с ноги на ногу.

— Пошел! Позови его ко мне! — приказал наконец писарь.

Когда же староста вдругорядь пришел к избе Кряжева и завозился под окном, то Назарыч объявил ему, что Кряжев уже ушел. А правду-то сказать, Кряжев в ту пору спокойно еще спал в Аггушкиной хатке на бугре и только часа через два после того, почти перед самым рассветом, отправился в путь.

IV. ЗАГЛАВИЕ ПРОПУЩЕНО

Кряжев шел по дороге к Фоминскому, где жил мировой посредник Нил Иванович Хлопушкин.

Нил Иванович был в некоторых отношениях особою замечательною. До объявления воли он ничем еще особенно не выделялся из среды окрестного помещичьего люда; в жизни частной и общественной он руководствовался, как и все, простым правилом «не препятствуй моему нраву»; любил карточную игру-преферанс, или, как он говорил, «преферушу», но более, как по четверти, не играл; слову «вспишу» придавал узкое, патриархальное значение и «вписывание» не считал ни делом государственной мудрости, ни подвигом, а просто так, и всего чаще смотрел на порку своих крепостных людей как на препровождение времени; мнил о себе он не более, чем и прочие помещики. После же воли он значительно изменился. На него надели цепь мирового посредника, и он, шутя, объявил, что его «посадили на цепь». Вместо преферанса он стал чаще играть в рамс. Слову «вспишу» он уже стал придавать более глубокий и разнообразный смысл и высоко поднялся в своем собственном мнении...

— А знаете ли, батенька, волю-то девятнадцатого февраля кто провел, а? Вы как об этом думаете? — вопрошал он, бывало, своего собеседника.

Собеседник огорошивался и недоумевал, с какою ехидною целью предлагается ему еще раз этот уже решенный вопрос.

— Я, батенька! Я провел ее... Вы не удивляйтесь! Вот только прислушайте! — говорил Нил Иванович, возвышая голос. — Я что делал? Вы знаете?.. Как только проведаю, что где-нибудь крестьяне зашушукали — я сейчас и туда... вспишу, да в другое место, да в третье... Вот этаким-то манером у нас все законно и вышло.

Из скромности, должно быть, Нил Иванович не договаривал, но так вылупливал свои бычачьи глаза, так пучил свою утробу, так отдувал свои толстые щеки и до того ужасно хмурился, что всякий без слов понимал, что видит перед собою одного из отцов отечества... До воли он жил легкомысленно, после же нее запасся каким-то необыкновенно сосредоточенным видом, причем жаловался на недосуг (чего прежде за ним не бывало), хотя и теперь, как и прежде, свободного времени выбиралось у него в сутки приблизительно около двадцати четырех часов... Затем в других отношениях он не изменился вовсе. Так, в общественной и частной жизни он руководствовался прежним правилом: по-прежнему, сидя один дома (он был вдов и бездетен), занимался обклеиванием коробочек из-под спичек, из-под конфет и табаку; летом по-прежнему по двору своей Измайловки, по саду и даже далее ходил он в одной белой рубахе, в подштанниках и красных сафьяновых туфлях, с трубкой в руке. В случае надобности, сверх рубахи и халата, не стесняясь, он надевал свою цепь и в таком полутатарском виде показывался перед просителями из простонародья.

Вот к этой-то почтенной особе и шел теперь с прошением Дмитрий Кряжев. В Фоминском посредника не оказалось, в Измайловке — тоже: он был в городе. Кряжев, сделав в тот день около тридцати верст, поустал и остановился на деревне переночевать. В околотке — верст, почитай, на сто в окружности — у Кряжева везде были знакомые да благоприятели. Кому помогал он иной раз в полевой работе, кому «штрумент» починивал, кому по дому разные поделки справлял, кому

письмо строчил, кому советом угодил, кому по малости помог деньжонками. Притом, как человек грамотный, знающий, побывавший в Москве и не одинножды в губернском городе, Кряжев разговаривал, рассуждал с крестьянами о близких для них делах: о податях, о недоимках, о рекрутчине, о кулаческих проделках, о деяниях земских людей. И Кряжева пристально слушали, потому что он был свой человек и говорил всегда толково. Он вслух, словами выговаривал то, что занимало весь крестьянский мир, что неясно и смутно бродило в умах всех, подобно утренним, предрассветным теням. И выходило, что Кряжев говорил так, как будто бы не от себя, а от лица всего околотка. И знакомы, понятны были его речи, и западали они в сердца и в умы простых, неграмотных людей глубже всяких книг и приказов. Кряжев, бывало, и поговорку вплетет, и крепкое словцо влепит, и на смех поднимет; слушатели смеются и повторяют его слова.

Так и в тот вечер, привалив к одной знакомой избе, Кряжев скоро очутился в многолюдном собрании. В избе стало тесно... Кряжев толковал про смуринские дела, про то, как шибко, хорошо шла касса, как расторговывалась их общественная лавочка, как затеялась артель; поведал, по какому случаю попал он к ним, на Ольхино, как ихний староста согрешил с печатью...

Много и вопросов предлагалось Кряжеву; он отвечал на них как мог. Потолковали и о разных слухах... Несбыточные, необычные слухи — вроде дарового провоза народа по чугунке по какому-то особенному случаю, вроде какой-то «самой настоящей воли» или что-нибудь насчет земли — время от времени бог весть откуда поднимались в том глухом околотке. Кто их выдумывает, эти слухи, кто их пускает в ход? Говорят, что когда льют колокол, так нарочно распускают какой-нибудь ложный слух для того, чтобы он лучше вылился — громче и звончее...

Около полуночи гости стали расходиться, и всяк зазывал Кряжева к себе на перепутье. И зов этот был искренен... Еще бы, — когда все звавшие так любили его. Да случись с ним какая-нибудь напасть — тысячи крепких, здоровых рук потянутся к нему на выручку... Даже и сам Кряжев не знал в точности: насколько велик и как далеко захлестнуть может его влияние над крестьянскою душой.

Переночевав на Ольхине, Кряжев чем свет пошел в город. Опять ему пришлось сделать около тридцати верст. Прибыв в Черешинск уже ввечеру, Кряжев думал было отложить до утра свидание с посредником, но раздумал и отправился тотчас же, побоявшись, как бы посредник не удрал скоропостижно домой, причем Кряжеву опять пришлось бы идти за ним вспять, а потом, глядишь, и еще куда-нибудь в другое место, и гоняться этак за ним безустально больше недели... Но попал Кряжев к посреднику не в добрый час. Карточная игра была в самом разгаре, и Нил Иванович был страшно раздражен. Выпала одна из тех сквернейших случайностей, при которых простому смертному трудно бывает сохранить хладнокровие. Нил Иванович проигрывал, к искреннему удовольствию мирового судьи и исправника. Дрожащею рукою вписывал он свой проигрыш, и когда человек доложил ему о приходе мужика, то он так посмотрел на него, как будто бы тот нанес посреднику кровную обиду:

— Подождет! — огрызнулся Хлопушкин.

Наконец, пыхтя и приглаживая на висках разлетающиеся волосы, он вышел в переднюю.

— Что скажешь? — недоброжелательно обратился он к Кряжеву, косясь на дверь, откуда все еще слышался пискливый голос мирового судьи, потешавшегося над его неудачей.

— К вашей милости! — промолвил Кряжев и, вытащив из-за пазухи тряпочку, вынул из нее прошение, кипу квитанций и расписок и подал их Нилу Ивановичу.

— Это... это... это еще что такое? А? Разъяснение? Какое разъяснение? А? — скороговоркой заперебивал он, пробежав наскоро бумагу. — Становой вам объявил, и рассуждать нечего! Недоимка есть — и баста!.. — И Нил Иванович, швырнув на стол расписки и прошенье, собрался уходить.

— Да как же, мир таперь не знает... и спрошать не у кого... Становой не говорит тоже... — начал было Кряжев, не принимая назад ни прошенья, ни документов.

— И знать вам нечего! — крикнул Хлопушкин. — Нажили недоимку и плати! Что еще тут за разъяснения такие! Только ваше дело кляузничать, а нет чтобы о недоимках позаботиться...

— Да сделайте милость! — начал опять Кряжев.

— Ну? — нетерпеливо взлаял посредник.

— Расписки-то проглядите... все ведь тут означено... — урезонивал Кряжев Нила Ивановича.

— Ты что? Ты уж учить меня вздумал? Грубиянить? А?.. Мер-р-завец!.. А-ах ты, татарин!.. — зарявкал Хлопушкин, обращая на Кряжева свое покрасневшее, гневом пылавшее лицо. — Я вот как почну тебя с-с-с...

И Нил Иванович, сделав шаг вперед, выразительно повел рукой, но одумался.

— Прошенья не возьму, бери его себе!.. А теперь ступай с ним в полицию... — махнув рукой на рассыльного, крикнул посредник Кряжеву.

. . . .

. . . .

И Кряжев очутился в кутузке, то есть в том отделении полицейского дома, куда совали буйных и пьяных граждан. Кроме двух-трех голых нар, в этом покое ничего не имелось; тут было грязно, вонюче, сыро, холодно и даже днем так сумеречно, как вечером, потому что грязные окна с решетками слишком мало пропускали света. Блохи так и прыгали на полу по всем направлениям, как кузнечики в поле летнею порой. Тьма разных насекомых облепила Кряжева, и ели его поедом эти насекомые всю ночь напролет.

Но больнее блох тревожила Кряжева мысль: а ну как посредник и в самом деле не посмотрит ни на какие законы и продержит его целую неделю в этой преисподней? А время-то такое теперь бойкое — вовсе уж не до того, чтобы сложа руки сидеть взаперти и бездельничать, сознавая себя сильным, здоровым и способным к делу! Скверно, гадко!.. Не придет ли за это время разрешение ихней артели? Что-то там, на Смурине, без него будет деяться? Не подведут ли закручьевцы каких-нибудь подвохов, благо его нет на Смурине?

Вот какие думы находили на Кряжева, когда он ночью лежал на нарах, прислушиваясь, как от поры до времени на соборной колокольне сторож бил часы... Промелькнула в его голове мысль и об Евгении, но промелькивала не из первых, а как-то в сторонке, словно крадучись.

При воспоминании о девушке один вопрос лишь копошился у него в мозгу: что выйдет путного из ихней

любви? Как бы не пришлось Евгении заплатить кровавыми слезами за их недолгие радости? Поколь родные не проведали — еще ничего... А узнают? Что тогда? Жениться Митюхе нельзя... Так этот любовный вопрос и не распутывался пока. Кряжев любил Евгению, но любил по-своему; для крестьянского дела, для мира он каждую минуту готов был оставить ее. Он и прежде знал, что будет любить ее именно так, а не иначе; потому-то он с Евгешей и сходился неохотно и уступил лишь тогда, когда та почти повисла сама у него на шее, истомившись неудовлетворенною страстью. Противиться Кряжев более уже не мог. И крепко и горячо любились они, и чудесно проходили для них зимние вечера, когда Дмитрий отдыхал от трудов и неприятностей на груди своей милой.

— Митя! Ведь ты крепко любишь меня? — шептала девушка, изо всей мочи обхватывая его шею своими обнаженными по локоть руками, прижимаясь все ближе и ближе к нему и заглядывая ему в глаза своими темными, огневыми очами.

— Как же мне не любить тебя, голубка ты моя сизокрылая! — говорил Кряжев и этак-то нежно и любовно гладил ее мягкие черные волосыньки.

И видно было, что эти люди говорят правду, что они счастливы... И прекрасные песенки наигрывал в ту пору Кряжев на своей любезной гармонике. Слушая эти чудесные песенки, девушка и смеялась, и плакала...

— Наши закручьевские, Митя, на тебя больно серчают! — говорила она ему раз как-то еще на первых порах, когда в пылу юной страсти боязнь за любимого человека стояла перед нею на самом виду. — Ну, как они против тебя тоже что-нибудь замыслят недоброе... Ах, Митя! Не больно бы ты их задевал! А то, право, покою мне нет из-за этого... Все о тебе думаешь: а ну как что, — храни бог...

И девушка грустно понурила свою головку.

— Не бойся! Обойдется... — успокаивал ее Кряжев, и через минуту все ее страхи исчезали бесследно, как темные тучи с ясного неба...

Евгеша на первых порах не спознала еще хорошо Митюхину душу и не раскусила, что он за человек. Вполне-то она не спознала его и до последнего своего часа. По временам Кряжев втолковывал ей про свои дела, про то, отчего он не может ладить с закручьевски-

ми; но окунуться в самую глубь его мира девушке не удавалось. Боязнь она уже научилась таить в себе. Она поняла, что не совратить ей Кряжева с его дорожки, не приклонить его на свои нежные, сладкие речи. «Уж не отступится ни за что! Упрям вот как!» — размышляла она иной раз про себя и постукивала кулаком о лавку. И Евгения уже не уговаривала Кряжева поберегаться, а, слушая его, лишь шептала: «Ну, дай бог! Хорошо бы, Митя, ежели бы этак-то...» Чем явственнее сказывалась в ней такая перемена, тем шибче начинал любить ее Кряжев. «Умная у меня она! Не выдаст... Да и нашим деревенским не чета! Не размазня...» — раздумывал о ней Митюха...

Теперь, ворочаясь на нарах, он думал: «Тоскует поди голубка...»

Вправду, Евгеша тосковала по нем, тосковала еще больше оттого, что без него стряслись такие дела, что Кряжеву следовало бы непременно быть при них самому... «И что это с ним! Ушел на день... А вот уж третьи сутки на проходе...» — раздумывала девушка, чуть не плача. Уж не посадили ли его куда-нибудь? Ее сердечко сильно билось, голова шла в круги, и невольный страх обнимал, когда она мысленно представляла себе: «Сколько у Дмитрия может набраться злых недругов-супостатов...»

V. ВСЯ НЕЧИСТЬ — В ХОД

Три дня с лишним Кряжев провел в дороге, трое суток просидел под арестом — итого составилась неделя. В эту неделю без него действительно на Смурине произошли события.

По уговору, на другой день по уходе Кряжева, Лисин запряг своего Рыжего и отправился в город. Там от г-на Вальда он узнал, что их устав утвержден и получен уже в управе, что губернское земство решило ассигновать на устройство артели заимообразно шестьсот рублей серебром на известных условиях. В тот же день Лисин получил и устав, возвратившийся из дальних странствий, и условия ссуды, которые должны быть прочитаны членами артели и — в случае одобрения ими — засвидетельствованы в волостном правлении. Затем уж могли быть получены и деньги, и артель открывалась. При этом г-н Вальд сказал Лисину:

— А вы, Илья Петрович, будете при артели как бы уполномоченным от земства. Вам же, как гласному, это и кстати... Официального вам, конечно, ничего не дается, но вы будете только следить, наблюдать за ходом дела, за употреблением земских денег, за тем, чтобы предприятие как-нибудь не уклонилось с артельного начала... Дело новое... Вы понимаете!

— Понимаем-с! — подхватил Лисин, восхищенный чуть ли не до седьмого неба вновь возлагаемым на него званием «уполномоченного от земства».

— Нужно, чтобы условия точно выполнялись, ссуда уплачивалась бы в определенные сроки, — продолжал г-н Вальд. — Это покажет товарищество в хорошем свете, заслужит ему доверие. Разумеется, вы должны блюсти и выгоды артели, не давать случая подкапываться под нее. Я и сам буду приезжать к вам, когда время будет. Но я занят, а вы между тем постоянно дома. Вам не будет затруднительно...

— Помилуйте! Вы и так уж для нас, Федор Иваныч, изволили похлопотать довольно! Право-с... — льстивым голоском проговорил Лисин. — Как же мне-то не постараться? Дело-то ведь наше общее...

— Ну, конечно, если вы найдете что-нибудь такое... — перебил его г-н Вальд, — если вам нужен будет совет — вы обращайтесь прямо ко мне, пишите или заходите, как будете в городе. Я очень рад. Ваша артель меня очень интересует. Она возникла так сознательно, так самостоятельно...

Итак, Лисин добился своего, и притом самым дешевым способом. Благо Кряжева нет, благо подвернулась эта недоимка. Лисин до последней минуты все боялся, что пройдоха Кряжев ототрет его от артели и помешает ему стать к ней в более интимные отношения. Теперь он будет состоять при артели «уполномоченным от земства», — ну и кончено. Теперь Кряжеву уж ничего не поделать; теперь, значит, Илья Петрович Лисин всему голова и заправило! Лисин идет и ухмыляется. Уж так-то любо ему, и-и боже ты мой! Он весело перемолвился с знакомым лавочником, с ямщиком на дворе пошутил, а придя в комнату, пощекотал хозяйку — дворничиху. Да! Он теперь «уполномоченный от земства при смуринской артели»! И Лисин, против своего обыкновения, покрякивал так, что хозяйский чижик с испугу метался по клетке как угорелый.

Илья Петрович с виду отстал от своих, отказавшись от тех обыкновенных способов наживы, которые практиковались его собратьями-кулаками; но в глубине души он алкал добычи не меньше их. Только он был похитрее многих и решился отыскать для наживы новые, более современные пути, видя, как смуринские кузнецы косятся на закручьевцев. И он нашел эти пути. Сначала он было думал забрать в свои лапы общественную лавку, но ему не удалось это благодаря ловкости Кряжева. Он пристал затем к ссудо-сберегательному товариществу, но и оттуда до сих пор поживиться не мог. Он составил себе только имя: кулаки теряли голову, раздумывая: «Что за человек есть Лисин?» Смуринцы его расхваливали; Кряжев крепко пожимал ему руку. Теперь, наконец сделавшись «уполномоченным», Лисин надеялся положить прочное начало своему благополучию. Он уже видел артель в своих руках. Он видел, как все артельные дела проходят через его руки, и ничто не минует его. Он ездит по делам артели и в свой губернский город, и в Москву, и в Петербург, хлопочет, набивает себе мошну; артель благодарит его; земская управа не нахвалится его расторопностью; кулаки губы грызут со злости — чудесно!

Лисин сначала хотел было переночевать на постоялом дворе, но раздумал и, поднявшись с постели, живо оделся, решившись ночью же ехать домой, чтобы, до возвращения Кряжева, управиться с делом. Ему пришлось проходить по общей комнате, где на полу вповалку спало десятка два мужчин и женщин. Иной весь закутался так, что с первого взгляда нельзя было и отличить: человек ли лежит тут, или груда грязного тряпья навалена. Иные же спали, раскидавшись, полуобнаженные... Рты были раскрыты, и лица большею частью обращены к потолку... какие лица! Лисин с брезгливостью глянул на грязные и костлявые руки и ноги, торчавшие из-под тряпья, на обезображенные, впалые женские груди — и прошептал:

— Ишь сволочь распутная!.. Валяются!..

В отсутствие Кряжева Лисину удалось обделать свое дельце — залезть в артель; но за отсутствием Кряжева ему пришлось вынести на своей шкуре и много неприятностей за мнимое отступничество от собратьев-закручьевцев. Путь, по которому шел Лисин, был

очень прост, но простотой-то своей он и сбивал с толку слишком проницательных кулаков.

По приезде Лисина из города слух об утверждении артели, разнесшись по Смурину словно на крыльях ветра, живо проник и на закручьевскую сторону. На другой день Лисин собрал крестьян, прочел им условия займа и, когда те порешили утвердить их без всяких оговорок, отправился для явки их в волостное правление. Туда же, вслед за ним, как бы ненароком, ввалился долговязый Антошка Кудряшев, немного подвыпивший на тот раз.

— А, земство! — зарычал Кудряшев, увидав Лисина с бумагой. — Для коего черта пожаловал? С артелью небось, а? Ах вы, прости господи... Народ только мутите... Взять бы да метлой вас с Митькой отседова... Вот что!

— Семен Васильич! Уймите! — сдержанно обратился Лисин к старшине, слегка закусывая нижнюю губу и повертываясь к Кудряшеву спиной. — Здесь ведь не питейный... озорничать не след...

— Уймите-е-е? Кто меня унять может, а? — орал Кудряшев в то время, как старшина, словно бы не дослышав Лисина, повертывался и, пожимая плечами, с тихим смехом выходил в соседнюю комнату. — Вас, бунтовщиков, унимать надоть, а не меня... Помелом вас... Антихристовы прислужники! Не от него, скажешь, деньги-то у вас, а? От земства? Подставляй карман шире... Как же! Дало земство деньги этаким голоштанникам... ха!

Антошка не давал Лисину и рта разинуть, а драться тот был не расположен. Илья Петрович, закрасневшись слегка и нахлобучив на глаза шапку, вышел из правления, а вслед ему еще долго так и сыпались самые отборные, крепчайшие слова.

Вечером Лисин опять зашел в правление к старшине и требовал засвидетельствовать условие. Семен Васильев вдоволь повертел в руках бумагу и объявил наотрез, что свидетельствовать это условие он не может.

— Надобно, Илья Петрович, чтобы этому делу вашему сам посредник разделюцию положил! — говорил старшина. — А без этого никак нельзя... Вы уж похлопочите!..

— Какую же еще разделюцию надобно? — с глубокомысленным видом заметил Лисин, важно поводя носом. — Коли уж все министры и само правительство... Что ж посредник-то еще?..

— Так-то так... — согласился старшина. — Да ведь каждая спица с колесом зараз вертится... потому установлено!

Уж уламывал-уламывал его Лисин, но ничто не помогло: не мог он столковать со старшиной.

— Поверьте богу — ну, не могу! Хлопочите у посредника...

Уперся человек на одном, да и шабаш.

А закручьевцы запевали ему в уши на все лады: «Ты то́ подумай... Коли эта артель заведется, кузнецы и у тебя не будут больше железа брать и гвоздь не понесут тебе. Всем убыток... Да уж тогда что! Смута большая пойдет... Коли артель заведется — целуй у кузницы пробой и иди домой! Не попущай, Семен Васильев! Потому много всякого соблазну от этой артели будет!..»

Дня через три Лисин решился опять ехать в город и просить помощи и совета у Федора Ивановича в этих грустных обстоятельствах. Запряг он опять своего Рыжего и потрусил по дороге к Черешинскому. Кряжев на ту пору уже возвращался домой и шел перелеском, верстах в семи от Смурина.

— Илья Петрович! Куда это? — окликнул он из-за кустов не приметившего его Лисина.

— А-а! М-м... — замычал от неожиданности Лисин, останавливая Рыжего, пока Кряжев перескакивал через канавку и подходил к его саням.

— Ну, что у нас там? Нет ли чего нового? — спросил Кряжев.

— Как не быть! Нового много... — И тут Лисин передал Митюхе — не без запинок — все случившееся за последние дни.

Кряжев слушал и молча поглядывал на Лисина. «Ах, черт бы его... Кабы он того — не обошел нас!» — говорили его взгляды.

Лисин поехал далее; Кряжев пошел своей дорогой и скоро пришел на Смурино. Рад был ему Назарыч, рада была Евгеша. Служивый живо притащил из кабака полштоф водки и уверял своего сожителя «христом-богом», что он шибко зазяб, что ему непременно

надо с дороги «пропустить огонька жиденького». По вечеру, как смеркалось, забежала к ним Евгеша, и в первый раз при Назарыче обняла Кряжева и, вся, раскрасневшаяся и взволнованная, припала к нему на грудь. Назарыч при такой оказии пуще захлопотал около стакашка и заморгал своими подслеповатыми серыми глазками. Рассказывая Кряжеву про свое бытье-житье, девушка коснулась и писаря.

— Надоел он мне — страсть как! — заметила она.

— Ну его к лешему! Не до него теперь, — отозвался Кряжев.

От Евгеши же узнал Кряжев, что в Закручье ходит слух, будто посредник насчет артели старшине наказал так: «Препятствовать не препятствуйте, да и не пособляйте! Пускай сами как знают, так и делают».

На другой день вместе с Лисиным на Смурино пожаловал и г-н Вальд. Старшина на его зов не пошел, отговариваясь недосугом. Тогда Федор Иванович отправился к нему сам и застал его у входа в кузницу. Федор Иванович объяснил ему, что старшина обязан для общественного дела свое дело оставлять, что на то он и старшина, за то он и жалованье от мира получает. Затем он доказал Семену Васильевичу, что его прямая обязанность засвидетельствовать условие, что, не выполняя своей обязанности, он идет против закона. Старшина уступил и исполнил требование.

Вскоре были получены через управу деньги и закуплено первое железо в городских складах.

Тогда закручьевцы, видя, что уж ничего не берет, только спали и видели, как бы потревожить и осмеять артель, а если можно — так и подорвать ее. Первым делом, разумеется, в Закручье было заявлено вслух, что артельное железо никуда не годится, а гвозди прахом пойдут. Немало также доставалось и Лисину с Кряжевым.

Например, Лисин однажды проходит мимо кучки закручьевцев, а красногоркинский учитель вдруг и кричит ему:

— Илья Петрович! А, Илья Петрович!

— Что вам нужно? — оборачиваясь, откликается ему Лисин.

— Не купите ли у меня железа? Для артели-то бы вам годилось! — кричит пьянчуга.

Прямая насмешка, потому что у красногоркинского

учителя за душой ничего нет, а железа — разве что гвозди в сапогах. Так ему Лисин и заявил.

— Полно вам срамиться-то! Еще учитель... образованный человек называетесь! — укоризненно заметил ему Лисин. — К дяденьке-то из бурсы в одной, почитай, рубашонке прибежали... Откудова же еще вам железо продавать!..

Кулаки хохотали навзрыд и отплевывались в ту сторону, где стоял Лисин.

— Удруж-и-ил, удруж-и-ил! Аха-ха-ха! — горланили они. — Ишь ожгло его!.. Аха-ха-ха!

И дня не проходило на Смурине без этого, чтобы у кого-нибудь из закручьевцев не вышло со смуринцами руготни.

— Вот оно, последнее-то времечко, знать, подошло! — галдели бабы.

VI. НА МАСЛЕНОЙ

Масленица была в полном разгаре. Смурино шумело.

На дворе стояла оттепель; с кровель капало, снег потемнел, местами в ухабах видны были лужи; серенькие облака застилали небо. По всей улице и по закоулкам бродил народ; густые толпы стояли у кабаков. Середи главной улицы, у колодца, собралась кучка человек в пятьдесят около Дмитрия Кряжева. Крестьяне калякали, что Кудряшев Антон новый винный склад на Ведрове открывает, что Кузьма Иванович, слышно, обмахнулся на пшенице, что скоро, надо быть, придется везти в Москву артельный гвоздь, что не знать кого послать с ним попроворнее да повернее...

Вдруг с закручьевской стороны послышался колокольчик, раздалось бренчанье бубенцов, и по мосту с гиканьем и уханьем пронеслась тройка вороных и поскакала по смуринской улице. Высокий коренник несся крупною рысью, не сбиваясь и гордо закинув голову; пристяжные храпели, гнули кольцом свои красивые шеи, чуть не касаясь земли черною волнистою гривой, и неслись во весь дух. Сбруя так и горела блестящими медными бляхами, а концы алых лент, вплетенных в челки и гривы, раздувались по ветру. В больших, красиво расписанных санях, с богатым ковром, низко

спущенным сзади, развалились два городских купчика и сынок Беспалого. Почтенные торговцы были пьяным-пьяно и, заломив набекрень свои черные мерлушечьи шапочки, выкрикивали какую-то бестолковую песню, ухали и свистали. Молодой Кудряшев, стоя впереди, правил тройкой. Он тоже был пьян и сильно покачивался. Тулуп его распахнулся, и под ним виднелся черный казакин, крепко перетянутый по талии широким кушаком с серебряными украшениями.

— Эх вы, голубчики! Эх вы, соколики! Несите, уносите! О-о-ах! — дико гагайкал Кудряшев, прихлестывая вожжами по всем трем.

Он закинул назад голову и, пошатываясь, поводил бессмысленно по сторонам своими пьяными, мутными глазами. На бродивший по улице народ Кудряшев, видимо, обращал менее всего внимания: для него в ту пору, кроме его и его вороных, казалось, ничего не существовало во всем мире. Бабы с криком сторонились с дороги, стаскивая за собой ребят. Тройка неслась неудержимо быстро и, как на смех, по самым людным местам. Звеня, бренча и бросая комьями сырого снега, тройка пронеслась мимо колодца. Несколько голосов закричало ей вслед: «Легше, легше!» Напрасно, уже поздно... Два мужика были сбиты с ног, да чуть не раздавлена до смерти одна старушонка. Наконец тройка уже выскакивала за околицу, как вдруг впереди словно из земли вырос Аггушка. Он тихо шел краем дороги с тяжелым стягом в руках, как бы готовясь поднять его и опустить на что-то с размаху.

— Держи правей! — зычным голосом крикнул Аггушка.

Кудряшев словно ничего не видел и не слыхал, все летел и летел вперед и, как нарочно, прямо на Аггушку. Уже как-то один из купчиков ухитрился ухватиться за правую вожжу, и тройка почти перед самым Аггушкиным носом круто повернула в сторону, но тяжелая дубина уже сорвалась и в тот момент сильно треснула по саням. Сани полетели набок. Все в них сидевшие, кроме Кудряшева, вывалились в снег. Тот, насилу сладив с лошадьми, повернул тройку назад и подкатил к оставленным товарищам.

Впрочем, все обошлось довольно благополучно: только сын Беспалого колено зашиб, да один из купчиков немного нос себе закровянил.

— Сшалели с жиру-то, видно! — ворчал Аггушка в ответ на ругань и угрозы купчиков.

А купчики той порой повалились как попало в сани, и тройка опять понеслась по смуринской улице, бренча и звеня и наводя ужас на всех крещеных.

— Ни суда, ни расправы нету на этих... — молвил Кряжев, когда тройка обратно проносилась мимо колодца, по направлению к закручьевскому мосту. — Охо-хо!..

— Э-эй! Сторонись, грязь! — далеко уже покрикивал Кудряшев.

— Навоз плывет! — отозвался откуда-то насмешливый голосок.

У колодца между тем речь зашла о таинственной недоимке.

— Отступаться, братцы, не приходится... — говорил Кряжев, сидя на краю колодца. — Уж я схожу в губернский, поглядим ужо... А оставлять так не можно!

Красногоркинский учитель, замешавшийся в толпу, толкнул локтем чирковского приказчика и шепнул: «Слыхал, как у нас?..» Тот молча кивнул головой.

— Это я, братцы, к тому говорю, — продолжал Кряжев, — что миру самому надоть о своем деле порадеть. На-ко! Ни становой, ни посредник и знать не хотят про наши дела мужицкие... Коли нонече, знашто, так все пошло у нас...

Учитель опять толканул приказчика локтем в бок, а тот опять молча кивнул ему головой.

— Погоди! Дай время! Он еще не так расходится, не того еще нагородит... — шепнул на ухо приказчику учитель, немного погодя.

— Вы что там, Семен Васильич... Придвигайтесь! — обратился к учителю Кряжев.

— Нет, мы вот с ними по деревне маленько прогуляться пошли! — отозвался учитель, кивая головой на приказчика.

И они отправились далее по улице.

— А ты, Митюха, помалкивал бы про иной раз, — заплетающим языком бормотал Федька Горелый, наклоняясь немного к Кряжеву и пошатываясь. — Потому не ровен час... Всякого тут гаду у нас шатается довольно. Время ноне праздничное... Вон хошь те... Чего они везде нос свой тычат?.. — И Горелый махнул рукой на два удалявшиеся драповые пальто.

— Что ж! Мы не что такое говорим, слава богу... не против закона. Это мы, значит, о своих нуждах... Толковать не воспрещено...— с жаром вступился Лисин, самонадеянно оглядывая толпу и как бы желая, чтобы Кряжев продолжал свою речь.

Но Кряжев замолк, спустил с колоды ноги и потянулся.

— Никак и по домам пора! Смеркается...— проговорил он и, тихо вышед из круга, побрел домой.

А приказчик с учителем зашли к Евграфу Евстигнеевичу и зачали у него чаевать да попивать водочку и закусывать семужкой.

— Так вот этаким-то манером, Евграф Евстигнеич,— продолжал, очевидно, давно уже начатый разговор учитель.— Не будем, говорит, податей платить, да и шабаш! Потому, говорит, собирают не по закону...

— Не ладно, что вы меня не гаркнули!— заметил писарь, наливая гостям и себе по большой рюмке.— Хоть бы одним ушком послушать его умных речей... Ну, да и так обойдемся!— При этом писарь, загнув голову, опрокинул рюмку в рот; гости последовали его примеру тотчас же.

— Скажу Кузьме Ивановичу!— заговорил приказчик, поддевая кусочек семги.— Он и то к мировому собирается...

— Нет, ты постой! Ты этого не делай! Торопиться некуда!— остановил писарь.— Я уж скажу, как будет время... Мы уж приберем его к рукам, голубчика. А мировой что? Мировой только шуму попусту наделает! Тут, господа, надо действовать тонко-тонко... Птицу до времени пугать не след.— Писарь при этом прищурился и выразительно потряс в воздухе рукой, как бы желая показать, как тонко надо действовать.— Это дело-то чем пахнет, вы как, молодцы, думаете?— продолжал писарь, многозначительно посматривая на своих собеседников и понижая голос.— Владимиркой пахнет! Вот чем!..

— А хозяину я все-таки скажу!— промолвил приказчик.

— Скажи! Только скажи, чтобы он до поры до времени держал язык за зубами!— подсказал Евграф Евстигнеевич.

— Не испортить надо! — заметил и учитель, подбираясь к семге.

— То-то я и говорю! — подхватил писарь. — Уж вы только помалкивайте, уж положитесь на меня!

Так на том и согласились.

VII. ТЕ ЖЕ, КРОМЕ КРЯЖЕВА

На средокрестной неделе Кряжев стал собираться в губернский город.

— Ах, Митя, ей-богу... сердце у меня все изныло! — накануне его ухода говорила ему Евгения, сидя у него в хатке. — Все о тебе... Как ты пойдешь туда... Скажешь опять там что-нибудь такое, ввяжешься и пропадешь совсем, а без тебя и я пропаду. Уж я это знаю, чует мое сердечушко! И в тот раз пошел, хотя и недалеко, а меня такая-то тоска взяла, что хоть в воду, так в пору... Митя! Не скрыть мне будет от своих домашних!

И девушка, прикрыв рукой свое пылавшее лицо, склонилась к нему на плечо головой.

— Ну, полно! Чего еще вздумаешь? — ободрял ее Кряжев, гладя ее по шелковистым волосам своею мозолистою широкою рукой. — Погоди все обойдется... Схожу, разузнаю ужо, как нам с этой недоимкой быть... Скоро, надо быть, и барыня воротится... Как только что — и бежи к ней! Она в обиду тебя не даст — уж это верно...

— Да не обо мне речь... О тебе я больше... — перебила его девушка. — Вон и вчерась у нас писарь сидел и все о чем-то с дяденькой говорил... В избу-то нам не приказали ходить, так я все за дверью стояла да слушала. Часто тебя поминали, только никак я толком не вслушалась. Только слышала, писарь, как домой собирался, сказал дяденьке: «А уж вы, Григорий Иваныч, никому ни-ни!» И дяденька шепотком тоже ему: «Ни-ни!» — говорит... Вот мне всю-то ноченьку и чудилось, что это они против тебя... Для чего бы шептаться да в избу баб не пускать!.. Видно, на уме у них нехорошее: боятся, знать, что ли!..

— Потягаемся! Кто перетянет, бабушка-то надвое сказала! — с уверенностью заметил Кряжев. — Это все их артель наша мутит, спокою, вишь, им не дает... Вот они и копошатся, «шу-шу» да «шу-шу»... Да и у нас-то, кажись, сила теперь немалая... Разгуляться-то им шибко не на что...

— Ведь их, Митя, много! — заметила девушка.

— Нас — больше! — решительно промолвил Кряжев.

Затем, когда он стал прощаться с Евгенией и девушка горько заплакала над ним и крепко-крепко обвилась руками кругом его шеи, Назарыч, лежавший на печи у стены и не подававший до тех пор признака жизни, вдруг заворочался, словно бы его ожгло или укусил кто-нибудь: старый служивый услыхал жалобные слова девушки, ее тихие, сдержанные всхлипывания, дрожащий голос Кряжева — и не выдержал...

— Ты по мне, ровно, как по покойнике, надрываешься! Ведь не последний раз видимся... — силясь улыбнуться, проговорил Кряжев, отводя от себя руки девушки и с трудом освобождаясь из ее крепких объятий.

Евгения ушла. Кряжев с крыльца посмотрел ей вслед, как она спустилась с берега, перебежала по льду, поднимаясь в Закручье и скрылась в ворота дядина дома. А Кряжев все еще стоял, облокотившись о верею, и все смотрел на речку, на то самое место, по которому бежала девушка. Ночной холодок стал прохватывать его; он слегка вздрогнул, одернул одежонку и пошел спать. А глаза его все еще смотрели как-то странно; как будто бы ждали какого-то решительного ответа и в то же время боялись его...

Семян овса на посев у смуринцев не осталось ни зерна к весне, и не предвиделось никакой возможности заполучить его ниоткуда, кроме кулаков. Вот Кряжев и советовал Лисину от лица всех смуринцев обратиться заблаговременно с просьбой к земству о выдаче в ссуду денег или семян.

— Ежели вы, Илья Петрович, похлопочете у Вальда, — говорил он, — так это дело выгорит беспременно. Потому артели земство скорее даст веру, нежели одному либо двум мужикам.

Лисин был вполне согласен с тем, что «они с Вальдом уломать это дело могут!..»

— Только ведь вот притча! — подумав и почесав затылок, заметил Лисин, изображая на своем лице какое-то болезненное недоумение. — В Москву ведь с гвоздем меня посылают... Как тут быть? Не разорваться стать!.. Вы бы уж о семенах похлопотали... А то ведь просто анекдот, да и полно!

— Ну, чего «анекдот»! — возразил Кряжев. — Вся-

кому свое дело... Я, значит, по недоимке... Вы насчет семян... А в Москву-то можно и другого отправить. Я уж говорил им! Кузьмичев берется.

— Браться-то он берется, да что толку-то из того? — надув губы, с озабоченным видом заговорил Лисин. — Человек он темный, небывалый, и в Москве-то запутается совсем! Что он там поделает? Будет ровно в лесу ходить! Купцы известно что за народец... Маху не дадут! Им бы только облупить нашего брата... Нет, Митрий Михайлыч! При этаком деле знакомство иметь надо...

— Так-то так, Илья Петрович! Верно вы говорите... — заметил Кряжев. — Да вот насчет овса-то, окромя вас, похлопотаться некому будет... А уж я этой недоимки не оставлю, зачал уж путать, так распутаю. А с железом и Кузьмичев сладит... Пробоистый парнюга... Разиня рот тоже не ходит...

— Да это что... а без знакомства никак нельзя... — упорствовал Лисин. — Того гляди и с гвоздем пропадешь...

Кряжев в те минуты видел почтенного Илью Петровича насквозь. Он видел, что Лисину охота поехать в Москву с артельным гвоздем. А для чего бы ему надо было поехать туда? Кряжев очень хорошо знал и это. Лапу нагреть около артельного гвоздя охота была Лисину. Вот Кряжеву и думалось убить зараз двух зайцев: не допустить Лисина до артельного гвоздя и направить его влияние на раздобывание семян.

— Не сумлевайся, Илья Петрович! Кузьмичев справится... — на все его доводы повторял Кряжев.

И Кряжев успел: артель решила послать Кузьмичева в Москву продавать гвоздь... В самый же день ухода Кряжев виделся с Лисиным и просил его съездить в Черешинск заблаговременно.

— Ведь там у них сколько времени еще провожжаются, гляди... Пойдут переписки да отписки... Не скоро у них толку добьешься! — говорил Кряжев.

— Ладно! Съезжу! За общество похлопотать я никогда не прочь законным манером! — несколько сухо отозвался Лисин и сухо расстался с Дмитрием Кряжевым.

— А ты, воевода, смотри! — говорил Кряжев на прощанье Назарычу. — Побереги Евгеньку-то... Сам знаешь, ежели там что...

Забросил Кряжев на спину свои дорожные хотули, взял посох, уже видавший виды, и пошел по дороге к городу. Снег на ту пору начинал уже таять и проваливался под ногою. Весной припахивало в воздухе. На вербах уже показывались почки. Как-то, говорят, поутру уже слыхали жаворонка. Бодро шел Кряжев вперед своим обыкновенным, твердым, уверенным шагом. Он не оглядывался назад, все вдаль смотрел как человек, уже сведший с прошлым счеты. Долго вслед ему смотрел Назарыч; долго смотрела на него и Евгеша из-за околицы, с Закручья. Вот уж он только темным пятном рисуется в серой, белесоватой дали, вот и пятно наконец скрывается. Назарыч привздохнул и побрел в кабак «с горя», что он опять один-одинешенек остался в пустой хатке коротать скучную пору. А Евгения горько и долго плакала, склонившись разгоряченною головой на холодную сухую жердь изгороди, и падали ее темные слезы на гнилую жердь, текли по лицу и по рукам.

Евгеше все что-то неможется: сердце ноет, во всем теле ломота, тяжесть, головушка болит, болит... Э-эх, не в добрый час в тот зимний вечер загасла лучина в Митюхиной хате! Постылая жизнь без милого! А тут еще того гляди ребенок... И зачем, для чего он на свет родится? Не на горе ли себе, не на горе ли ей — не на беду ли им обоим? Не в том дело, что Дмитрий не женится, а в том ее думушка, ее тоска завсегдашняя, что ворогов у милого много и скалят они на него свои зубы, как волки жадные, голодные... Чу! Ровно как где-то нож точат... Евгеша прислушивается; она так возбуждена. Может быть, и в самом деле где-нибудь на деревне в ту минуту точили нож, и звук доносился до нее по заре, а то, может быть, ей и просто почудилось... А ей, встревоженной, напуганной, так и кажется, что точат нож не про кого другого, как про ее милого. И точат, точат где-то нож, железо так и ззыкает по точилу; неприятное ззыканье отдается в ушах Евгеши... Девушка даже вздрогнула с испугу и бросилась домой, а прибежавши, сказалась больною, забилась на печь да так, не евши, не пивши, всю ночь и пролежала на горячей печи. Озноб ее бил, зубы стучали, в висках ровно молотком колотило, и в жар и в холод ее бросало, и слышалось ей все, что точат нож, и перед глазами у нее то и дело блестели большие, ши-

рокие, острые ножи, и блеск их страшно и нестерпимо больно резал ей глаза. Евгеша бредила, и благо еще, что никто не подслушивал за ней, а то тайна ее, пожалуй, открылась бы прежде времени, в тот вечер. В бреду много раз поминала она Митю и Назарыча, звала их, и просила играть на гармонике, и все спрашивала: «Для кого точат эти большие ножи?..»

С Евгешей приключилась лихорадка. Прокудиха спрыснула девушку с уголька, хотела было сводить ее в баню и попросила одну старуху «выпарить хорошенько Евгеньку», но племянница наотрез отказалась от бани и от парки, сказав, что не может идти и не пойдет ни за что. Через неделю, впрочем, ей полегчало, хотя и после того она еле-еле перемогалась и все норовила забраться на печь или на постель.

Назарыч за это время также скучал немало и из кабака возвращался поздно. Захаживал, правда, изредка к нему Аггушка, да только этот собеседник немного приносил ему веселья. Старик был рад-радешенек, когда Евгеша, пооправившись от своей болезни, стала опять забегать к нему в хатку, как бывало при Митюхе. То она поведает ему из своего житья-бытья какую-нибудь неприятность или смешную историю. То, бывало, служивый примется потряхивать своими воспоминаниями о военных подвигах, о дальних и трудных походах и о стоянках в болоте по колено в студеной воде. О последнем обстоятельстве служивый обыкновенно пуще всего распространялся: из-за этих стоянок одно время он совсем без ног был, да и теперь иной раз ноженьки у него так ломить начнет, так заноют, что просто «хошь караул кричи»! Очень уж солоно достались ему эти стоянки, и он говорил о них с таким жаром, с каким не рассказывал даже о самых страшных сражениях в Крымскую войну. Всего чаще речь заходила о Кряжеве, о котором не было ни слуху ни духу... Пятая неделя великого поста подходила к концу... Где-то он, как и что с ним? Добрался ли он до города? Здоров ли? Удастся ли ему что-нибудь сделать там? Вот вопросы, на которых чаще всего вертелись разговоры между девушкой и старым солдатом.

— А из лица-то ты как ровно бы поисхудала! — говорил ей Назарыч. — Это, девка, не дело... Не годится так-то... Митрий-то Михайлыч мне за тебя что сделает?

— Да как же, Ларион Назарыч! — оправдывалась девушка. — Думаешь, думаешь... Все сердце, кажись, изныло... Право!

— Гм! м-м-да!.. — бормочет служивый в смущении и никак не может разогнать девичью тоску.

«Будь помоложе да будь ноги потверже, — вот ей-богу-ну, хошь бы в пляс пустился! — раздумывал он. — Только бы разгулять-то ее, как ни на есть. А то придет иной раз, сядет, молчит, то на гармонику смотрит, то к оконнице приклонится, глядит на улицу в темь непроглядную, а в лице ни кровинки, ровно мертвая, — и губы-то такие белые, как мелом натерты. Только грудка подымается, да по щеке нет-нет слеза покатится...»

Как умел, так и веселил он Евгешу. Запевал он и песню свою любимую: «Ночи темны, тучи грозны...» — горланил на всю ивановскую, и все-таки редко ему удавалось вызвать веселую улыбку на побледневшем исхудалом личике «своей голубки».

VIII. ЕВГРАФ ЕВСТИГНЕЕВИЧ УВЛЕКАЕТСЯ

Писарь той порой серьезно начинал думать, что он шибко полюбился Евгеше. «Чтой-то как она худеет! — размышлял он. — Неужто я так уж донял ее... гм!» Евграф Евстигнеевич при этом мысленно улыбался с самым довольным видом, с видом кота, которому почесали за ухом. Евгеша молча и, по-видимому, со вниманием слушает его росказни, его шуточки и прибауточки, разговаривает с ним охотно и преисправно кушает его жамочки и карамель. Он уже делал намеки на то, что он, Евграф Зайцев, желал бы преподнесть ей свое сердце и руку, а взамен того желал бы заполучить от нее таковые же. Он переписал собственноручно из песенника стишки и передал их Евгеше. В тех стихах, между прочим, значилось следующее:

Сидя вместе на кусточке,
Ворковали голубочки,
Вдруг носками нежно чок —
И с голубкой голубок,
Кои вместе страстью тлели,
Вместе, вместе и взлетели.
Ах! сижу я здесь один.

Отсюда уж ясно, что Евграф Зайцев «страстью тлел»... Евгеша с трудом писала и еще с бо́льшим тру-

дом разбирала рукописное. Кое-как прочла она стихи с помощью самого переписчика — прочла и расхохоталась.

— Занятно! — с усмешкой заметила девушка.

Любовь поистине слепа. Писарь не оценил по достоинству ни смеха, ни выражения Евгешинова лица при чтении стихов. Придя в тот вечер домой, Евграф Евстигнеевич по меньшей мере раз десять повторил про себя: «Знай наших!» — и раз даже ни с того ни с сего хлопнул в ладоши. За первыми стишками явились другие, третьи и т. д. В одних объяснялось, что «без любви нам вся вселенна степью кажется пустой»; из других явствовало, что «цветущу зря красу и младость, нечувственным возможно ль быть»; в третьих спрашивалось: «Долго ль буду сокрушаться в злобной горести моей?» — и т. д. Евгеша принимала эти стихи и много смеялась. А писарь, глядя на нее, раздумывал: «А ведь совсем отощает, ей-богу, право! Надо бы нам решиться...» Он все более и более убеждал себя, что девушка сохнет именно по нем, что он будет большой руки злодей, если не пожалеет бедную сироту и не осчастливит ее законным супружеством. Это же пагубное заблуждение главным образом проистекало, вероятно, из того, что бедная сирота ему шибко нравилась, или, как бы выразился сам Евграф Евстигнеевич, «забрала его за живое». Наконец он отважился действовать...

Принесши однажды, по обыкновению, Евгеше конфект, он развернул одну, снял с нее билетик и прочитал про себя.

— Это я на вас загадал... — молвил он, подавая девушке билетик.

Сваха на свадьбу спешила,
На мутовке рубаху сушила.

— Фу, какие глупости! — заметила девушка, прочитав по складам это двухстишие.

— Что же за глупости! — возразил писарь. — Это вам, значит, насчет суженого... А суженого, говорят, и конем не объедешь...

Писарь открякнулся и, заложив два пальца в карман своей потертой атласной жилетки, глубокомысленно посмотрел в потолок и ровным, размеренным тоном заговорил, словно по книге зачитал:

— Бог сказал: неповадно быть человеку одному, сотворю ему жену, — и сотворил и пустил их в рай, в такой прекрасный сад...

— А нынче, говорят, в рай-то попадают только монахи да попы! — перебила его Евгеша с легкой усмешечкой.

Писарь смутился. Но такой серьезной разговор, разумеется, не мог идти долго, да и не по нутру он был Евграфу Евстигнеевичу. Собираясь в тот вечер домой, писарь так расчувствовался, что у него едва слюни не потекли, а глаза так-таки совсем посоловели.

— Позвольте ручку!.. — обратился он к девушке и с умильной миной потянулся губами к ее руке.

— Пожалуй! — бойко промолвила та, слегка зарумянившись, а глаза ее смело и решительно посмотрели на писаря. — Скажите мне только, пожалуйста, о чем вы раз вечером с дяденькой так долго говорили, запершись, и никого не пускали сюда? Помните? Любопытно мне знать это... Давно я вас спросить об этом хотела, да все как-то забывала...

— Это, видите, такое дело, что я уж и не знаю, право... — замялся писарь. — Потому надо держать в секрете.

— Я никому не скажу! — твердо проговорила девушка, не спуская глаз с своего ухажливателя.

— Что это вам вдруг вздумалось? Вот ей-богу... Просите другого чего... Я на все с моим удовольствием... — пробормотал писарь.

Очень уж смущали его и блестящие глазки, и разгоревшиеся щеки, и странное требование девушки.

— Ну, скажите, Евграф Евстигнеевич! Пожалуйста! Скажите... я вас поцелую... — молвила она нежно, опуская свою руку на засаленный рукав его сюртука.

Тут наш Евграф Зайцев совсем ошалел, мурашки пробежали у него по телу, глаза как-то странно запрыгали, а нижняя губа совсем уж отвисла. Писарь не выдержал...

— Расскажу... Только сначала... — И он придвинулся к Евгеше.

— Э, нет, нет! Вы сначала скажите! Какой ловкий, право!.. — крикнула девушка, отшатываясь от него.

— Ну, нечего делать! Вижу, что упрямы! — уступил писарь, уже вконец отуманенный девичьим лукавством, и шепотом принялся рассказывать Евгеше, про

что они говорили с дяденькой в тот вечер, когда к ним в горницу никого не пускали.

Оказывалось, что Кряжев Дмитрий раз как-то о масленице вел с мужиками неподобные речи, мутил их, подбивал не слушаться властей, недоимок и податей не платить...

— Кто же это слышал? — равнодушным тоном спросила девушка, когда Евграф Евстигнеевич закончил свой рассказ.

— Да кто? Слышали уж... — подмигивая, ответил писарь. — Красногоркинский учитель слышал, и приказчик чирковский слышал, и Лисин, да и много народу там было, все слышали...

Девушка поникла головой и продолжала внимательно слушать. Оказывалось, что на Кряжева хотят донести, что он бунтует народ.

— А что же ему за это будет? Его в острог посадят?.. — полюбопытствовала девушка, рассеянно глядя в окно и как бы вовсе не придавая значения своим расспросам.

— Гм! В острог! Мало в острог! — объявил писарь. — За такие дела по головке не гладят! Потому, это не то, что ворох соломы утащить или согрубить кому... За такие-то дела можно и в каторгу угодить...

Девушка чуть заметно вздрогнула, но совершенно спокойно спросила писаря:

— Кто же хочет за это дело взяться, донести на Кряжева?

Но на этот вопрос писарь отказался решительно отвечать.

— Скоро ли же это? — как бы просто, от нечего делать спросила Евгеша.

— Вот ужо, как из города вернется...

Если бы Евграф Евстигнеевич был понаблюдательнее и не столько бы увлекался самим собой, то он, вероятно, мог бы заметить, что под наружною холодностью девушки бушевали бури, что Евгения при его рассказе волновалась, что голос ее дрожал, грудь неровно поднималась, дыхание было прерывисто, а пальцы ее судорожно и сильно крутили кончик белого передника, словно бы таким крученьем девушка старалась заглушить свою внутреннюю тревогу, свое отчаяние и жгучую тоску, что поднялись в ее душе при рассказе писаря. Конечно, если бы Евграф Зайцев мог сообразить,

что не пустое любопытство заставляет Евгешу допытываться от него этого рассказа, а любовь и участие к Кряжеву и его делам, то писарь скорее бы откусил себе язык, нежели бы сказал ей хоть одно слово, которое могло бы открыть Кряжеву заговор, составившийся уже давно против него и хранившийся под глубочайшим секретом. Заговорщики так боялись Кряжева, что думали про себя: «Только узнай он, и все живо размечет и нас еще в грязь втопчет»... Им без всякой борьбы просто хотелось накрыть его, как зверя, — вдруг, неожиданно. Рассказ был короток и ясен; Евгеша узнала из него все, что ей было надо. В заключение писарь просил Евгешу никому не разглашать об «этом деле». А та, задумчивая, по-прежнему бледная, неподвижно сидела на стуле, сложив на коленях руки. Она обещала писарю молчать. Ради Кряжева она и пуще грех взяла бы на душу, не только, что ложь... С минуту она думала: давать ли писарю обещанный поцелуй? — и пришла к тому заключению, что это рыло может еще пригодиться.

Девушка быстро поднялась с места, слегка коснулась уст Евграфа Евстигнеевича своими пунцовыми губами и почти бегом выбежала из избы. На повитях натолкнулась она на Прокудиху, но та не обругала ее на этот раз: писарь был для Евгеньки жених видный и Прокудовым на руку... Только тут, заметив склонившееся к нему на единое мгновенье бледное лицо и лихорадочным огнем горевший взгляд черных Евгешиных глаз, писарь подумал: не обмахнулся ли он? Не слишком ли далеко хватил? Распаленный неудовлетворенною страстью и не совсем довольный собой, возвратился домой в тот вечер Евграф Евстигнеевич. «А ну как она с дуру-то возьмет да булькнет кому-нибудь на деревне; у баб язык-то долог... Оборони бог... — раздумывал он. — Вот так удружил, Евграф!.. Сам, значит, своими руками... Этак-то... Ловко! Хорошо! Вот так хорошо! В отделку!..» Из позднего раскания, как известно, путного никогда ничего не выходило. Открываться Евграф Евстигнеевич никому не мог. Как тут скажешь, что девка баловством выманила у него этакий секрет? Засмеют, загрызут. Тот же Кузьма Иванович проходу не даст... И пришлось писарю на одном себе выносить тяжелую пытку догадок, подозрений и страха.

IX. ДВА РУКОБИТЬЯ

Евгению занимало артельное дело и все, что занимало и касалось Дмитрия Кряжева. Она прислушивалась ко всему, что говорилось у них в доме и на деревне про артель и про Митюху. Она уж знала, что у Мити много недругов и явных и подколодных. Она знала, что недруги не откажутся насолить Кряжеву каким бы то ни было способом, что они только таятся в ожидании часа, как им можно будет излить свой яд на ненавистного им человека. Евгеша смотрела в оба кругом себя и прислушивалась чутко. Она хотела все разузнавать, при первой возможности все передавать Кряжеву, при первой опасности идти к нему на помощь, не жалея ни себя и никого, — и спасти любимого человека от всех напастей. Вот отчего не прогоняла она от себя и писаря; вот отчего она терпеливо выслушивала его глупые россказни, ела его пряники и конфекты, принимала от него стишки, писанные на серой бумаге писарским размашистым почерком, и мило улыбалась в ответ на его любезности.

Теперь девушка видела, что над ее Дмитрием собирается гроза с громом-молнией. Ему угрожает острог, каторга. О каторге у Евгеши, как и вообще у всех смуринцев, понятия были самые сбивчивые. Под каторгой разумелось что-то страшное, какая-то далекая-далекая сторона, где всегда темно и холодно, куда за грехи гоняют людей в цепях, и как только люди со свету крещеного войдут туда, так и пропадут навеки... «Неужто ж и Дмитрия-то в эту проклятую сторонку угонят! О господи!..» Она не знала, как ей спасти Дмитрия. Будь он здесь, она сейчас же побежала бы к нему и все бы рассказала, что узнала от писаря. Знай, куда писать к нему, она тотчас бы вывела на клочке серой бумаги свои каракульки и завтра же послала бы письмо в город с кем-нибудь из едущих на базар. Но его здесь нет, а куда писать к нему — неизвестно. Оставалось только ждать... Евгеша плакала, горько плакала, проплакала всю ночь напролет. Она поминутно ворочалась на своей жесткой постилке, в томительной тоске ломая руки, а ее отчаянный, скорбный взгляд напряженно устремлялся в ночную темь, словно бы ища чего-то, словно бы все надеясь, что там блеснет свет...

И лютые муки приняла Евгеша, все пуще и пуще

раздумываясь о милом; в несколько дней она осунулась так, как будто бы много недель в тяжкой болезни пролежала...

А писарь стал серьезно подумывать, что он такой злодей, какого еще свет не производил, что девка-то совсем сохнет, в гроб смотрит. «Это как есть с самого того дня, как я ее чмокнул! Ей-богу, право!» — рассуждал Евграф Евстигнеевич. Сначала, правду сказать, он думал просто побаловать с Евгенией, отвести душеньку, а потом взял бы да и раскланялся: «Наше, мол, вам нанглубочайшее...» Приходись Евгеша Григорию Ивановичу родною дочерью, тогда бы другая была песня: тогда писарь не посмел бы предаваться таким радужным мечтам, да и «резонтов» никаких тогда не представлялось бы к тому. Прокудов богат, как черт, и женитьба на его дочери Евграфу Евстигнеевичу, пожалуй, еще было бы и не совсем к лицу... А тут — племянница, сирота, бедная девочка, все одино, что в казачихах у дяди из-за хлеба живет, — совсем, значит, другая стать, и большой опаски быть не могло... Когда же оказалось, что Евгенька «крепка на этот счет», на ласки его не поддается и на все намеки и ухом не ведет, знай себе посмеивается да его орешки пощелкивает, тут писарь сообразил, что без попа, надо быть, одними пряниками не отделаешься...

Вскоре после поцелуя он решил посвататься, но тянул еще день за день. Однако, увидев, как быстро худела Евгеша, он не стал долее откладывать. «А-а ну их! Авось Прокудов раскошелится да отсыплет в приданое сотняжку-другую! Чем черт не шутит, горами качает, не токмо что людьми!..» — утешал себя писарь и, приодевшись, как должно, отправился однажды утром к Прокудовым и откровенно изъяснился с главой семейства. Григорий Иванович стал расхваливать с чего-то Евгешу, по привычке, вероятно, как вообще хвалил он всякий товар, сбываемый с рук; но ломался он, впрочем, недолго. Скоро стукнули по рукам и выпили водки. Сильно же таращил глаза Евграф Евстигнеевич и открякивался, когда в тот же вечер окольными путями ему удалось проведать через одну закручьевскую бабенку, что Евгеньку Прокудовскую за кого-то, слышно, просватывают, а она нейдет, что ее уж ругали-ругали дядя с теткой, чуть ли не поколотили, грозились со двора прогнать... «Вот так та́к! — озадачился Евграф Евстигнее-

вич. — Гм! Ну-у, бабы! Черт с ними ногу сломит... Ну вот, тут и разгадывай, какого ей рожна надо! Сдурила, видно, девка совсем...» Тут уж он спохватился: не лучше ли бы ему было перетолковать прежде с самой Евгенией. Теперь, пожалуй, было уж поздно.

Пообождав денька два-три, Евграф Зайцев, немного под хмельком, опять отправился к Прокудовым и заявил напрямик Григорию Ивановичу о том, что дошло до него стороной.

— Пустое! — ободрил его тот. — Девка ведь насчет того — всегда с норовом... Без этого нельзя... уходится! Глупостей ихних не переслушаешь! Молода ведь... Сдуру-то вот и того...

Хотя писарь и кивал утвердительно головой, но далеко не вполне был согласен с Прокудовым. «Уж не обмишурился ли я? Вот так будет штука! — мелькало у него в пьяной голове. — А ну, как у нее уж есть голубчик?.. А — гм!» Как ни был туп Евграф Евстигнеевич на понимание, а видно, все-таки взял в толк, что ежели девку бранью да колотушками принуждают под венец идти, так дело-то, должно быть, не совсем ладно. Писарь закручинился и обозлился, обозлился на того неизвестного, на которого променяла его Евгения. Писарь запил и дня три пил без просыпу. Потом они с Прокудовым вдругорядь стукнули по рукам.

В смуринской стороне был обычай пропивать и простукивать невесту три раза, — последний раз окончательным. После первого и второго рубитья бывало случаи, что свадьбы расходились, после третьего — почти никогда.

И вот по вечерам у Прокудовых на столе горят две сальные свечи, собираются девушки-подружки и вместе с невестой усаживаются кругом большого стола, шьют приданое и готовят белье жениху. Девушки все разодетые, а невеста покрыта каким-то стареньким серым платком и в самом что ни на есть дрянном, затасканном платьишке. Девушки иной раз песни поют, но песни выходят невеселые, ноющие, больно хватающие за душу. И сами девушки не смеются, не улыбаются; словно нехотя сошлись они сюда; словно не на радость готовят они Евгению, а хотят живую в могилу класть. Ах, лучше бы девушки вовсе не пели песни, а сидели бы молча! Их пение звучало, как похоронное... Евгеша сидит, наклонившись, и молча шьет красную кумачную рубаху.

Из-под дрянного платка показываются неподвижно уставившиеся ее черные глаза, черные пряди волос, ее осунувшиеся смуглые щеки. Ей не до пения, не до подружек, не до веселья. Не свадьба ее смущает: свадьбе не бывать — так порешила девушка про себя. Ее мучит и заботит участь Дмитрия; ее мучит ее собственное бессилие, томительное ожидание. А писарь с дядей ей вовсе не страшны. Злая Прокудиха, как яга-баба, сидит в сторонке, насупившись, и приглядывает за девушками, а когда выходит вон, то поручает своему пятилетнему щенку приглядывать и подслушивать за невестой и все передавать ей, что она без нее станет говорить с кем-нибудь из приходящих мужчин. Иной раз девушки принимались величать заходивших к ним молодцов, те за величанье набрасывали им полушек и грошей, и девушки накупали пряников и меду, бражничали и лакомились.

Хотя Евграф Евстигнеевич и не высказывал Прокудихе своих подозрений насчет Евгеши, но Прокудиха сама думала в том же самом направлении, и шибко разбирало ее бабье любопытство. Кто приглянулся Евгеньке? Кто ей, мерзкой, вскружил головенку? Вот что ей нужно было допытаться. Девушка на все ее просьбы и угрозы отвечала или молчанием, или просто отнекивалась, говоря, что у нее никого нет. Ради того же, чтобы пронюхать Евгенькины шашни, она развращала и своего сынишку, делала из него с малых лет наушника и шпиона. И Петюшка без матери действительно был при невесте безотлучно. Он или сидел на лавке, или торчал у самой Евгеши, если кто-нибудь приходил посторонний и обращался к невесте. Бойко и лукаво посматривали в ту пору его светлые, детские глазенки из под льняных прядей свесившихся на лоб волос; умно смотрели глазенки, перебегая с невесты на посетителя, оглядывали сидевших девушек, заглядывали и под стол — словом, не оставались в покое ни минутки. Евгеше было больно смотреть на мальчугана; она отворачивалась от него, а если и взглядывала на него порой, то с глубоким сожалением, чуть не плача. Она была всегда добра к нему, ласкала его; часто он засыпал у нее на коленях, убаюканный ее тихим, ласковым пением. Она звала его своим «ангелочком». И вот он становится на сторону ее врагов; он шпионит, доносит на нее тетке. Этот малютка теперь стал отвратителен, страшен.

Дёвушки косятся на него, ругают его «дьяволенком». Ведь он и их также стесняет. Девушки иной раз не прочь бы поболтать о том о сем, о чем обыкновенно болтают девушки промеж себя, когда одна из них выходит замуж. Взглянут они на своего маленького, молчаливого собеседника и примолкнут, словно языки прикусят. А мальчуган в ответ на их ругань язык им показывал и смеялся неслышимым смехом. Петюшка верно справлял свою службу, но Прокудиха все же таки ничего не пронюхала. И Евграф Евстигнеевич напрасно шнырял по деревне, высматривал, подслушивал и наблюдал: и он ничего не узнал новенького. Кто вскружил Евгеньке голову — оставалось тайной... И в другой раз наконец писарь с Прокудовым стукнули по рукам.

Тускло горят свечи в прокудовской избе. Девушки перешептываются за работой. У невесты в руке игла ходит вяло и лениво. Невеста не притрагивается к гостинцам и сидит, низко понурившись, как будто бы над нею постоянно висит острый тяжелый топор, которому вот сейчас надлежит сорваться и опуститься ей прямо на голову... А страшный маленький человечек, едва видимый из-за края стола, молча поглядывает на всех своими быстрыми, проницательными глазками и словно бы старается запомнить все до единого слова, что говорят девушки между собой и с невестой...

X. ТКУТ ПАУТИНУ

Враги Кряжева той порой не дремали. В Лисине он себе нажил еще одного лишнего врага. И было за что злиться Лисину. Он отстал от своих собратьев кулаков, заметив, что путь для наживы должен быть избран новый, непротоптанный. Для того он подластился к крестьянам, о закручьевцах говорил завсегда с ужимочкой, с усмешкой, пожертвовав на кассу своих кровных пятьдесят рублей серебром, дружил с Кряжевым, столь ненавистным для Закручья и столь любимым смуринским людом, принимал участие во всех делах, клонившихся прямо или косвенно ко вреду кулаков, действовал в интересах кузнецов-рабочих; словом сказать, изображал из себя добродетельного барана, позволяя смуринцам, в лице Кряжева, стричь и брить себя напропалую. Он одобрял устройство общественной лавки — даже предлагал поместить ее в собственном доме. Горячее участие при-

нимал он в учреждении артели, сносился с Вальдом, и чуть ли даже не ему собственно артель обязана была своим существованием. Он вынес зато от кулаков всякие надругательства и положительно думал, что должен казаться агнецом, ведомым на заклание. А закручьевские дураки не понимают, что все это он делает лишь с тою благою целью, чтобы беспрепятственнее нажиться на счет того же обираемого, голодного мира, на счет которого благополучно богатели и кулаки.

Насолить-то он насолил Закручью, а себе-то еще пока ничего не добыл. Хотел он запустить в кассу свою мягкую лапу — не удалось. Намеревался он захапать общественную лавку в свое ведение — также сорвалось. С умыслом или ненарочно Кряжев помешал ему, устранив его и посадив заместо того в приказчики Федьку Горелого. В артели Лисин видел важную статью для наживы и уже рассчитывал сцапать ее — благо ему удалось заручиться знакомством с г-ном Вальдом и втереться в «уполномоченные от земства при смуринской кузнечной артели».И вдруг Кряжев опять вырывает у него добычу из-под носа: не с ним, а с Кузьмичевым отсылает артель гвоздь в Москву. По некоторым отрывочным словам, по некоторым взглядам серых глаз Кряжева, Лисин догадался, что Дмитрий насквозь уразумел его хищническую, двуличную натуру и оценил ее по достоинству. Лисин возненавидел Кряжева сильнее всех его врагов. Он ненавидел его всеми силами души, всем помышлением, ненавидел так, как только может ненавидеть человек, преисполненный лицемерия и лжи и сознающий, что его лицемерие и ложь разгаданы, распутаны, что он обезоружен. Нужно было, следовательно, отвязаться от Кряжева во что бы то ни стало, устранить его с дороги, не разбирая средства, не брезгая никакою подлостью. Поэтому, когда его почтенный родственник, Андрей Беспалый, спросил его однажды, оставшись с ним наедине: слышал ли он, что говорил раз о масленой Митька про подати, то Лисин, подумав с минуту, отвечал:

— Как же! Слышал... у колодца?..

Беспалый подтвердил, что действительно дело происходило на смуринской стороне у колодца.

— В тот самый день исшо, надо быть, Аггушка Гаврюшку Кудряшевского стягом чуть до смерти не зашиб... — в пояснение заметил Беспалый.

— Так, так! Помню! — кивал головой Лисин.

Он очень хорошо разумел, откуда и куда дует ветер. Он еще и прежде от своей бабы прослышал о том, что Митюхе не миновать беды за его долгий язычок.

— Гляди, Илья, чтобы и тебя не пристегнули... Вожжайся с ним больше! — заметила ему хозяйка. — Сгинешь ни за грош...

Илья за себя не боялся и был вполне уверен, что его не пристегнут. Он лишь ухмылялся себе под нос и забавлялся страхами жены.

А по Смурину действительно с некоторых пор пошла смутная, темная молва, бог весть откуда взявшаяся, о том, что над Кряжевым якобы готова разразиться какая-то тяжкая напасть. Определенно никто ничего не говорил, а слух как будто бы носился в воздухе, по ветру. Какие-то странные, робкие, недоумевающие взгляды, покачивания головой, охи да вздохи, да недоговоренные речи — вот единственные выражения носившейся молвы.

Лисин, разговаривая с Беспалым, никак не мог, к несчастью, припомнить сразу, что такого особенного толковал в ту пору Кряжев. Лисин хитро повел речь, делая вид, как будто бы припоминает слова, сказанные Кряжевым. Беспалый помогал ему, а Лисину только того и надо было. По словам же Беспалого оказывалось, что Митюха бунтовал, не на добро крестьян подговаривал.

— Так, так! — поддакивал Лисин, внимательно прислушиваясь к словам Беспалого.

Говоря же по совести, ничего особенного Лисин не помнил, а запомнилось лишь ему, что Кряжев толковал с крестьянами о недоимке, неизвестно откуда накопившейся; жаловался, что ни становой, ни посредник не хотят толком разобрать это дело. Только всего и было.

— А ты покамест про меня помалкивай! Шуму-то не надо! — молвил, помолчав с минуту, Лисин.

— Знамо, языком пусто болтать нечего! — согласился Беспалый.

А Илья Петрович все еще боялся, как бы ему не остаться в дураках, и потому задал Беспалому еще такой вопрос:

— А кто еще слышал?

— Кто? Много кто слыхал! — отозвался тот. — Учитель красногоркинский слышал, приказчик Кузьмы Ива-

ныча, старшина проходил мимо, тоже останавливался. Дело ведь было середи бела дня, на улице. Не запрешься, не укроешься...

— Это уж точно! — поддакнул Лисин.

— Так ты смотри, Илья, не откажись!

— А те... те тоже всё слышали, как ты сказываешь? — в свою очередь спросил Лисин.

— Да знамо дело! — обнадеживал его кулак. — Те прямо под присягу идут...

— Ежели так, то и мне против закона не стать идти! Покажу все как было, — по чести! — согласился Лисин.

Стоило в те минуты посмотреть на этих двух мошенников, которые любили только самих себя, думали лишь о наживе, которым, собственно, не было никакого дела ни до начальства, ни до порядка, но которые прикидывались друг перед другом особами строгими, благочестивыми, молящимися на закон... Да и в Митюхе, по совести говоря, они видели не опасного человека, а просто помеху себе — своим личным, домашним делам. Не мешайся он в их дела, они и ухом бы не повели! А ежели он поперек дороги им задумал встать, так уж они из искорки постараются огонь раздуть...

Но Лисину, как и всем остальным свидетелям, неохота было выступать одним. Илья Петрович, зная, что показания крестьян в этом деле будут очень важны, заговорил с некоторыми, но отъехал ни с чем. Все отзывались, что «Митюха ничего такого не баял», что «може, что и баял, да запамятовали, алибо не дослыхали». Лисин принимался было и грозить. Но крестьяне оставались непоколебимы и на угрозы, как и на льстивые обещания и ласки, не поддавались. Отчасти они, разумеется, боялись суда, всяких судебных проволочек и допросов, отчасти же не шли из той веры, какую они уже издавна привыкли питать к Кряжеву. Немало труда также стоило уломать и старшину пойти в свидетели. Тот, правда, проходил мимо колодца в ту пору, как Кряжев разговаривал с мужиками, и слышал даже его голос, но о чем, собственно, шла речь, не разобрал. Но уговоры закручьевцев, а особенно «резонты» Кузьмы Ивановича, заставили его решиться. Хотя он и решился, а все-таки далеко не был уверен, правду ли говорят про Кряжева, или просто клеплют на него со зла.

Но старшине не приходилось идти против кулаков.

Артельный гвоздь под присмотром Кузьмичева меж-

ду тем под шумок отправился в Москву. За день до отправки гвоздя в Москву же под шумок «по своим делам» отправился и младший Кудряшев с поручением от Закручья побывать в Москве у тех же железоторговцев, которые гуртом скупают гвоздь, и заблаговременно предупредить их о всех происшедших на Смурине переменах за последнее время, об устройстве артели, о том, чтобы они при приемке артельного гвоздя смотрели в оба, что артельный гвоздь «неровен», плох и вообще стоимостью ниже обыкновенной цены. Когда Кузьмичев прибыл в Москву, то дело его уже было проиграно...

Купцы зря придирались к гвоздю, артачились. Иные вовсе отказывались принять гвоздь; иные принимали его по низкой цене и то — как они говорили — «больше христа ради», чем из-за выгод. Как ни вертелся Кузьмичев, но, несмотря на все свое доброе желание, несмотря на всю свою юркость и ловкость, принужден был спустить гвоздь с значительной уступкой. Не везти же было его назад, а своего склада в Москве не было.

Артельщики, узнав по возвращении Кузьмичева о постигшей их неудаче, заметно приуныли и повесили нос.

Кузьмичев, с своей стороны, отказался наотрез ехать в другой раз в Москву с гвоздем до той поры, пока не устроит там артель своего склада.

Закручье ликовало. Ликовал и Лисин.

Около того же времени, раз как-то утром, Евграф Евстигнеевич необыкновенно принарядился, повязал на шею черный шелковый галстук, намазал слегка волосы коровьим маслом, вытер квасом штаны и отправился к господину посреднику. Нила Ивановича он застал в сером халатике за занятием. Мировой посредник, озабоченно насупив брови и нахмурив лоб, сидел за столом, заваленным бумагой и обрезками картона. Губы и руки его все в клейстере. Мировой посредник клеил коробочки. Клеить коробочки было обычным любимым занятием почтенного Нила Ивановича в ту пору, как он был свободен от преферанса и от служебной деятельности. Он то клеил новые, то обклеивал цветною бумагой старые коробочки — из-под конфет, из-под спичек и тому подобного. Вообще, он был человек трудящийся.

— Что скажешь? — обратился он к писарю, облизывая мазилочку и оттопыривая свои рыжеватые усы.

— К вашей милости, Нил Иванович! — мягким го-

лоском запел Евграф Евстигнеевич, приближаясь к столу и обдергивая на ходу полы своего мешковатого сюртука.

И долго они шептались, а при прощанье посредник оставил даже свои занятия и вышел за писарем в переднюю.

— Это вы хорошо сделали... А то, помилуйте, как же можно! — внушительным тоном говорил Хлопушкин, запахивая халат.

— Я и сам им тоже говорил: как же это, господа, можно? — поддакивал писарь.

— Так, так! До свидания! — крикнул Нил Иванович и возвратился к своей мазилочке, к своим коробочкам и тщательно принялся размерять золотой бордюрчик, пригоняя его к краю одного прехорошенького ящичка из-под каких-то дешевеньких папирос.

Чирков также дважды ездил в город и видался со становым и еще с кем-то.

— У нас, на Смурине, Арсений Викторович, не совсем-то ладно! — начал Кузьма Иванович, пожаловав в первый раз к становому.

— Что? Мертвое тело? Нашли? Где? — скороговоркой засправшивал тот, готовясь уже сорваться с места и лететь на следствие.

— Какое тут мертвое тело! Господь с вами! Совсем живое! — разочаровал его сразу Чирков.

Долго шептались они.

— Не уйдет! Не уйдет!... Гм!... А я думал, мертвое тело нашли... — проворчал становой, прощаясь с Чирковым.

Одним словом, вся смуринская нечисть расползалась вдруг, и расползалась не перед добром. Слухи о том, что Кряжеву, «надо быть, не миновать беды», шли все пуще и пуще, получая с каждым днем все более характер уверенности и наводя на простых людей безотчетный страх. Какая такая напасть? Откуда? За что, про что? Никто из смуринцев, кроме немногих посвященных, не знал; но все порой тяжело вздыхали, все как бы ожидали чего-то, все томились... Так иногда в палящий летний день перед бурей птицы и животные начинают томиться, делаются беспокойны, выражают какое-то странное, по-видимому, безотчетное чувство страха и испуга, хотя небеса еще ясны и ни одной темной тучи, ни одной зловещей тени не видать на горизонте.

XI. ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ

Пока на Смурине недруги Кряжева ткали про него паутину и замышляли западни, пока кулаки бились изо всех сил, чтобы подорвать артель, и пускали в ход все зависевшие от них средства, Дмитрий Кряжев путешествовал в губернский город. То он пробирался пешком, то копеек за десять — за пятнадцать мужики подвозили его на своих дровнях несколько верст. Ночевал он где бог приводил: на постоялом дворе, в избе, в лесной хатке, где ветер свистал во все щели и страшно завывал по лесу. А раз пришлось ему всю ночь до белого рассвета идти. Другой раз он заночевал в степи, под стогом, и перед зарей чуть было не отморозил пальцев на ногах. Наконец через неделю он добрел до города.

Четыре раза сходил он в губернское по крестьянским делам присутствие, прежде чем ему удалось повидать того, кого ему было нужно. Делопроизводитель, человек степенный и серьезный, в котором доживал еще дух недавней эпохи, встретил мужика милостиво и внимательно выслушал повесть о фантастической недоимке, об отказе Хлопушкина указать ее происхождение, об аресте Кряжева и о прочем. Несколько раз делопроизводитель пожимал плечами и меланхолически поглядывал на кончики своих ярко вычищенных сапог.

— Посредник без причины... без суда арестовать не может! — промолвил он. — А если вы посредником не довольны, то можете обратиться на него с жалобой в съезд... Обращались?

— Никак нет! — отозвался Кряжев.

— Так что же вы? Обратитесь в съезд сначала! — подтвердил делопроизводитель.

— Да ведь на съезде-то они сидят... — заикнулся было Кряжев.

— Да, да! Обратитесь, обратитесь! — как бы не дослышав, повторил чиновник. — А я теперь сделать для вас решительно ничего не могу.

Потолковал-потолковал он еще, да тем дело и кончилось, то есть, собственно говоря, не кончилось ничем...

Кряжев уже давненько не был в городе и вечерком пустился бродить по улицам. На улицах по какому-то случаю была иллюминация: на тротуарных тумбах и у ворот домов горели плошки — впрочем, больше дымили, чем горели; на окнах домов стояли зажженные свечи.

У губернаторского дома горел вензель с огромными буквами и переливался всеми цветами радуги. В городском саду играла музыка. Сад был также иллюминован разноцветными фонариками. Господа гуляли в саду, катались по пруду на коньках. Простого народа в сад не пускали. Когда Дмитрий подошел к решетке сада, у ворот произошло волнение. Полицейский тащил какого-то лавочника за шиворот. Какой-то барчонок, проходя в саду под ручку с дамой, толкнул лавочника, да еще он же и ругнул. А пьяненький торговец обозлился да во все горло и крикнул барчонку вслед что-то неподобное... Вот за это-то самое изреченье его и потащили в часть... Кряжев постоял, посмотрел через решетку в сад и пошел дальше. Он загляделся было на один красивый дом по Большой Дворянской улице, но лихой караковый рысак чуть не задавил его, а кучер с высоты своего облучка повелительно гаркнул ему: «Сторонись, борода!» Далее какой-то жалкий, пьяненький господин, встретившись с ним на тротуаре, сильно толкнул его, обругал «дураком, болваном, татарином» и еще как-то, — Кряжев уж не слыхал и спокойно шел своею дорогой.

На другой день чем свет отправился он в обратный путь тем же манером, как и достиг города.

Конечно, бо́льшую часть пути он мог бы проехать по чугунке — и удобнее и скорее. Он выгадал бы, наверно, дней пять-шесть, да и ноги не так бы натрудил. Но дело в том, что взад и вперед ему пришлось бы заплатить за проезд рублей девять. На той железной дороге цены за проезд в третьем классе не понижались, как бы по-настоящему следовало ожидать, судя по успеху дороги, а, напротив, год от году повышались.

Кряжев рассуждал так: «Времени сберегу я, положим, дней пять. А куда мне торопиться? Я истрачу девять рублей, а на гвозде-то их я едва выручу дней в десять». Вот и шел он с котомкой за плечами, в дырявых поршнях, в оборванном полушубке, опираясь на свою дорожную палку. А мимо него то и знай, шипя, пыхтя, разбрасывая искры и пепел и увлекая за собой длинные, тяжелые поезда, мчались один за другим локомотивы. Проносились чудовища и, изрыгая на Кряжева искры и дым, словно хотели с насмешкой промолвить ему: «Иди, иди, добрый человек! Не про тебя мы расходуем свою железную богатырскую силу!..» И гремят поезда и скрываются за лесом...

XII. НАКАНУНЕ СОБЫТИЙ

Евгеша всегда была ласкова, добра к смуринским ребятишкам. Сердце у Евгеши было нежное, любящее — золотое сердце. Она при встрече гладила ребят по голове, при случае заступалась за них, давала им гостинцев. Поэтому вовсе не мудрено ей было подговорить троих из них поглядывать за околицу и, как увидят Дмитрия Михайловича, — дать ей знать украдкой. Оттого-то Евгеша первая и узнала о приходе Кряжева...

По тонкому льду Вожицы смело перебежала она под покровом сумерек, ловко минуя опасные полыньи, вошла в избу и, уже несмотря на присутствие Назарыча, бросилась к Кряжеву, обвилась руками кругом его шеи, крепко припала к его груди да так, казалось, и замерла на ней.

— Измаялась я! — говорила Евгения, усаживаясь с Кряжевым на лавку. — Ах, Ларион Назарыч! Здравствуйте! Я вас и не вижу... — скороговоркой молвила девушка служивому, когда тот, сгорбившись, чтобы не задеть головой за полати, пробирался к выходу.

Кряжев приблизил к себе девушку, отвел ей со лба черные волосы, взял эту голову в обе руки и крепко задушевно зацеловал ее и в полураскрытые уста, и в очи, и в щеки, и в смуглый лоб.

— Голубчик ты мой! Ты как ровно бы поисхудал? — заботливо спрашивала девушка, гладя его рукой по спине и любовно заглядывая ему в лицо.

— А может, что и поисхудал: в дороге-то не разжиреешь! Ну, да и ты-то хороша, нечего сказать... Смотри ты: краше в гроб кладут... Кровки-то ни капли в лице, как есть! — заметил Кряжев, взяв ее за подбородок своею сильною грубою рукой и глядя внимательно и с тревогой ей в глаза.

Тут Евгеша вскользь поведала ему, как она томилась без него ожиданием и страхом, как ее просватали за писаря. Подробно и обстоятельно передала она ему все, что слышала на деревне и от писаря насчет того, как он, Кряжев, хотел крестьян бунтовать. Не упустила Евгеша и того обстоятельства, что писарь ездил онамеднись к посреднику, что Чирков не однножды был в городе, ездил куда-то и отец благочинный, — разно говорят: не то к дочери на крестины, не то в город. (Старшая дочь его, Лариса, была замужем за священником

в одной подгородной слободе). Кряжев долго сидел молча и как будто бы раздумывал.

— Напрасно это они.. Выдумать-то можно, что хошь... Доказательство надо представить. А где оно у них, доказательство-то? — заговорил он, и чувство горечи отразилось на его обветрившемся лице. — Свидетелев тоже надоть привести... Обнести человека так себе за здорово живешь не дадут! А навряд кто против меня станет на суде неправду показывать! Чай, всякому душа-то дорога...

Кряжев остался спокоен и не думал принимать никаких предосторожностей. Слабая сторона его, как всякого вообще порядочного человека, заключалась в слишком хорошем мнении об окружающих, в некоторой наивности и в слепой вере в силу правды. Человек выходил с открытой грудью и лишь с кулаком вместо всякого оружия против рати, сильно вооруженной и закованной в железо.

— Прокудиха тебя гаркала, ищет, по избам ходит! Беги! — вполголоса проговорил Назарыч, показываясь в дверях.

— Ну, прости покуда! Завтра приду! — молвила Евгеша Кряжеву и, накинув на голову свой серенький платок, выскользнула из избы и благополучно пробралась домой, никем не замеченная.

Назарыч, разумеется, был рад-радешенек приходу хозяина.

— А здесь, Митрий Михайлович, про тебя слух прошел... — заметил Назарыч с некоторым смущением. — Бог его знает, откуда он залетел, слух-то... Может, бабы плетут! Так, пустое...

—Слышал, слышал! — перебил его Кряжев. — Евгения мне уж посказала про дела-то здешние...

Потолковав с Назарычем, поведав ему о своих похождениях, Дмитрий направился за околицу, к знакомой хатке на бугре. Медведко лежал у порога и, завидев Кряжева, залился громким лаем, но, скоро признав своего старого знакомого, завилял хвостом и проводил его в избу.

Аггушку Кряжев застал за работой. Поздравствовались.

— Ну, что? Как там в городе живут? Веселее поди здешнего?.. — спросил Аггушка, не отрываясь от работы.

— Кому веселее, кому нет! — отвечал Кряжев, усаживаясь на лавку. — Нашему брату нигде не веселее...

— Что так? А ты запропал... Мы думали: весновать тамо собрался! — с усмешкой промолвил парень, наклоняясь над длинным ружейным стволом, причем его всклокоченные волосы свесились и позакрыли его лицо.

— В городах-то вот как живут! — заговорил Дмитрий. — Встретил я на постоялом одного извозчика старой веры. Старик, седой весь... Так он сказывал, вишь, приезжала зимось ахтриса в Питер и пела чудесно. За один вечерок — это, значит, чтобы поглядеть ее да послухать, — платили, братец ты мой, по сту рубликов, целковеньких... Это часика за три, за четыре этак-то... Сто целковых!.. Гм!..

Заговорили о слухах.

— Диво, брат Аггуха! Как это у людей только совести хватает про такие дела? — сказал Кряжев.

— Ты ровно младенец, как я погляжу на тя! — отозвался Аггушка. — Гм! Совесть! Захотел тоже... Пустопорожнее место — совесть-то! Вот что!..

— Да ведь и им жука подпустить можно? — возразил Дмитрий.

— Подпущай! А они тебе, гляди, двух запустят! — промолвил Аггушка.

Несколько минут длилось молчание. Кряжев сидел, понурив голову, и тихо наигрывал на своей гармонике «Не белы снежки». Потом он положил гармонику рядом с собой, взял шапку и принялся задумчиво перекидывать ее из одной руки в другую. Аггушка той порой кончил работу, вычистил и собрал вновь ружье.

— А я вот насчет ружья... Время охочее подходит...— проговорил Аггушка, опираясь на свою длинностволку и поглядывая на Митюху.

— Дело! — молвил тот рассеянно и поднялся с места.

Кряжев, видно, надумал. Глаза его смотрели бодро, — и видно было, что силы не оставили его, что для него еще жили и цвели надежды.

— А ведь я их нисколько не боюсь! Вот ни на эстолько! — сказал он, указывая на кончик ногтя, и, поправив кушак, выпрямился во весь рост, так что его темно-русые кудри чуть не касались закоптелого потолка Аггушкиной хатки.

Он слегка выдвинул грудь вперед, выставил одну ногу, а руку положил за пазуху с таким спокойным видом, который ясно указывал, что в Митюхе силы еще

много, что он готов был помериться со всякой нечистью и показать ей зубы. А Аггушка оборотился к стене и приложился к вычищенному ружью, весь позавесившись волосами и крепко прижавшись своей грязной смуглой щекой к ружейному прикладу.

— А как думаешь, далеко хватит? — спросил Аггушка, целясь в почернелую бревенчатую стену.

— А кто его знает! — рассеянно отвечал Кряжев.

— Верно! — согласился Аггушка и бережно поставил ружье в уголок.

Возвратившись домой, Кряжев застал у себя кучку крестьян, проведавших об его приходе. Каждому хотелось поскорее узнать, чем кончилось дело, чего Митюха допытался в городе. Кряжев порассказал им все, как было, без утайки...

— В съезд, значит, опять?.. — заметили в толпе.

— О семенах Лисин еще не хлопотал? — спрашивал Кряжев.

— Кажись бы, нет! — ответили ему.

— Нешто он ростопели дожидается? Ужо в город-то ни пройдешь, ни проедешь!

Кряжев был весел, шутил, рассказывал про город. Крестьяне посмеивались и уже заполночь разошлись по домам. О слухах они с Кряжевым не заговаривали: не то боялись обмолвиться, не то просто им неохота было об этом речь заводить.

Лисин, вопреки обыкновению, не пришел на этот раз проведать Кряжева: они уж давно уговорились промеж собой, что Лисин будет заходить к Дмитрию вечерком, дабы не возбуждать напрасных толков в Закручье. Кряжев подождал, подождал Лисина и наконец на другой день ввечеру отправился к нему сам. Илья Петрович подводил в своей счетной книжке какие-то итоги, когда к нему в горницу вошел Кряжев. Хозяин даже не привстал, сухо поздоровался с гостем и отложил книжку в сторону.

— О семенах-то не похлопотали, Илья Петрович? — слегка укоризненным тоном спросил Дмитрий, остановившись у стола. — Народ-то, гляди, чтобы без яровых не остался... Весна-то не за горами...

— Да некогда все было! Ведь не одно дело-то у меня... — ответил Лисин, почесывая бороду и небрежно закинув назад голову.

— Тэ-э-к! — протянул Дмитрий, пристально взглядывая на Лисина. — Значит, и за семенами мне придется идти...

— Отчего же вам? — невинно лукавым тоном переспросил Илья Петрович. — Сходят и без вас... Есть ведь народу-то, слава богу.

— Есть-то есть, да кто пойдет-то? Народ-то все за работой... Вам и можно бы вот сходить, да тоже дела у вас завязались... Что тут поделаешь! — посмеиваясь прямо Лисину в лицо, промолвил Кряжев.

Лисина передернуло. Ясно было, что Кряжев догадывался, какое такое дело завязалось вдруг у Лисина. От злости Илья Петрович даже позеленел; глазки у него забегали, а усы так и подергивало, как у таракана. Но это была только минута. Лисин живо оправился.

— Будьте спокойны, Митрий Михайлыч! Семена будут... Сами уже знаете: Федор Иваныч похлопочет... Мужики без ярового не останутся... — миролюбивым тоном заговорил Лисин, откашливаясь. — Да вы что это стоите все! Присядьте! Расскажите, как поход-то сломали... Благополучно?..

— Некогда теперь! В другой раз... У вас, вишь, дела нонече... О-ох, шутник вы, Илья Петрович! — проговорил с невеселым смехом Кряжев и, не подав Лисину руку, вышел из горницы.

— У-у, верченая голова! Ну, да ладно... — проворчал ему вслед Лисин и, заперев дверь на крючок, походил по комнате, снова сел и углубился в подведение итогов — вероятно, очень приятных для него, потому что по губам его в те мгновения скользила сладостнейшая улыбочка.

«Продал! — решил про себя Кряжев, выходя от Лисина. — По глазам вижу, что кошка молоко полакала... Лисий-то хвост не успел убрать, высунул...»

На другой день, с раннего утра, Кряжев принялся за работу после четырехнедельного прогула. Отворилась его кузница, в горне развелся огонь, и там, в полусумраке, снова дождем забрызгали красные искры и мерно, тяжело застучал по наковальне молот. По-прежнему вечером, после работ, ссыпав гвоздь в чулан, Кряжев брал гармонику, свою «неразлучную подруженьку», и наигрывал на ней свои любимые, тихие, заунывные песенки, а Назарыч сидел тут же с трубкой — и серый дымок вился струйками из ноздрей медвежьей

головы, а тонкая медная чистилка, в такт его покачиванию ногой, болталась из стороны в сторону. Иногда к Митюхе собирались мужики, заходили парни, толковали, пели песни, или же Митюха принимался им читать какую-нибудь книгу. Тогда в хате смолкало так, что был бы слышен полет мухи...

Иной раз, когда в избе никого из посторонних не было, являлась Евгеша. Тогда гармоника наигрывала песни повеселее.

Украдкой заходил к Дмитрию в кузню брат Василий и своими причитаниями нагонял на него тоску.

— Умышляют, брат, против тебя что-то...— шепотом говорил Василий.— И где уж нам тягаться с Кузьмой Иванычем да с закручьевскими! Сам посуди — мы что?

— Так чего делать-то с ними прикажешь? — спрашивал Дмитрий.— Шею им нешто подставлять?

— Для чего — шею...— замялся Василий.— А ты, Митюха, смирись перед ними! Смирись! С поклону голова, чай, не свалится! Потому, коли увидят твое покорство,— ну, и того...

— Не сварить, брат, нам с тобой пива и во веки веков! — заметил Дмитрий.— Ты вот смирен, а милуют они тебя, что ли?

— Знамо, милуют! Не трожь их, и они тормошить не станут...— затянул Василий с легким вздохом.— Что ж! Я теперь живу ничего, слава богу... по малости...

— Разбогател, видно? — с усмешкой переспросил Кряжев.

— Разбогател! Э-эх, Митрей!..— И Василий прихлопнул себя по ляжкам и уставил глаза в пол с таким видом безнадежного отчаяния, как бы желая сказать: «И вправду, видно, пива с тобой не сварить!» — И то, брат, ладно — корова есть, двор покрыт, не землю едим...

Помолчали несколько минут. Василий покашливал и охал; Дмитрий с силой стучал молотом по наковальне...

— Нет, брат! — заговорил он немного погодя, опуская молот наземь и отирая рукавом рубахи пот с лица.— От вашего смиренства, окромя горя, никакого толку не выходит... То-то и беда, что вот много вас этаких...

Возвращаясь домой, Василий взбирался по крутой береговой тропинке и все оглядывался, как бы кто не

заприметил, что он якшается с Митюхой. Дома за обедом он между прочим, отрывочно поведал жене и матери о свидании с братом и о том, как Митюха не поддается и знать ничего не хочет: «Не покорюсь», — говорит, да и кончено.

— Туда ему и дорога, беспутному! — прошептала старуха.

— И с кем вязаться вздумал, прости господи! Накось! — с ехидной усмешкой заметила Агафья. — Вот уж взаболь: дай бог нашему теленку да волка съесть! Смехота!

— Туда ему и дорога, этакому! — бормотала старуха, подпирая рукою свой трясшийся подбородок.

Так на семейном совете было окончательно решено, что Митюха — человек пропащий, и шабаш...

После возвращения Кряжева из города прошло уже больше двух недель. Пост кончился. Смурино разговелось. С утра до вечера весело звонили колокола, мальчишки и парни поминутно лазали на колокольню, и девки им не уступали. Галкам целую неделю покоя не было. Народ гулял на лугу и около погоста. (В прежние годы гуляли на погосте, так как он благодаря своей высоте раньше освобождался от снега; но года два тому назад священник, по внушению благочинного, отменил гулянье на погосте, в видах соблюдения приличий). В кабаках шло великое кантованье. Осколки красной яичной скорлупы валялись повсюду.

В воздухе уже положительно припахивало весной. Вершины на полях и лугах совсем обнажились от снега. В ложбинках снег тоже быстро таял. По утрам жаворонок громко и звонко пел над смуринскими полями... Скоро и Вожица разломает свой лед и понесет его на своих волнах в дар реке, а та унесет их в «большую реку». А там далее вожицкие льдинки растают и утекут в дальнее, теплое море.

XIII. ПЕРЕТЯНУЛИ

В субботу на Фоминой неделе, зашабашив, Кряжев возвратился домой, приумылся, поел хлебца с солью, выпил полковшика воды и, взяв гармонику, вышел на крылечко. Назарыча на ту пору дома не было: он отлучился еще с утра до понедельника на Ведрово, к одному куму... Ясное весеннее небо без тени, без облака

сиело над Смуриным. Солнце блестящим шаром уже спускалось к лесу, и позолоченные его лучами голые сучья ветел, росших близ Митюхиной хатки, резко обрисовывались на голубом небе. Кряжев оглянулся, прищурившись посмотрел из-под руки на солнце, еще раз оглянулся и подумал про себя: «Хорошо!» Вольно дышал он здоровою грудью, и в голову ему невольно приходила мысль: «Холод и длинные ноченьки миновали; опять тепло будет: опять красные, солнечные деньки...» И тут же невольно померещился ему в золоте и блеске заходящего солнца знакомый, молодой, хороший образ, словно бы он вдруг спустился к нему оттуда, с неба, вместе с этим золотом и блеском. Дмитрий на минуту закрыл глаза. В темноте перед ним пошли, расходились, разноцветными огнями переливались круги, и вот опять резко обрисовывалось перед ним смуглое лицо, и большие темные глаза посмотрели на него так живо, как будто бы смотрели и в самом деле. Кряжев садится на ступеньку крыльца и взглядывает на закручьевский берег...

Петь ему охота, охота ему играть на гармонике. И вот пальцы его словно сами, помимо его помышления, начинают ходить. Гармоника оживает, дышит. То она стонет, плачет, то вдруг звучит ясно, уверенно и снова поет — все тише и тише, доходит до шепота. Кряжев в те мгновения позабыл и Смурино, и Закручье, и все на свете. Он не видал перед собой грязной улицы с торчащим среди нее фашинником, не видал хрюкающих за забором поросят, не видал колодца, торчавшего почти перед самыми его глазами. Он душой ушел в гармонику, жил в ней. Он вместе с тихими, дрожащими звуками, казалось, расстилался над землею, носился над этими ровными, гладкими полями и луговинами, над этими лесами, по вершинам которых пробегал лишь ветер... Он носился над этим бедным ноющим миром, горевал вместе с ним, вместе с ним стонал и плакал его слезами. Его душа, казалось, хотела бы вылить разом в одном страшном, потрясающем звуке всю горечь, все накопившиеся слезы этого мира.

Заслышали эти странные звуки в Закручье и говорили:

— Ишь бесы-то его тешат!

Донеслись, долетели эти тихие, дрожащие звуки до Евгеши. Скоро-скоро, улучив удобную минутку, побежит

она к милому. Тихие звуки манят, зовут ее, чарующей силой влекут ее к Митюхиной хате... И послушно идет она на этот зов... Теперь прямо через Вожицу бегать ей уже нельзя. Зима намостила было ей мосток почти прямо от дома к Митюхиной хатке, а весна пришла — мосток растопила. Евгеше надо или проходить Закручьем, по мосту, и всем Смуриным, или же пробираться в поле и там, насупротив того бугра, где живет Аггушка, переходить Вожицу по каменьям в самом ее узком месте, откуда она делает крутой поворот от Смурина на юг. Евгеша, конечно, избирала последний путь не как удобнейший, а как кратчайший и представлявший менее возможности попасться кому-либо на глаза... Вот и бежит она по-за околицей в поле и перескакивает по серым камням с одного на другой, а затем бугром проходит в коноплянники и прямо к Митюхиной хатке... Кряжев на ту пору опустил гармонику к себе на колени и низко понурил голову, словно все еще прислушиваясь к летающим кругом него звукам. Евгеша на ходу слегка толкнула его локтем в плечо и проскользнула в сенцы. Кряжев оглянулся и дался диву: девушка до сей поры захаживала к нему обыкновенно лишь в поздние сумерки или вечерком... «Уж не подеялось ли что у них там?» — тревожно пробежало у него в голове, когда он поднимался с крыльца и шел следом за девушкой в избу.

— Ну, что? — спросил он ее.

— Да ничего! Услыхала — играешь... Вот и пришла... — отвечала та, усаживаясь, по обыкновению, у оконца, чтобы видеть, не подойдет ли кто?

В случае же неминуемой опасности при чьем-нибудь приходе Евгеша или скрывалась на печь, или забивалась на полати к самой стене.

Кряжев сел у стола.

— Ну, поиграй! — попросила девушка.

— Уж играл я, наигрался... Для тебя разве? Так и быть!.. На!.. — и Кряжев заиграл, напевая вполголоса:

Дорогая, размилая, где ты, светик мой, живешь?
Где ты, краля, где ты, пава, где ты, павушка моя?..

Гармоника смолкла. А Дмитрий, ласково глядя на девушку, с улыбкой промолвил:

— Будет! Знаю теперь, где она у меня...

— Знаешь? — с заигрывающей улыбкой переспросила Евгеша. — Экий ты удалой, право!..

— Ты, Митя, теперь уж не пойдешь никуда надолго? — немного погодя, спросила Евгеша.

— Да, надо быть, что не пойду! — отозвался Кряжев.

— Ну, и слава тебе, господи! Хошь отдохнешь малость! — с легким вздохом промолвила Евгеша. — Да и я-то за тебя отдохну. А то ведь просто все сердечушко изныло... Дума все...

— Живешь, так и маешься... Как быть! — встряхивая волосами, проговорил Дмитрий. — А вот помрем ужо, так покой дорогой, никто тебе не помешает. Лежи себе барином, сложивши ручки... Не надо будет ни огня в кузне разводить, ни о хлебе заботушки... И в расправу не потянут...

Помолчали с минуту.

— А я-то, Митя... — начала было девушка и не кончила.

Густым румянцем загорелись ее смуглые щеки, за темными бархатистыми ресницами спрятались ее бойкие глаза, а губы, словно вишневым соком окрашенные, полураскрылись...

— Ну! — проронил Кряжев, взглядывая на нее с недоумением.

— Не знаю... кажется... у меня скоро ребенок будет... — докончила наконец девушка и подняла свои большие ясные глаза и прямо, хотя и с небольшим усилием, посмотрела на Кряжева.

— Скоро! — как-то глухо промолвил Дмитрий, задумчиво взглядывая на Евгению в то время, как та крепко вертела и мяла между пальцами край своего хорошенького белого передника. — А каково скоро? — спросил он, как бы что-то соображая про себя.

— Да летом... к спасу этак... А может, и раньше...— тихо шептала Евгения, словно легкий ветерок листочками шелестел...

— А знаешь что? — сказал Дмитрий. — Ребенка я возьму на воспитание... Мне легче, да он же и мой. А тебе где с ним возиться... сама, почитай, в чужом доме живешь...

— Я и сама его пропитаю. Думаешь, не хватит меня, что ли? — резко возразила девушка, и необычная грубая нотка зазвучала в ее голосе. — Прокормлю, не бойсь! Коли дома нельзя будет, отдам на сторону... Баб-

ка какая-нибудь за деньги-то с радостью возьмет. Где тебе возиться с ним. Вон у тебя делов-то! А ребенок мой, один он у меня... Али думаешь, испугаюсь кого, от сраму побегу? Нету! Что уж теперь!..

Опять помолчали.

Кряжев задумчиво барабанил пальцами по столу и хмурил брови.

— Я не к тому это говорю, Митя! — добавила девушка. — Людей не боюсь... Только страшно, знаешь, станет, как раздумаешься...

— Не ты первая, не ты последняя...— ободрял ее Кряжев, но по всему было видно, что и у него в ту минуту на сердце кошки скребли. — Ты не бойсь! Обижать не дам тебя... и сам с зубами! А ежели что, только молви... Коли житья не станет от той злюки-то, я тебе сейчас место найду...

— Идут, идут, Митя! Бежи! Через двор... Я дверь-то поддержу... Скорей, христа ради!.. — вдруг вскрикнула Евгения, вскакивая с лавки, причем от сильного порывистого движения ее черные волосы, выбившиеся из-под алой ленточки, волной рассыпались по ее плечам и спине.

— Кто? Чего такое? — как бы спросонок пробормотал Кряжев, машинально надавливая рукой гармонику, покоившуюся у него на коленях.

Гармоника издала какой-то дикий звук. Дмитрий быстро опустил ее на стол. Гармоника еще раз тяжело вздохнула, словно с душой расставаясь, и смолкла... Евгеша той порой, как полоумная, бросилась к дверям. Глаза ее горели, тонкие ноздри ее раздувались, грудь тяжело поднималась. Кряжев не пошевельнулся, как точно на него столбняк нашел. Все это произошло в одно мгновение, быстро, странно, как во сне. Было в самом деле от чего впасть в столбняк. Среди тишины, при ясном небе — вдруг раскат грома...

В сенцах послышались шаги, дверь в избу распахнулась. Там в полусумраке показался серый армяк, блеснула бляха сотского. Из-за плеч сотского торчало еще несколько голов... Евгеша и не думала скрываться от глаз, заставших ее наедине с Кряжевым. Она не бежала. Она теперь не могла, не хотела бежать от Дмитрия. Ни тетки, ни дяди и никакого Закручья в то мгновение для нее не существовало. Все пропало, все куда-то разом провалилось у нее из памяти. Бледная,

без кровинки в лице, неподвижная, как статуя, стояла она, опершись одной рукой о притолоку, другую крепко прижав к груди. Ее широко раскрытые глаза уставились на роковую дверь, на бляху, а рот остался полураскрытым, словно бы какое-то недоговоренное слово замерло у нее на языке... А Кряжев, по-прежнему не шевелясь, сидел на лавке, опустив руку на гармонику. Глядя со стороны, можно было счесть его за зрителя... или за человека, погруженного в какой-то заколдованный сон с открытыми глазами...

— Дмитрий!.. — разбитым, прерывающимся голосом прошептала девушка.

— Постой! — остановил ее Кряжев, поднимаясь вдруг с места и обращаясь к сотскому. — Ну, Кондрат Иваныч, надо бы мне теперь словечко перемолвить. Может, долго не увидимся...

. . . . ,

. . . . ,

Поутру рано со Смурина съезжала телега. В той телеге, на охапке соломы, сидел Дмитрий Кряжев, а по бокам его, свесив ноги и заломив на затылок фуражки, поместились солдатики в своих серых шинелях и с ружьями в руках. Штыки ярко поблескивали в воздухе, когда луч восходящего солнца отражался, падая на них... Раздался благовест к заутрене. Мерные звуки гулко и далеко расходились в свежем воздухе среди деревенского безмолвия и мира.

Кряжев снял шапку, обернулся назад и долго пристально смотрел на Смурино, еще затканное белесоватым утренним туманом...

КНИГА ПЯТАЯ

I. КОЛЕСО ВЕРТИТСЯ СВОИМ ПОРЯДКОМ

Прошло четыре месяца.

Прошумели весенние воды; давно зеленели луга и леса. Рожь пошла в трубку, выколосилась, побурела, пожелтела; налились тяжелые колосья, и по ним, как по золотому морю в ветер, волны так и заходили.

Учитель грайвороновской школы по болезни, говорят, уехал в Питер. Школа была наглухо закрыта. Мальчики и девочки уже не сбегались к ней в урочные часы. Не слышно было в ней оживленного говора, звонких детских голосов. Зато благочинный с племянником свободно вздохнули. Теперь их красногоркинской школе не угрожает ничто.

Кузьма Иванович Чирков прикупил у разорившихся помещиков еще два участка земли, почти по шесть тысяч десятин каждый. Дело у него шло хорошо, то есть шло, по-видимому, прямо к тому, что Кузьма Иванович с двумя-тремя приятелями скоро скупят весь Черешинский уезд и полюбовно разделят его промеж собою. Баре разбредутся на сторону или запишутся в гильдию, а крестьяне пойдут батраками к тому же Кузьме Ивановичу и к двум-трем его приятелям. Собаки у Чиркова за последнее время стали еще злее, приказчики-молодцы — бойчее и свирепее. Чирковские хутора и поселочки растут там и сям, как грибы после дождичка, в теплую пору.

Антон Кудряшев за это время открыл еще два кабака, так что весь уезд Черешинский скоро будет в его руках и в руках двух-трех его приятелей, Кудряшев взялся поить и спаивать весь крещеный люд на всех трактах, на всех больших дорогах и проселках. Скоро не будет во всем уезде такого глухого уголка, куда бы не засылал наш Антон своего целовальника «со свидетельством» и с питиями всевозможных сортов. В городе, слышно, он собирается купить дом. В Закручье он открыл еще лавку, да с таким великолепием, что общественная лавка просто спасовала совсем. Над входом в лавку висела громадная вывеска, на которой золотыми аршинными буквами значилось: «Торговля А. Кудряшева». В довершение всех прелестей, с одной стороны крыши был прикреплен высокий шест, на котором болтался

какой-то красный лоскут. И чего только нельзя было найти в этой лавке! Тут были и зубные щеточки, и всякие мыла: царское, кавказская роза и другие; духи, помада, пистоны, ситцы, шоколад. Сюда же попал какой-то старый револьвер... На стене висела картина, изображавшая «Убиение в орде князя Михаила Черниговского». Под этим большим произведением помещался довольно длинный ряд фотографических карточек-портретов различных знаменитостей. Словом сказать, такой «магазеи» на Смурине до тех пор было и видом не видать и слухом не слыхать.

Прокудов по-прежнему постукивал на счетах и благополучно обсчитывал крестьян на всем, на чем было возможно. Число летних рабочих у него увеличилось; много было сделано новых распашек. Григорий Иванович уже начал жаловаться, что у железнодорожной компании мало подвижного состава, даже платформ не хватает для перевозки хлеба. В доме у него по-прежнему тихо и чинно. Петюшку своего он замышлял отдать в гимназию, хотя вообще над наукой посмеивался и «всякие ниверситеты» в душе глубоко презирал.

Писарь после открытия связи Евгении с Кряжевым ходить к Прокудовым перестал, как ножом отрезал. Прокудиха поменьше стала тиранить племянницу после того, как однажды Назарыч, подвыпивши, вышел перед окно прокудовского дома и заорал на все Закручье, что «срам и грех девку этак мучить», что «ежели никто за сироту не вступится, так ведь он не посмотрит — все кишки выпустит этой старой карге, коли она еще не уймется!» Прокудов, за последнее время особенно боявшийся пьяных, настрого приказал своей хозяйке не придираться к Евгеньке напрасно, вообще не делать шуму на деревне, — «черт с ней»! Прокудиха открыто не перечила мужу, как и всегда, а за глазами, украдкой, ставила, как и всегда, на своем, пилила и журила Евгешу на чем свет стоит. Попрекала она ее каждым куском хлеба, каждой ложкой кислого молока, и ее беременностью, и ее «Митькой-каторжным».

Евгеша молчала и все ждала, что будет дальше. И дождалась. У нее родился сын. Тут для Прокудихи еще одной причиной стало больше упрекать Евгешу и глумиться над нею. Но ребенок, к счастью, жил недолго. Он хирел от недостатка молока, все хирел и угас... Евгеша через неделю же после родов уже ходила в по-

ле на работу. Слабая, разбитая, с больной грудью, еле передвигая ноги, возвращалась она по вечерам домой и, не поужинав, ложилась спать.

— Евгенька-то неможет, что ли? — спрашивал Прокудов.

— А ну ее! Може, опять с кем-нибудь таскается! Мало на деревне парней-то? Не углядишь за ней... Ведь уж не первый снежок! — ехидничала Прокудиха.

А Евгеша не спала ночи напролет, все раздумывая о своей горемычной головушке, о страшной каторге, где всякие мучения ждут ее милого. В Закручье было единогласно решено к общему удовольствию, что «Митька уйдет в каторгу»... Девка тосковала, сохла, как цветочек на поле под холодным осенним ветром.

Аггушка по временам работал на дядю и, встречаясь на поле с сестрой, говаривал, смотря на ее исхудалое лицо и на безжизненные впалые глаза:

— На что только, Евгенька, ты стала похожа!

А у Евгеньки на все только один тихий ответ: «Ничего, пройдет!»

Аггушка также поживал по-прежнему. Ходил он с ружьем и много приношивал уток, бекасов и жирных дупелей. То он продавал их, то сам жарил и ел, зазывая к себе сестру, но и с дупелей Евгеша не поправлялась. С Прокудовыми Аггушка знаться, почитай, вовсе перестал, и те на него смотрели как-то искоса, как на волчонка, которого ласкать неохота и злить боязно, не то что простую собачонку-дворняжку, вроде Абрамки, например, или Кряжева Василия.

В Митюхиной хате было тихо и пусто. Не собирался в нее по вечерам народ. Гармоника безмолвно висела на своем месте, на стене, и паук по углам уже заткал ее своей серой паутиной. Книжки, лежавшие под божницей на лавке, позапылились: видно, что их уже давно не брали в руки. Назарыч шибко тужил по Кряжеве. Раз он ходил даже в Черешинск повидаться с Дмитрием, но в остроге ему солдат-инвалид объяснил, что Кряжева переслали в губернский город, что его там скоро, надо быть, судить будут «в открытом суде, по-новому». Идти же в губернский город Назарыч не решился, потому что тот же инвалид заверил его, что его «вряд ли допустят до заключенного», что, говорят, одна какая-то барыня хотела было видеть его, да ее тоже не допустили.

И действительно, госпожа Водянина хлопотала о

Кряжеве, будучи уверена, что все это дело раздуто недоброжелателями Дмитрия, что правды тут нет ни на грош. Она при помощи своих знакомых составила даже небольшое письмо в газеты, в котором изображалось дело о недоимке в том самом виде, как оно и было в действительности. Но письмо в газеты не попало... Одни газеты боялись его напечатать, а другие за напечатание его просили очень дорого...

А Назарыч горевал и запивал горькую. С ним в кабаке постоянно сотоварищем заседал Абрамка и пропивал то шапку, то рукавицы, то свой рваный полушубок.

— Зимой-то в чем ходить будешь, а? — спрашивал его служивый, подбочениваясь и с жалостливой улыбкой глядя на его изодранную холщовую рубаху и на голое плечо, показавшееся из дыры.

— Никто, как бог! До зимы-то далече исшо, а теперь ничего — тепленько! — утирая рукавом рубахи свои слезящиеся глазки, шептал Абрамка.

— А жена-то в чем пойдет, али голая? — допрашивал Назарыч с тою же болезненно-жалостливой полуулыбкой. — Она и то, говорят, у тебя совсем как есть голая ходит...

— Для чего голая... Прикрыть-то у нее есть исшо что... — сбивчиво объяснял Абрамка, не договаривая, что такое есть у его жены для прикрытия тела.

— Абрамка! Ты пропащий человек, а? — с нахальством задает целовальник свой обычный вопрос, будучи уверен в полнейшей безнаказанности.

— Так точно, Лександр Констенкиныч! Пропащий...— соглашается Абрамка, умильно взглядывая на прилавок, за которым красовались разноцветные настойки и наливочки, а из-за них выглядывал косой Констенкиныч в своей красной рубахе.

— А мы вот тебя в воскресенье опять отдерем! — усмехается целовальник.

— Воля ваша... Против стариков чего же... — пробормотал Абрамка.

— Аспиды вы! Вот что!.. — отозвался служивый, отплевываясь в сторону Констенкиныча.

— Строги вы нонче что-то очень! — надув губы и отворачиваясь, ворчал тот.

И так для Абрамки с Назарычем идут дни за днями. Служивый иной раз поит Абрамку на свои деньги и

уводит к себе спать. Там он рассказывает Абрамке про походы, про войну. Абрамка слушает и дремлет под его россказни. Сквозь сон солдат, расхаживающий перед ним по избе, ему кажется все выше и выше. Усы у него оттопыриваются, глаза страшно вращаются, а голос гудит ровно и мерно, как из трубы. Засыпая, Абрамка крепко-накрепко убеждался, что Ларион Назарыч — его благодетель, друг и такая силища, что все Смурино и с Закручьем может он в бараний рог скрючить. Иной же раз, сидя один и глядя на гармонику, Назарыч зачинал напевать одну старую песенку. А в той песенке сказывалось следующее:

Загорелся в степи ковыль-трава. Был большой пожар. Один млад ясен сокол подпалил себе крылышки, обжег ноженьки. Сидит он в кручине на камешке, слетаются к нему вороны, в глаза смеются над ним, «вороною подгуменною» его называют... Сокол говорит им, что скоро беда его пройдет, отрастит он свои крылья быстрые, заживит свои ноженьки — и грозит:

Я взовьюсь выше облака,
Опущуся в ваше стадо я скорей стрелы.
Перебью я черных воронов до единого.

Василий Кряжев работал как вол, а мать-старуха, не говорившая толком и почти не видавшаяся с Дмитрием с той поры, как он разделился с братом, теперь, когда Дмитрий попал в беду, частенько поплакивала, оставаясь наедине. Она проклинала свой длинный язык, мысленно ругала себя за то, что сулила Митюхе всякого лиха... «А ведь мы-то худого от него, сердечного, ничего не видали!» — причитала она, качая своею старческою головой, а слезы в три ручья текли по ее сморщенным желтым щекам.

Евграф Евстигнеевич с горя много пьянствовал и вписал в свою тетрадку еще одно стихотворение, в котором содержались, между прочим, следующие мрачные мысли:

Смерть, несчастнейших отрада,
Ты прибежище лишь мне:
Будь за скорбь хоть ты награда
Мне в сей горестной стране!

И смурицы, конечно, ничего бы не имели против того, если бы Евграфа Зайцева в самом деле постигла таковая награда.

II. ПОУЧИТЕЛЬНОЕ СКАЗАНИЕ ОБ АНДРЕЕ БЕСПАЛОМ

История наша подходит к концу. Теперь положительно нужно разобрать по косточкам всех наших смуринских знакомых. В числе их, конечно, и Андрей Беспалый.

Андрей Беспалый был кулак старого закала, ни в какие банки и компании не верил, а хранил деньги крепко у себя в сундуке, под замком, с чрезвычайной осторожностью лишь малую часть их раздавая в долг. Это был кулак, не похожий ни на Антона Кудряшева, ни на Лисина, ни на Кузьму Ивановича. Он не столько приобретал, сколько копил и скряжничал. Он не пускался в рискованные дела, не льстился на золотые горы, а предпочитал идти тихим, но верным шагом к обогащению. Разбогатеть так, как разбогател Кудряшев или Чирков, Беспалый поэтому не мог; но по тому же самому ему и не угрожала, подобно Кудряшеву, возможность вылететь в трубу. Он боялся выпускать деньги из рук, потому что любил их. Купит он, примерио, хлеба у крестьянина, и приходится ему, положим, уплатить продавцу рублей тридцать-сорок. Он никогда сразу не выдаст всех денег, а отсчитает сначала рублей двадцать пять, хотя в то же время совершенно уверен, что днем позже, днем раньше все равно придется ему додать последние рубли. Ему просто жалко расстаться с крупной суммой.

— Зайди завтра, а не то сам с парнем зашлю! — говорит он, бывало, крестьянину, а сам думает про себя: «Пущай полежат исшо...»

И дело кончалось обыкновенно тем, что, обсчитав крестьянина на мерке и на весе хлеба самым беспощадным образом, он еще не додавал ему нескольких копеек с грошами.

Как уже сказано, Беспалый был скуп. Он рад был заморить голодом всех своих семьян, лишь бы сберечь лишнюю гривну. Даже в церкви на блюдо клал только по четверти копейки: для этого нарочно у него было наменено несколько мелочи. На коробушку нищего он смотрел с тайной завистью и не раз на досуге подумывал о том, как было бы хорошо подговорить целую шайку голяков — человек этак, примерно, во сто — и, взявши их на подряд, пустить по миру с таким приблизительно условием: во время странствований кормись сам из милости, а деньги и остаток хлеба, яиц и всего прочего

по возвращении отдавай Беспалому. «Ишь ты сколько насобирал! На одном Смурине у нас поди надавали — страсть!...» — рассчитывал он, глядя нищему вслед. Понятно, что у Беспалого милостыни не подавали.

Денег наконец у Беспалого накопилось тысяч до семи. Около двух тысяч ходило по рукам, а пять тысяч лежало в сундуке: из них рублей до восьмисот было серебром и золотом, а остальные в ассигнациях. И лежали у него эти денежки в старом сундуке, в избе, под полом. Он все собирался купить несгораемый шкап, когда услыхал, что такие шкапы появились на свете. Больно полюбилась ему эта хитрая штука. Ну, не диковина ли? Шкап, говорят, малюсенький, а с места не стащить; никаким ключом вор не отопрет его, да и в огне он не сгорит. Беспалый часто мечтал о таком сокровище и рисовал его себе в самых радужных красках и думал, что, надо быть, умнейшая голова был тот человек, который выдумал этакую штуковину. Но он все собирался купить и все откладывал: ему казалось, что шкап больно уж дорог и дорога будет его доставка. Он был человек терпеливый, сметливый и был вполне убежден, что несгораемые шкапы со временем должны подешеветь, когда их будет много и они перестанут быть новинкой.

В ожидании этого времени Беспалый наведывался в сундучок изредка — раз или два в месяц. Иногда, впрочем, не случалось ему и ни разу в месяц заглянуть на свое сокровище, скопленное всякими неправдами в течение более чем тридцати лет. Он делал обыкновенно смотр своим деньгам таким образом: выжив зачем-нибудь из избы всех своих семьян, Беспалый запирал ворота, причем еще несколько минут смотрел в щели, затем таким же манером запирал двери и окна и, приподняв две половицы, вынимал из-под пола свой заветный сундук, снимал со шнурка довольно изрядный ключ, висевший вместе с медным крестом на груди, и отпирал им свою сокровищницу. Тут он дрожащими руками перебирал золото и серебро и считал ассигнации, складывая их в пачки. Огнем загорались его старческие глаза, когда золото начинало переливаться по его пальцам и разноцветные бумажки так приятно шелестели. Проверив всю сумму, он тем же порядком запирал сундук, отправлял его под пол, заставлял на место половицы и наконец, удостоверившись, что все осталось по-преж-

нему, как было, отпирал двери и ворота. Но страшно было видеть его, когда раздавался стук в ворота или слышался под окном чей-нибудь голос в то время, как он, запершись, сидел над деньгами. При малейшем звуке, при каждом шорохе он весь вздрагивал и дрожал как осиновый лист; он зеленел в лице, губы у него подергивались, и всем своим туловищем он наваливался на сундук, словно желая прикрыть его; поминутно оглядывался он назад, а жилистые руки его так и впивались в края сундука, будто вот-вот сейчас оторвут его от его сокровищ.

Старательно хранил Беспалый в тайне свое сокровище и успел в том. Ни жена, ни дети не подозревали, что за печкой под грязными щелеватыми половицами таилось богатство; хотя, разумеется, они — как и все соседи — не могли не знать, что деньги у старика есть, где-то запрятаны. Старший сын его, парнюга лет двадцати пяти, сильно почему-то подозревал, что клад скрыт где-нибудь в огороде, и в отсутствие старика не раз уже принимался рыть в огороде землю там и сям. Клад не давался. А старик, смекая о сыновних стремлениях, со злостью усмехался себе в бороду., смотря на землю, словно изрытую кротом. За сынком Беспалый приглядывал в оба

Как обыкновенно случается при таких обстоятельствах, о богатстве Беспалого составилось совершенно неверное понятие. Добрые люди насчитывали у него тысяч до пятидесяти и даже более. Понятно, что при всяком удобном случае добрые люди давали знать Беспалому, что они тоже кое-что знают насчет его капиталов. Иные просто шутили; другие же думали этим путем добиться от старика правды. Беспалый чуть не плакал.

— И что это я дался им, прости господи! Ровно сшалели! — плачевным тоном говорил он. — Капиталы, у меня-то капиталы? Пресвятая богородица! Нешто я торговлю завожу, лавки открываю в городе? Как есть ничего. Хлебца по осени скупишь малость, да и то наплачешься. Вот у Кудряшева Антона — капиталы. У Кузьмы Ивановича... Это так! А я... Что я?.. Гм! Языком только, видно, постучать охота!

И немало беспокоило Беспалого то преувеличенное понятие, которое составилось на Смурине о его капиталах.

Наконец Беспалый решился-таки выписать несгора-

емый шкап. Сын его написал письмо, и письмо с деньгами отправили куда следовало. Недели через две шкап должен был прибыть на Смурино.

И вздумалось Беспалому перед получением шкапа поглядеть на деньги, тем больше что с пасхи, почитай, он не заглядывал в заветный сундучок. Кроме старухи, в ту пору все были на поле. Старуху он послал за дрожжами в лавку к Прокудихе, совершенно верно рассчитав, что она заговорится там. Запершись и затворив окно, отстоявшее, впрочем, высоко от земли, Беспалый приподнял половицы и, встав на колени, заглянул в подполье. Сундук стоял на своем месте, но Беспалого поразило одно странное обстоятельство. Когда он взялся за скобу и пошевелил сундук, какие-то две маленькие черные тени, из земли ровно взявшиеся, скользнули прочь и скрылись в темноте. Когда он приподнял сундук, то в подполье посыпалась откуда-то какая-то серая труха. Старик обратился спиной к окну, как бы все еще боясь недобрых взглядов, поставил сундук меж колен и осмотрел его сверху и с боков. Все как следует... Снял он крест, взял ключ, отпер замочек и наконец поднял крышку... Поднял и замер, так вдруг и припал грудью и лицом в сундук. Золото и серебро выкатилось из проеденных мешочков и лежало кучей в углу сундука. А ассигнаций не было. На месте красивых пачек лежала одна серая груда мелко-намелко изъеденной бумаги. В дне сундука, в углу, чернела маленькая дырка, и серый глупый мышонок бегал неслышно по дну, метался как угорелый из угла в угол... Беспалый качнулся, тяжело опустил руку в этот серый ворох, копнул его. Вся рука ушла в него. То была мышеедина. Лишь три-четыре целых уголка с номерами показались из дрязгу...

Беспалый опять низко наклонился над сундуком и опять замер. Он не промолвил ни словечка, не заплакал, не простонал. Только его сухие, старческие руки еще крепче ухватились за края ящика, да кровью налившиеся глаза еще напряженнее следили за мышонком. Беспалый тяжело дышал, и от его усиленного дыхания серенькие махотные лепесточки старых ассигнаций разлетались по сундуку. А мышонок, крутя мордочкой, метался и совался туда и сюда. Беспалый не слыхал, как уже давно и сильно стучали в ворота и под окном возвратившиеся с поля работники и пришедшая с дрожжами старуха. Беспалый весь, казалось, со всей душой

ушел в эту серую груду, оставшуюся от его богатства, в этого юркого мышонка, сновавшего почти перед самым его побелевшим сморщенным лицом. Вдруг он схватил мышонка рукой, мышонок пискнул; Беспалый выпустил его, откачнулся и с силою захлопнул крышку. Его седые волосы растрепались. Глаза, налившиеся кровью, казалось, хотели выпрыгнуть и лопнуть. Жилы, как веревки, напряглись на его лбу...

Семьяне между тем в сопровождении сотского, сельского старосты и нескольких соседей, выломав одну воротину и сорвав с петель двери, вошли в избу. Все мигом объяснилось. Андрей Беспалый рехнулся.

— Подайте мне коробушку! По миру пойду! — дребезжащим голосом говорил старик, обращаясь к окружающим, тряся своею седой головой и дико блуждая по сторонам помутившимися очами.

Старуха ревмя ревела несколько дней сподряд, а сынок ругал сумасшедшего старика елико возможно. Еще бы! Ему так давно хотелось завести себе хорошую верховую лошадь, пояс с серебряными украшениями и красивое черкесское седло, такое вот, как у кудряшевского племянника. А отец не раскошеливался, денег не давал. А теперь — смех сказать — деньги мыши съели!

Сумасшедший вел себя тихо. Сидит он, бывало, в уголке и пишет себе черточки угольком на стене или на дощечке — все какие-то счеты сводит и не может свести. Только не могут на него креста надеть. Как только заметит старик на себе знакомый черный шнурочек, так сейчас и начнет его передергивать и рвать с шеи, все что-то отыскивая на нем. Да не мог он еще видеть мышей. Завидит мышь — весь затрясется, задрожит и дышит тяжело, как будто бы с версту бегом пробежал, глаза дико выкатываются и следят за серою тенью, а седая голова все наклоняется и наклоняется вперед...

III. ЛИСИН И ЕГО ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Лисин по весне выхлопотал от земства семян на посев, и это сильно ободрило артельщиков. Они прямо говорили:

— Вот оно, артель-то! Земство артели-то верит на слово. А сунься-ко кто ни на есть от себя в одиночку — шиш возьмешь!..

Лисин уже прибирал к рукам артельное дело. Везти осенью гвоздь на продажу поручили ему. Он же подговорил смуринцев написать адрес губернскому земскому собранию. Крестьяне охотно согласились на то, узнав, что для составления и поднесения адреса новых поборов не сойдет с них. Лисин написал адрес; адрес был милостиво принят. Господин Вальд не нарадовался на смуринскую кузнечную артель и с жаром потирал себе руки.

Лисин даже описал (только не совсем правдиво) всю свою деятельность по артельному делу, причем о Кряжеве не промолвился, разумеется, ни полсловом. Статью свою он послал в Москву, и там в одной серенькой газетке она была напечатана в сокращенном и в исправленном виде. Конечно, мы могли бы желающих отослать к тому номеру серенькой газетки, где появилась эта статья; но, к сожалению, в газетке, вместе с патетическими местами, оказались выброшены и очень характеристические стороны писания Ильи Петровича. Поэтому для любознательных читателей мы приводим всю статью целиком, не исправляя даже ошибок. Нелюбознательные читатели могут прямо перейти к продолжению романа, то есть к следующей главе.

Вот статья Лисина.

«Появление антихриста или распространение промышленности на артельных началах по Черешинскому уезду».

(Вначале Лисин вдается в описание местности и кузнечного промысла вообще, а затем переходит к изображению кулаческих проделок и изображает их обстоятельно, с знанием дела, так как сам по этой части был ходок).

«Железо начнет отпускать на не дельную заработку (речь идет о кулаке), скала на которую кладет железо грузнее противу другой на 1/2 фун. а иногда и 3³/⁴ фун. то он этим недовольствуется берет тут уже подготовленные особые гири так же антиресные для него на фунтик или и два и тут на каждую руку утянет коп на 15 ну кажется и остаться бы следовало довольным — ан не тут то было — рабочей берет муки он и тут употребляет туже химию что при железе, начнет ращитываться, если и круглым числом монета приходится все таки он постарается выдать деньги чтоб не доплатить 1/2 или 3/4 к. удовлетворяя словами: дружек денег та-

ких нет в другой раз до дам, вот бедняк и пошел с ращетом кругом обобранный и таким образом Эти заборщики за кабалили всех бедняков кузнецов представляя себе воздушный план таким образом провести всю свою жизнь, но вот является соперник Этим без жалостным фараонам и хочет вырвать из их рук многострадающее еврейское племя — бедняков кузнецов Это Наша Земская Управа она вникла в тонкии подробности бедного народонаселения Этой страны... Нет вероятно вопль страдающих сих людей дошел до ушей Все Вышнего Создателя который и сжалился над сим жалким племенем. Один из Уездных гласных некто Лисин зимой 1872 г. начинает жаркие сношения с членом Земской Управы Фед. Ив. Вальдом и просит его обратить его внимание на такое жалкое положение упомянутых бедных людей и вот Г. Вальд соглашается открыть в Этой местности артель и устроить склад в С. Смурине, Лисин созывает сход предлагает крестьянам таковые меры и конечно с охотою согласились, в скором времени устав был отослан в Управу и сия последняя в министерство на утверждение...

Узнали об Этом предприятии (фараоны и погнались за евреями), местные торговцы подняли садом начали искать все возможные средствы как бы помешать Это му делу, (пришло им на память что придется самим работать когда рабство это выпустют из рук), начали просить об Этом Волостного Старшину Сем. Вас. а нужно заметить что и он так же из ряда кулаков а один более по проворнее некто (по всему вероятию, под этим «проворным» Лисин разумел писаря) обратился даже и к Мировому Посреднику, глядь вслед за ним поехал по Этому же делу к Посреднику и Волостной Сторшина, возвратяся в С. Смурино некто принял самые усиленные меры разглашения что будто бы посредник хочет Это дело преостановить да и Волостной Старшина принял сторону торговцев объясняя, что будто бы посредник ему сказал, что содействий ни каких не делай а тут-то и налапу врагам доброго дела, и вот Старшина обратился явным врагом к сочувствию бедных крестьян...

А местные торговцы — кулаки начали проповедывать из слов апокалипсиса что дескать Это не от бога и не земство помогает что будто бы Они сами справлялись в Земской Управе там и знать не знают и ведать

не ведают про это а Это появился Антихрист и вот хочет в свою веру нас всех пригнать сулит денег, даром, хочет давать хлеб за дешовую цену работать на нас даром и вот когда он Этак к себе притянит побольше потом всех и заклеймит на руках своею печатью, где Это вижена чтоб даром вперед денег давать, а вот если мы все вооружимся да за одно сердце скажим (тут Лисин, очевидно, говорит от лица своих фараонов) что нам ничего не надо и их всех управителей погоним к цорту из своей вотцыны вот мы и хорошо сделуем (Лисин передразнивает смуринцев), да нетокмо их деньги аль хлеб брать так мы бы несоветовали с их служащими и говорить то (несколько непонятно), гляди ти ка вон как самого то главного Илью Петровича большими... словами отчестили а старшина хочит взять метлу да Илью то Петровича да погнать вон из вотцыны Посредникот наш всть тоже не на ихнею руку тянет, а крестьяне говорили что нам все равно сголодуто помирать так пусть клеймнт не только что руку но хоть и все бока пусть заклеймит, однако Управа не обратила на Это внимание! и предприятие на С. Смурине открылось под управлением выше упоминаемого деятеля из Уездных Гласных Ильи Петровича Лисина».

Особенно же много и подробно распространялся Лисин о «вышеупомянутом деятеле из уздных гласных», имя которого в рукописи у него было дважды подчеркнуто...

«На первых порах действительно много претерпел уполномоченный Земской Управы Лисин, да хоть бы без обидно и более извинительнее было что от не образованных но и даже довольно порядочных людей, так один случай был в помещении Волостного Правления, Господнну Лисину нужно было явиться в Волостное Правление и в Это время в канцелярии находились Старшина, Писарь и один из Сельских старост по прибытии Лисина чрез несколько минут Является полупьяной Антон Вас. Кудряшов из зажиточных местных торговцев, по здоровавшись с Старшиной без всякой церемонии начинает речь это зачем сюда чертово земство-то Лисин оборотясь спросил что Вам нужно господин Кудряшов — а он на ответ посыпал скверные слова разных выражений сделался весь в исступлении то надевал то скидывал с головы картус и когда Лисин обратился к Старшине чтобы остановить г. Кудряшова ругатся и

притом в Волостном Правлении то Старшина с поспехом встал со стула и смеясь удалился в другую комнату и тем дал повод господину Кудряшову долее произносить ругательных слов а затем и другии должностные лица (очевидный намек на Евграфа Евстигнеевича) в свою очередь ничего не сказали и тем оказывая будтобы они Этим исполняли какую-либо волю Начальства и таким образом Господии Лисин должен был волею и не волею Удалится...

Другой раз довелось пройти Лисину мимо кучки торговцев и в среди их стоял наставник красногоркинского Училища человек еще молодой не кончивший Семинарии некто Сем. Васильев и вероятно торговцы относясь к Лисину с большой враждой толковали что нибудь подсмеять и только что Лисин удалился от толпы сажeней на 30 или 40 вдруг! этот молодой человек недоучка возвышенным голосом начал кричать Илья Петрович! Илья Петрович! купити у меня железо тогда как у него не токмо иметь своего железа но и штанишки то чужие да и много подобных случаев встречалось...

Нужно было заключить условии в Волостном Правлении о займе денег из Управы, условии сии были подготовлены в самой Управе и переданы для подписи договаривающих лиц и засвидетельствования в Правлении Уполномоченному Управы Лисину, только что Лисин послал к Г. Старшине Артельного Старосту Горелого для рассмотрения условия и спросить когда явится к свидетельствованию, но Старшина не принимая от Горелова условия в руки посыпал разные ругательства и угрозы если они согласятся на сбыт своих изделий посредством склада. Староста Горелов возвратился опечаливши, Лисин обращаится сам к Старшине и просит его привести выполнение порученное ему Управою дело разъясняя все законное его требование, Старшина в ответ сказал что Он засвидетельствовать этого условия хотя и законного не согласен без разрешения Посредника — пусть крестьяне выправят разрешение тогда он изасвидетельствует, и на все убеждения на все прозбы Лисина не соглашался на конец Лисин удаляется... Не смотря на худую погоду и испорченную дорогу скоро приехал много заботящейся о бедных крестьянах Член Управы добрый Фед. Ив. Вадль и обратился к Старшине но Старшина и Г. Вальду начал отказыватся что он боится Г. Посредника да ему и некогда явится в Во-

лостное Правление много дела на дому но Фед. Ив. убедил...

Кулаки торговцы стараются помешать сбыту изделий всякими фокусами отчего действительно несколько затрудняют сбыт а так же ругательствами и насмешками не оставляют г. Лисина при встречах и недавно подобно Кудряшову Антону оскорбил его Г. Прокудов весьма человек необстоятельный, сказывают этот Прокудов за какое то поведенье хотел выстегать племянницу девицу Евгению а у нас нынче и баб стегать не велят, но все таки артель выиграла значительную цыфру! они получили чистой пользы от заборщицкой продажи по 1 р. 25 к. в неделю на рабочую руку и взнак благодарности к содействию Управы к распространению промышленности и избавлению их от работы фараонова артельщики 14 сего мая составленным протоколом положили просить Черешинское уездное Экстренное Земское собрание благодарить Губернское Земское собрание и Управу, каковой протокол вручон был Гласному Илье Петровичу Лисину и собрание с сочувствием приняло такое ходатайство и поручило к исполнению»...

Добавлять же что бы то ни было к этому писанию мы считаем совершенно излишним.

IV. СОЛНЕЧНЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Июль идет к концу.

Полдень. Солнце своим горячим оком смотрит на землю с небесной высоты. Ни одного облачка на небе. Ветерок не подувает. Знойно, удушливо. Не слышно ни собачьего лая, ни птичьего пения, ни голосов людских — никаких звуков. Все притихло, все замерло, все млеет в какой-то тягостной истоме. Лишь изредка затрещит ненадолго кузнечик и смолкнет. Где-то далеко под лесом нет-нет да и скрипнет коростель, прожжужит пчела, пролетит жук, блестя в раскаленном воздухе своими металлическими крылышками, насекомые-мелюзга нет-нет да и затолкутся в воздухе, вдруг бог весть откуда-то взявшись. А солнце нещадно жжет и палит согнутые спины жниц. И падает, падает спелая, колосистая рожь под острыми серпами. Инде желтые снопы лежат рядами, инде они уже стоят в суслонах под нахлобученными шапками.

Жнет и Евгеша с работницами на прокудовской полосе.

Она подобрала один край юбки, расстегнула у рубахи ворот. Лицо ее раскраснелось, так пышет, как бывало в лучшие дни. Она в башмаках на босу ногу, но жнива все же колет ей ноги до крови.

Девушка дышит тяжело. Ей жарко, душно — невмоготу. Острый серп неровно ходит в ее усталой руке. Мутным взором оглядывает она расстилающееся кругом нее колосистое море. Море, казалось ей, не убывало, а напротив, все разливалось дальше и дальше своими золотыми волнами — уходило из вида вон. Страшное море, — оно, казалось, так и заливает девушку совсем, ровно хочет потопить ее в своих глубоких золотых волнах. Смутная, болезненная дума застыла на лице Евгеши... Не о Кряжеве ли эта дума?..

Через несколько загонов от Евгеши, немного позади ее, жала Абрамкина жена — женщина полубольная, изможденная, в одной грязной, дырявой рубахе, мало прикрывавшей ее костлявое тело. Она не раз видела, как Евгения подходила к ведру и пила воду, как не раз она выпрямлялась и прикладывала руку к левому боку, словно к чему-то прислушиваясь.

— Никак заморилась? — крикнула ей работница.

— Нету! ничего... — не оборачиваясь, промолвила Евгеша.

Бабенка жала прилежно, не разгибаясь, вся обливаясь потом. Лишь сбоку поэтому она могла видеть девушку.

И вышло такое мгновение, когда искоса, но ясно баба приметила, что девушка вдруг зашаталась, словно пьяная, серп ее скользнул по высокой ржи, не задев и не срезав ни одного колоска. Одной рукой Евгеша как будто чего-то заискала в воздухе, словно бы за что-нибудь хотела ухватиться, отчаянно вскинула головой и повалилась ничком в рожь... Все это в одно мгновение произошло.

— О господи, царица небесная! Уж не солнцем ли ее ударило! — невольно сорвалось у бабы с языка.

Сторожко подошла она к лежавшей девушке и заглянула в рожь.

Девушка продолжала лежать ничком, припав щекой к сухой глыбе земли. Левую руку она прижала к груди, а из правой не выпускала крепко зажатого серпа.

Лицо ее было спокойно, не дрожал на нем ни один мускул. Глаза сомкнуты. Рот слегка пораскрыт, как бы для последнего словечка. Яркий солнечный луч золотой полоской падал на распустившиеся черные волосы. На побледневшем лице от склонившейся ржи, чуть-чуть колеблясь, дрожали и передвигались легкие длинные тени.

— Евгения! А, Евгения! — тихо окликнула баба.

Девушка не шевельнулась, не ответила на зов. Только изо рта у ней показалась белая пена. Побежала баба к другим женщинам и рассказала. Те пришли, посмотрели, потолковали...

— Как ее ворошить-то станешь! Може, и померла. Бог знает! — рассуждали бабы.

Пуще всего, разумеется, боялись они, кабы их к суду не притянули. Порешили оповестить на деревне. Пришел староста со своего гумна, прибежала Прокудиха и, разинув рот, долго и бессмысленно глядела на «убитую солнышком» девушку. Прибежали парнишки и издали глядели на то место, где лежала Евгеша. Староста приказал принесть рогожу и прикрыть девушку, не трогая ее с места до приезда доктора и станового.

— Ох, грехи, грехи! В самую то ись рабочую пору угодила... Э-э-эх! Право... когда тут... — ворчал староста, качал головой.

Становой в ту пору был на следствии в другом конце уезда. Его приходилось ждать дня два или три...

Бабы, глядя на Евгешу, всплакнули; всплакнула заодно с ними кстати и Прокудиха. Но пожалела ли она Евгешу? Не стало ли жутко ей, когда она припомнила, что эти глаза, теперь закрытые навеки, так часто и горько плакивали из-за ее надругательств?

Прикрыли Евгешу бабы рогожей и разошлись...

Солнце по-прежнему жжет и палит землю, жжет и палит согнутые спины жниц. Рожь по-прежнему падает и падает на колючую жниву...

V. В ЗАЛЕ СУДА

В тот же самый день все жители губернского города толпились в зале и на хорах дворянского собрания. В зале собрания на этот раз заседал суд по делу Кряжева, обвинявшегося «в распространении ложных тол-

ков и в возбуждении крестьян к неповиновению». Зала и хоры были набиты битком... Хотя окна были все растворены настежь, но в зале было нестерпимо душно... Припахивало и смазаными сапогами, и тончайшими духами. С улицы проникала пыль и изредка доносился дребезжащий стук проезжавших дрожек и скрип телеги.

Дмитрий Кряжев явился в суд, как на праздник. Он был в синем суконном полукафтанье, подпоясанном пестрым кушаком. Белая рубаха виднелась на груди. Волосы его были приглажены. Он неподвижно сидел на скамье, опустив руки на колени. Лицо его было совершенно спокойно. Равнодушно смотрел он на секретаря, читавшего обвинительный акт.

По прочтении акта начался, как водится, допрос и передопрос свидетелей. Свидетели со стороны обвинения немилосердно путались в своих показаниях, особенно старшина. Только Лисин, красногоркинский учитель и приказчик Чиркова говорили складно и ладно, все трое одно и то же, ровно по книге твердили. Наконец допросы кончились. После речи прокурора дошла очередь до защитника подсудимого. Защитник говорил довольно много, немного красно, немного темновато, вообще же — недурно.

— Вот наговорил-то... Ай да ну! — невольно прошептал Кряжев, с изумлением оглядывая с головы до ног защитника, когда тот, утирая с лица пот платком, усаживался на место. — Вот-то говорóк! Диковина!..

Когда уже в конце заседания председатель обратился к подсудимому с вопросом: не имеет ли он еще что-нибудь сказать от себя? — тот медленно поднялся с места и, заложив руку за кушак и подняв голову, приготовился сказать что-то. Мертвая тишина разом воцарилась в зале. Было слышно, как мухи, жужжа, стукались в верхние стекла окон. Было слышно, как секретарь переворачивал листы...

— Я скажу только, что не грешен... Нет моей вины! — спокойным, ровным голосом сказал Кряжев. — А коли я завсегда стоял за обчество, так... ну и стоял! В этом не отопрусь... Нет моей вины...

Кряжев махнул рукой и сел.

На глазах его в те минуты как будто блеснула слеза... Слеза ли? Может быть, просто заходящее солнце

ударило на ту пору ему в глаза своим лучом, — и глаза блеснули...

Присяжным были заданы три вопроса, и они удалились из залы заседания в соседнюю комнату. Тогда было половина девятого часа.

Пробило девять, пробило десять, пробило одиннадцать.. Публика ждала, томилась. Большая люстра и свечи на столе председательском уже давно горели. Издали откуда-то слабо доносились звуки музыки. В окна не веяло прохладой; в зале было по-прежнему душно. Заря уже потухла; ее последние краски, расплываясь, гасли за темными верхушками садов, кровель и труб городских зданий. В небе бледным светом загорались звезды...

Кто-то крикнул с хор: «Воды! Воды!» Какой-то барыне там сделалось дурно... Да! Не одно чувствительное женское сердце в то время билось учащеннее и тоскливо замирало в ожидании приговора над «несчастным простолюдином».

И публика ждала, не расходилась.

Кряжев, по-видимому, был не столько удручен, сколько просто утомлен. Он слегка изменился в лице, побледнел. Его синий казакин, бледное лицо, белая рубаха и вообще вся его могучая, дюжая фигура резко отделялась от окружающего его мелконького, толстопузенького люда в черных сюртуках...

Наконец в ту самую минуту, как на соборной колокольне било полночь, дверь широко растворилась, вышли присяжные, и старшина на все три вопроса внятно проговорил среди гробового безмолвия:

— Нет! Не виновен!

На темневших хорах в нескольких местах разом послышались робкие рукоплескания, но тотчас же смолкли, лишь только раздался порывистый звон председательского колокольчика.

— Дмитрий Михайлов! — возгласил торопливо председатель, обращаясь к Кряжеву. — Вы оправданы по суду! Вы свободны... можете идти!

Кряжев поклонился, взял со стула свою шапку, оглянулся на собрание, как бы только что заметив его, и, пожав руку защитнику, пошел с ним к выходу.

В ту же ночь Кряжев оставил город, потом сел на чугунку и на другой день ввечеру уже подходил к родным местам.

VI. ПАМЯТНАЯ НОЧЬ

Когда Кряжев подходил к Смурину, наступала уже ночь, тихая, теплая, и набрасывала на землю синие тени. На безоблачно темно-синем небе мерцали звезды. Вечерняя заря золотою полоской догорала над лесистыми холмами. Месяц красным, кровавым шаром низко висел над потемневшими полями. Кряжев шел не скоро, поглядывая на раскидывавшееся перед ним вдали Смурино.

Вдруг он заметил в двух-трех шагах от дороги на жниве что-то темное. Он ступил в сторону, глянул пристальнее... Что-то лежит, прикрытое рогожей, как будто бы человеческое тело. Кряжев наклоняется, приподнимает рогожу, — и вот перед ним бледное лицо, завешенное прядями черных шелковистых волос. Лицо — холодно, безжизненно... Мгновение — и рогожа выпала у него из рук и снова закрыла лицо. Но для Кряжева было довольно. В один миг он много увидал, увидал все и все уразумел... На него, словно прищурившись, глянули из-за темных ресниц полузакрытые глаза... знакомые глаза.

Кряжев провел по лицу рукой, как бы думая проснуться. Но рогожа тут, перед ним... И не может он отвести от нее глаз...

В голове его не являлось никакой определенной мысли. Никакого ясного чувства не поднималось в его душе. Только смутно, как бы сквозь сон, чудилось ему, что в сердце ему словно тупым ножом хватили и поворачивали там... Так вот и режет и режет. В ногах чувствовалась слабость, ровно его кто-нибудь невидимо железными цепями стреножил. В голове и в ушах шумело, ровно бы где поблизости вдруг плотину прорвало или бесчисленные стаи птиц пронеслись над его головой. В глазах как-то странно все мутилось и волновалось. И ближний к нему суслон, скривившийся набок, и темный лес в стороне, и крупные звезды, ставшие как будто бы еще крупнее, и красный месяц, и высокая белая колокольня за Смуриным — все вдруг тихо заплавало, заходило ходенем кругом него. Ни тогда, ни впредь Кряжев не мог с точностью определить: долго ли он оставался там, над рогожей. Ему казалось, что очень, очень долго...

Почти бессознательно брел он к Смурину по знако-

мому межнику, медленно и тяжело ступая и пошатываясь. Слишком уж неожиданно на этот раз застигла его беда. Все лично для него дорогое и близкое, все, жившее в тайниках его личного мира, было разом подкошено, убито и выброшено вон.

«Ее уж нет на свете!..» Вот что первое не подумал, а, вернее сказать, почувствовал Кряжев и почувствовал всем своим существом разом, почувствовал живо, явственно.

А перед глазами у него суслоны так и двигались, толкались из стороны в сторону, красный месяц словно кровью наливался и все подвигался ближе и ближе к Кряжеву, словно готовясь лопнуть и залить мир кровью, и высокая белая колокольня дрожала, и звезды дрожали над ней... Кряжев остановился и тяжело перевел вздох, ровно от той страшной рогожи он уж верст сто без отдыху отмахал. Он сорвал с чего-то ржаной колосок, — и зерна посыпались на сухую землю из переспелого колоса. Слышит Кряжев, как падают и падают зерна... «Она там... теперь она там — вместе со сжатыми колосьями! Одна только радость и была у меня на свете... и той не стало...» — смутно проносится у него в голове. И чувствует он, что по щеке его течет слеза и теплою крупною каплей падает ему на заскорузлую руку. Он отирает ее о казакин, идет и подходит к своей хатке.

Назарыч скоро откликается на его зов и отпирает ему дверь.

— Э-гм! Митрий Михайлыч! Вот оно... — бормочет воин спросонок, протирая глаза и тараща их на Кряжева. — Ну... не признать тебя... Экий ты белый! Ровно тебя мелом вымазали...

Так несвязно толковал старик, идя за хозяином в избу.

Кряжев тяжело опустился на лавку.

— Померла? — спросил он, не поднимая головы.

— Померла! — ответил служивый. — А ты уж проведал...

— Видел... А ребенок? — вполголоса спросил Дмитрий.

— Помер! — так же тихо ответил служивый.

Ни слова более не было сказано об Евгении в Митюхиной хате. Кряжев с видимым усилием расспраши-

вал Назарыча об артели, о Лисине, об Аггушке, о брате Василье, о матери и о всех вообще смуринских делах и с видимым же усилием выслушивал, как Назарыч пространно поведал ему обо всем, что знал.

— Ну, утро вечера мудренее! — заметил наконец Кряжев, укладываясь на лавку.

Только утра ждать было уж недолго. Месяц закатился, звезды меркли, и заалел восток.

Плохо спится Кряжеву.

То ему чудится, что тишь такая настала вдруг, что все на свете слышно. Он слышит, как трава растет, поднимается, как под ногой его притоптанный вздыхает цветок, как крошится рожь на сухую землю. А вот и грязная рогожа, она приподнимается сама собой. Из-под нее белеет знакомое мертвое лицо, и черные пряди, как змеи, вьются по шее, глаза открываются с великим трудом и смотрят на Дмитрия таково ласково и любовно... «Сон! Ужо проснусь, и все пропадет!» — рассуждает он в полузабытьи. Сон и действительность на мгновенье для него так перепутываются, что не отличить одно от другого...

Вот муха бредет у него по лбу. Он открывает глаза — муха улетает. Нет! Значит, не сон. Все это было — и тихая, теплая ночь, отвратительная ночь, и красный месяц, забрызганный чьею-то кровью, и это спокойное небо, эти крупные звезды, эта белая колокольня, как мертвец-великан, и эта страшная, дырявая рогожа — все, все это было! Было! «Коли уж раз стало, так не сделаешь так, как будто бы этого не было!» — ровно кто-то в уши шепчет Кряжеву.

Он поворачивается к стене и как будто засыпает. А перед ним, как живая, стоит Евгения, как в тот последний вечер их вечной разлуки. «Не спи, Митя! Не спи, голубчик! Мне тошно, тошно без тебя!» — шепчут ее уста, а рука протягивается к его плечу. Он широко раскрывает глаза. Голубой рассвет уже сквозит в окна. Крепко храпит Назарыч. На деревне поют петухи.

Кряжев опять смыкает глаза — не то спит, не то бодрствует, а она опять тут, перед ним... И перед ним снова те же картины встают, и снова быль и небыль путаются и перепутываются между собой, как в горячечном бреду.

VII. ЭТО БЫВАЕТ

Поутру Кряжев пошел к Аггушке, и тот отрывочно порассказал ему про сестру. Молча слушал Кряжев. Аггушка со всею проницательностью, на какую только был способен, и с величайшим вниманием взглядывает на Кряжева из-под своих нахмуренных рыжих бровей. Его, очевидно, занимал вопрос: каково в те поры было на сердце у Митюхи? Для Аггушки были недоступны такие теплые, мягкие чувства, какие подозревал он в Митюхе. Аггушка умел только лаять да грызться. «Как только люди ухитряются напущать на себя всякую дурость! — размышлял он — и дорого бы дал, если бы Кряжев мог вывернуть перед ним всю свою душу так, как вывертывают, примерно, полушубок. Но Митюха не мог и не хотел вывертывать свою душу. Аггушке оставалось только следить за игрой Митюхиной физиономии.

— Евгеньке в жнитво-то не одиножды плохо приходилось, — рассказывал Аггушка. — Исшо бы! Не успела родить — и на поле погнали... В глазах, вишь, у ней все темнело. Встречал, так сказывала... Раз, говорит, почудилось мне, ровно солнышко вдруг по небу покатилось... Катилось, катилось, говорит, да и скатилось за болото, а заместо него по небу, говорит, пошли все темные круги, и все это больше да больше, чернее да чернее... Сдуру-то, говорит, и серп уронила, выпрямилась, гляжу... Ничего, говорит, светло, солнышко на месте стоит, припекает этак, птицы в лесу поют... Чудно́ это она сказывала.

Помолчали.

— Ну! Туда ей, знать и дорога... — отводя с Митюхи глаза, промолвил Аггушка и, махнув рукой, принялся насвистывать.

Кряжев ничего более не спрашивал о лично близком для него и долго проговорил с Аггушкой про то, как закручьевцы перебежали артельщикам дорогу и подбили московских торговцев не покупать твоздь.

— Не завсегда на ихней улице праздник будет! Погоди, вот установимся... — заметил в заключение Кряжев.

— А больно, видно, охота тебе шилом воду-то нагреть, а? — с кривой усмешечкой отозвался Аггуха.

— Ну, ты, неверующий! — с досадой пробурчал Кряжев и привздохнул.

Никто из смуринцев не пришел на этот раз проведать Кряжева, хотя на другой же день все село уже знало о его возвращении. Даже брат Василий не шел к нему, по наущению своей Агафьи. Василий, сходя к своей кузнице, не раз оглянулся на Митюхину хату; хотелось ему и брата повидать, и любопытство-то его шибко разбирало, да махнул рукой и спустился с берега.

После обеда, когда Назарыч спал под навесом сарайчика на дворе, а Кряжев, отдохнувши, сидел у края стола и собирался уже идти в кузницу, приземистая старушечья фигурка, в синей пестрядинной юбке и в синем же крашеном шугае, с темным платком на голове, входила в Митюхины сенцы. Правая рука ее крепко прижимала к дрожащим губам кончик темного платка, глаза были красны и слезились, все ее желтое, сморщенное лицо было заплакано, было в пятнах, грязно, кончик носа также значительно покраснел от слез. Это шла мать-старуха к своему несчастненькому сыну. Она готовилась переступить порог той хатки, в которой не бывала еще ни разу, в которую даже ни разу не заглядывала. Она шла к сыну, с которым уже много лет не говорила ни слова, с которым видалась лишь мельком, случайно и на которого при встрече ее глаза смотрели искоса и недружелюбно. Она не находила для него достаточно резких ругательных слов. При всяком удобном случае она брюзжала про его гордыню, про его забиячество и озорство. Она всем уши прожужжала, что Митька ей не сын, что она отказывается от него, что пускай бы от него и бог отступился, негодящий он, непутевый.

— Экую гордость-то в него, подумаешь, нечистый вселил, а? — говаривала старуха. — Ровно он и невесть что, ровно вот те начальство какое выискалось... Так на всех и шугает, во все свой нос сует... Он ли, не он ли...

Кряжев никого зря не шугал, но старуха позволяла себе и прилыгать и прибавлять малость, лишь бы пуще очернить да уязвить побольнее чем ни попало Митюху. Ужаснейшим образом ругала она Евгешу, когда узнала об ее связи с Кряжевым. «Змеиным отродьем» обзывала она в минуты ярости и злости ее новорожденного сына — своего родного внука. Нельзя также сказать, чтобы тихо и ладно жила она с домочадцами:

доставалось от нее порой и смиренному Васильюшке, и его девчоночке, а с Агафьей у них чуть не каждый день выходили баталии то из-за помела, то из-за кочерги, то просто «за здорово живешь». Неуживчивая, жесткая, сварливая была старуха. Брюзжанье и ругань не сходили с ее тонких, сухих губ; казалось, довольство ни на минуту не сходило на ее беспокойную душу. Злость кипела в ней и била ключом. В самом, по-видимому, приятном и веселом явлении она непременно находила темные пятна и была счастлива и рада, если таких пятен набиралось побольше. Она с горечью подсмеивалась холодным, беззвучным смехом над всякою живою радостью живого человека. Детский беззаботный смех, детскую беззаветную веселость она, казалось, считала для себя личным оскорблением.

Вот эта-то злющая старуха, ненавидевшая Дмитрия и постоянно изливавшая на него свою злобу, теперь, плача и тихо всхлипывая, тащилась к нему. Что ее вело к этой хате, на которую ей недавно было еще «наплевать», что вело ее к Митьке — к этому шальному, удержу не знающему человеку? Старуха знала, что Дмитрий в остроге сидит и может уйти в каторгу, и говорила: «Таковский и есть, сам себе яму рыл! Не кто его толкал!» Старуха знала, что умер его сын, умерла Евгения. И ни гу-гу! Старуха прослышала, что Митюха возвратился и никто к нему не наведался, даже родной брат от него сторониться стал. Он несчастлив, он один в горе оставлен. Тут и сам бес, мучивший старуху, прикусил язык. Она плакала украдкой от домашних, но жалости своей не выдала ни словечком. Ворча, по обыкновению, и хмуря брови, обряжалась она в то утро у печки, и лицо ее краснело, и краснели глаза, как бы от жара топившейся печи. Она так пнула подвернувшуюся ей под ноги кошку, что та рявкнула во все горло. «Балавесом» и «жиденком» обругала она свою внучку, когда та попросила ей испечь оляпышек, и уже задрала было ей рубашонку, готовясь нахлопать ее, но остановилась, заслышав на дворе голос Агафьи. Со злостью очистила она печной под от уголья и золы, сердито уткнула помело в ведро с помоями, с сердцем прихлопнула заслонкой устье и накрыла уголья. Заслонка дребезжала, чашки, горшки и кринки — все дребезжало и, казалось, готово было в то утро распасться и развалиться вдребезги в ее костлявых пальцах.

В те минуты в старухе происходило небывалое: на дне души ее закопошилась жалость к одинокому детищу. «Каково это ему? Легкое ли дело? Ах, царица небесная!..» — ворочалось у нее в голове. За повиданье Митюхи, за перемолвку с ним двух-трех словечек она в ту пору отдала бы и не знать что. И не удержали бы ее от этого ни разбойнички, ни волки, ни псы кудряшевские, что рвут добрых людей среди белого дня...

Отобедали. Агафья пошла дожинать полоску во ржаное поле, девочка побежала с ней, Василий поехал снопы возить. Старуха обдернула платок на голове раз, обдернула в другой и, схватив замок, торопливо вышла из избы, заперла ее и с оглядкой, как тать, побрела огородами по-за плетнем к Митюхиной хате. Повстречай ее кто-нибудь в ту пору, спроси у нее: куда она путь держит? старуха не сказала бы правды, соврала бы что ни на есть, пробрюзжала бы и пошла бы себе в сторону...

Но ей никто не встретился, — и вот она в сенцах; отворила дверь, вошла. Дмитрий, заслышав шорох, поднимает голову и видит: к нему подходит мать. Он откидывает назад волосы и с таким глубоким изумлением смотрит на старуху, как будто бы она к нему с того света пришла. Не успел он еще ничего промолвить, как старуха уже навалилась на него всем своим телом, обняла его за шею и своею дрожащей головой крепко припала к его голове.

— Болезный ты мой... Соколик ты ясный... Митюшка! — причитала она несвязно, все крепче и крепче обнимая его и кропя его волосы и смачивая ему щеку старческимн слезами. — Пришла я к тебе... вот... Сердечушко надорвалось... А ты думаешь... мать... Охо-хо-хо...

И видно было, что сердце ее разрывалось от горя, от боли позднего, жгучего раскаяния. Старуха схлипывала и с глухим рыданием опустилась с ним рядом на лавку, не выпуская все-таки его из рук.

— Ну, мать... чего ты ровно по мертвом воешь! — хмуро промолвил Кряжев и, не высвобождаясь из крепких объятий, не то удивленно, не то досадливо посматривал на старуху.

Ему, видно, тоже приходилось жутко... Он чувствовал у себя на висках, на волосах, на щеке теплые материнские слезы и чувствовал, как к горлу у него что-то подступало, тяжко давило...

— Ох, Митя! Прости ты меня, грешную! А тебя уж бог простит... — сквозь слезы бормотала старуха. — Глупая я, неразумная... Митюшка! А, Митюшка? Скажь что-нибудь!..

— Да что! — молвил тот не без усилия. — Сама видишь, жив-здоров...

— Вижу, вижу я... — запричитала старуха. — Думаешь, уж совсем ослепла... Все вижу... Вижу, как тя, ровно холеры, все боятся.... Агашка-то... Подь-ко, говорит, подь-ко... грозит это... А тот и слюни распустил... А я... вот те Христос... моченьки, моченьки моей не стало!..

— Да и пущай! Никто их не тащит... — возразил Дмитрий. — А тебе убиваться попусту нечего...

Старуха молча плакала.

— Уж оставь ты, Митя, этот мир! Что тебе? Грех только на душу примаешь за него... А они, вишь, и в сторону норовят, как только что... Об своей голове всякий думает...

Старуха говорила поспокойнее и тихо гладила сына по голове и по спине, и мутные, покрасневшие глаза ее засматривали в его задумчивое, серьезное лицо. Не надеялась ли она, что ее уговоры найдут доступ к Митюхиной душе? Не ожидала ли она, что Митюха на все их «обчественные дела» рукой махнет?

— Нет, мать! Что уж тут... Сделано, так не воротишь! Пустое это! — тихо, но твердо промолвил Кряжев. — Ведь не почету какого алибо не награжденья я и дожидался от них. Мне что!..

— Да ты тó подумай... — приставала мать. — Для коего ляду ты этак-то распинаешься за них? Пущай сами ведаются... Ты думаешь: они чувствуют, наши-то? Гм! Э-эх, Митя, Митя! Пропади ты пропадом, им и горюшка мало...

Кряжев помалкивал. Видно было, что разговор для него неприятен. Невеселая улыбка отражалась на его грустном, осунувшемся лице, как бледный, негреющий луч, скользящий из-за снежных серых облаков в мглистый зимний день. Кряжев, видимо, не хотел спорить со старухой и разуверять ее. Затем мать принялась расспрашивать его о заключении, о суде... Дмитрий рассказывал ей обо всем ровным, спокойным голосом, словно заученную сказку сказывал, словно не про себя, а про кого-то другого говорил. Долго сидела у него ста-

руха и, верно, долго бы еще просидела, ежели бы не заглянула в окно. Солнце уже спускалось к земле, и длинные тени протянулись через всю улицу. Того и гляди, паужинать придут. Старуха поднялась и пошла.

— Ваську-то я зашлю к тебе! — сказала она Дмитрию на прощанье.

— Не трожь его! Коли больно заохотится, и сам придет! — заметил тот.

— Ну ин ладно! А я-то побываю ужотко.

«Вот-то чудное дело! — подумал Кряжев, проводив глазами незваную, нежданную гостью.—Чего ей? Столько лет путного слова не молвила, а тут накось — приплелась, разрюмилась... А-ах, старуха, старуха! И знай себе свое толчет». Кряжеву, конечно, невдомек были все тонкости духовного мира. Он смотрел на все явления прямо, просто, непосредственно, и, конечно, ему казалось удивительно, что мать, до сей поры не любившая его, всячески костившая его на всех перекрестках, вдруг — как бы ни с того ни с сего — приходит к нему, плачет, обнимает его и добрые слова говорит. «Никак старуха-то совсем тронулась! Притча!» — размышлял Кряжев. Он не знал, что «это бывает»... Но мать напомнила ему о многом своим нежданным приходом и слезами. Ему припомнилась грязная рогожа на поле, припомнилось ему круглое сиротство-одиночество, и не без тайного чувства ужаса сознавал он, что односельчане отшатываются от него, словно от холеры, как говорила мать...

А рогожа между тем на другой день была убрана с поля. Приезжал становой, доктор с фельдшером. На поле же и анатомировали покойницу. Левое легкое нашли переполненным кровью — слишком сгущенною... Труп свезли на погост, похоронили. Назарыч сам сделал не очень раженький крест и крепко, хотя немного криво, вбил его в могильную насыпь.

VIII. НАЧАЛО КОНЦА

Враги Кряжева не унимались. Они готовили ему еще напасть. Писарь толковал закручьевцам, что хотя Митька по суду и оправдан, но общество его, как человека беспокойного, не однажды замеченного начальством, то и дело сидящего под арестом за всякие дела, может просто исключить из своей среды...

Прошло месяца два. Митюхино поле стояло пустое; озимь на нем не зеленела, Кряжев работал в кузнице, в досужее время больше сидел дома, редко показывался на селе. Между тем подговоры писаря сделали-таки свое дело.

В одно из воскресений в конце сентября собрался сход по вопросу об исключении из общества Дмитрия Михайлова. Перед кабаком на грязной улице толпился народ, — и сказывали, что будто бы прокудовский приказчик даром угощал в то утро крестьян водкой, а Чирков будто бы для той же потребы прислал старшине со своим «молодцом» двадцатипятирублевую. Народу собралось много, благо полевые работы уже были закончены. Приплелся даже со своей мельницы ветхий Андрей — редкий гость... И красногоркинский учитель расхаживал по улице. Даже Людмиленька приехала в тот день в гости к смуринской попадье. Словно нарочно на прощанье собрались еще раз перед читателем все наши смуринские знакомые — близкие и дальние.

Денек выпал серый, пасмурный. Уже несколько раз начинал идти дождь и стихал. Мужики промокли и продрогли. Каждый норовил забраться в питейный или присоседиться куда ни на есть к самоварику. И бабы толкались по улице, и девки. Ребятишки, заголившись по пояс, хлюпали по лужам. Много было толку, шуму и гаму. Трудно было разобрать, кто за кого стоит, что говорится в пользу Кряжева или против него. Сам же виновник этой суматохи сидел у своей избы на приступочке и покуривал трубку. Назарыч не раз уже ходил спроведывать, на чем порешил сход.

— Галдят, — и не разбери боже! — говорил служивый, возвращаясь с своих разведок. — Только Андрея-мельника слышал, колдуна-то того... Не дело, говорит, вы, ребята, затеяли... Кричит, осерчал таково... А надо быть, будет у них сегодня баталия важная!

Наконец старшина вышел на крыльцо правления и гаркнул:

— Что ж? Али до ночи не столкуемся? Сказывайте толком! Не для баловства, чай, сход-то собрали... А то на голоса пойдет, коли уж так...

— Напрасно! Погодить бы надоть... — шепнул старшине Прокудов.

— Нету! Ничего, посчитаем! — вполголоса возразил тот.

Толпа прихлынула к крыльцу и вдруг притихла. Более трех четвертей голосов оказались за Кряжева. Морды у закручьевцев вытянулись едва не на пол-аршина.

— У-у, сволочь окаянная! — сквозь зубы прошипел Прокудов и, запахнувшись в тулуп, пошел в правление.

Старшина также скрылся.

— Промоет вам дождиком кости-то — важно! — с усмешкой говорил писарь толпе. — Ишь языки-то уж больно расчесались... Сказано, что человек беспокойный, у начальства на отметке значится... Чего еще тут!

Сходка опять зашумела. И старики не запомнят этакой бурной и многолюдной сходки. Крестьяне то заходили в кабак, то уходили домой погреться, то снова собирались. Пьяных стало заметно больше. Бабы уже голосили на всю улицу, что «доколе же это будет», что «мужики, надо быть, всю ночь пропьянствуют» — и ругали же они своих муженьков, и косоглазого Констенкиныча, и Митьку, и писаря со старшиной за то, «для чего те не пужнут мужиков». Всякому свое горе.

— Мой-то, видела, как назюкался, а? — кричит одна.

— А мой-то, мой-то! глянь, кума, — на колоду валится... — взывает другая.

— Ну, вот этак-то лучше, — саркастически добавляет третья, когда пьяненький шлепнулся через колоду брюхом прямо в грязь и заругался что есть мочи.

Парнишки со смехом бегали по улице взад и вперед, задирая друг друга и пьяных и получая за то от тех затрещины. Откуда-то из Закручья слышалась пискливая девичья песня. Опять пересчитали голоса: за Митюху оказалось на этот раз уже менее голосов.

— Ты, Лександра Констенкиныч, винища-то им давай лакать! Пущай! Заплачу за все! Не жалься! — пыхтя, шепотом говорил Прокудов целовальнику. — Праздник-то не частый. Надо им дать, дуракам, покуражиться! Что с ними поделаешь!

Аггушка, как известно, никогда не ходил на сходки. Поэтому шибко удивились, когда завидели, что Аггуха идет по улице прямо к волостному правлению.

— Это еще что за потеха! Гляди-ко, и этот выполз! — Не на сходку ли уж пожаловал? — переговаривались бабы, глядя вслед нелюдимому парню.

Аггушка узнал, как идет дело, — и мигом вскарабкался на правленское крылечко. Он был в своем всегдашнем сером азяме, подпоясанном веревкой, босой и без шапки. И ветер вздымал его косматые рыжие волосы.

— Так-то! — вдруг зарычал он. — Это вы кого исключать-то собрались, а? Митюху? Эх вы, дурьи вы, дурьи головы! За что же исключать этто вы его станете, а? За то, что он за вас себя не жалел? За то, что ходоком вашим завсегда был? За то, что он деньги свои кровные вам же в кассу да в лавку положил? Ну! Уж коли исключите, так и впрямь, что молодцы! Плюнуть на вас, на вислоухих, да растереть...

Невзрачный, непригожий Аггушка был хорош в те минуты, с его свирепым, почти диким взглядом, с его всклокоченными рыжими волосами, раздувавшимися по ветру, с его жилистыми смуглыми руками, размахивавшими над толпой.

— Что нешо тут за аблакаты! Пшел! Не твое здесь место! — рявкнул старшина, показываясь из сенец в сопровождении кулаков.

Аггушка соскочил с крыльца и пропал в толпе. Хоть его краткая речь обозлила и не одних закручьевцев, да впрок пошла, отрезвила. Аггушка бы уже не нужен: дело было сделано. Ни в одной пьяной башке даже и в помышлении не было идти против мира, все стояли заодно... Полуслепой старик, стоявший все время безмолвно, опершись о крылечные перила, прослезился и полой своего полушубка утирал себе лицо.

Толпа иной раз, по-видимому, бывает глупа и неподвижна, словно не сознает своей силы, не знает, куда ей девать ее. Но выпадает такая минута, когда крикни кто-нибудь, скажи слово, и толпа двинется, пойдет куда хочет и сделает все что нужно...

— Шабаш! Считай голоса!— провозгласил старшина.

Смеркалось. Дождь пошел сильнее... По счету оказалось, что сход высказался против исключения Кряжева. Старшина ушел, сильно хлопнув дверью. Прокудов плюнул. Закручьевцы, как не солоно хлебавши, разошлись по домам. Улица опустела. В избах засветились огни, и там шла толкотня.

Лександр Констенкиныч за этот день не остался в накладе и знай себе хихикал в кулак, стоя за прилавком. В кабаке у него много еще слонялось народу.

— И жену пропью, и тебя, Констенкиныч, пропью... Ей-богу, право... — бормотал пьяный Абрамка. — Хошь побожиться... как то ись перед богом... — Во-о! А Митюху не пропью!.. Ни! Потому человек... И себя не пожалею! Хошь задери! Ну дери, дери!.. На!

— Не срамись, Абрам! Полно! — молвил целовальник.

— А за Митюху пойду... потому, не обидь! Вот что!.. — И Абрамка с визгом пристукнул по столу кулаком. — Знай наших!..

— Ну-у, комедь, да и полно! — говорил Констенкиныч, словно любуясь на расходившегося Абрамку. — Абрамка-то, Абрамка-то, а! И-и-и, боже мой!..

Вечером поразъяснило. В воздухе посвежело, и звезды ярко засветились там и сям из-за разорвавшихся седых облаков. Кряжев с Назарычем сидели на крылечке. Служивый покуривал свою носогрейку с медвежьей головой, а Дмитрий наигрывал на гармонике. И чудно играла в тот вечер в его руках гармоника — больно уж хорошо. В Закручье допоздна гулявшие девушки слышали, как пела, ныла, надрывалась гармоника, и никак не могли сообразить, с горя ли, с радости ли так разыгрался Митюха.

— Бесы, надо быть, его тешат! — толковали на Закручье.

А гармоника плачет и смеется, точно с ней вместе чье-то человеческое сердце надрывается. Вдруг дикий, раздирающий душу вопль проносится в воздухе, что-то охнуло и смолкло. То порвалась гармоника. Она не будет уж больше играть. Кряжев положил ее рядом с собой, посмотрел на вербы, качавшиеся за плетнем рядом с его хаткой, прислушался, как шумит и посвистывает в их ветвях ночной ветер, и, встав, ушел в избу. Он, казалось на что-то решился, простился с чем-то.

На что он решился в те минуты, с чем простился он, — читатель увидит в конце этой книги.

В тот же вечер прокудовский приказчик Гаврюха приходил на бугор к Аггушке и объявил, что Григорий Иваныч лишает его своей милости, приказывает его хату раскатить на дрова, а чтобы Аггуха убирался на все четыре стороны, куда знает. Посланный повернулся и пошел, а Аггушка вслед ему крикнул: «Ладно!»

Не вздувая огня, впотьмах просидел Аггушка с час на лавке, о чем-то раздумывая. Вытащил он было из-под лавки топор, посмотрел на него пристально, долго, потрогал пальцем острие его и опять засунул его на прежнее место. Потом поглядел он в окно, побарабанил по разбитому оконцу, начал было что-то насвистывать — свое, чудное, нескладное. Вдруг встал он, постоял среди хатки, схватился за шапку и порывисто вышел вон, словно боясь куда-то опоздать. Он шел на деревню. В немногих избах на Смурине еще горел огонь; зато За́кручье было почти все освещено. Там горели свечи, а кое у кого даже светились керосиновые лампочки.

Аггушка перешел по камням Вожицу и, оставив Медведку за околицей, пробрался к Прокудову на двор. Работница с чем-то возилась на повитях, Гаврюха уже всхрапывал на печи в избе. В горнице, на ле́тней половине, за перегородкой, сидела сама Прокудиха. Петюшка стоял перед нею, положив к ней на колени свою голову. Мать старательно шарила у него в волосах. Григорий Иванович в одной ситцевой розовенькой рубахе, с расстегнутым воротом, стоял у стола лицом к образу и готовился молиться на сон грядущий. Только никак он не мог еще собраться с мыслями, то есть не мог счесть окончательно: сколько он в тот день «профершпилил». Он почесывал поясницу и рассеянно посматривал на образ. Маленький огонь в лампе чуть-чуть горел; смутный полусвет распространялся по избе.

Григорий Иваныч уже складывал крестное знамение, как вдруг за дверью кто-то заворошился, ища впотьмах скобку. Григорий Иванович так и приостановился в ожидании, не успев еще осенить себя крестом. Дверь отворилась; вошел Аггушка. Прокудов быстро обернулся и очутился лицом к лицу с племянником. От неожиданности его даже всего передернуло́. Испугом и злостью исказилось его лицо, губы дрогнули. Он хотел было тотчас же крикнуть Гаврюшку, но пока удержался...

— Что шапку-то не скидаешь? Не в кабак зашел!.. — тяжело дыша, заговорил Прокудов.

— Не в том дело... — молвил Аггушка, по рассеянности или нарочно еще пуще нахлобучивая на лоб свою меховую, кудластую шапку. — Пришел я к тебе счеты свести...

Тут на миг глаза дяди и племянника встретились, и оба они сразу поняли, что ненависть их друг к другу велика, зашла уже далеко и отступить им трудно. Григорий Иванович, не поворачиваясь, протянул руку к стене и сорвал с нее нагайку, но пустить ее в дело поколебался.

— Какие такие счеты? Нет у нас с тобой счетов! — дрогнувшим голосом проворчал Прокудов, высокомерно задирая голову и сжимая в руке нагайку.

— А вот какие счеты... старые! — ровно по пальцам заотсчитывал Аггушка. — Не одиножды ты меня парнишкой до полусмерти стегал. Я на тебя всю жизнь работал, а ты... Ты меня на миру чертом завсегда представлял, хуже исшо... Отцом попрекал; не слыхал я от тебя путного слова. Ты сестру издовел, ребенка ейного с голоду поморили... Ты с теткой-то из меня не человека, собаку сделал... Бери теперь свою баню, отбирай и землю, все... Вот и пришел я для того... чтобы, значит, за все про все расчет с тебя получить...

Нагайка свистнула, но мимо. Аггушка наклонился и, как кошка, прыгнул на Прокудова. Одна рука его впилась, как клещ, в жирное плечо Григория Ивановича, а другая вцепилась ему в бороду. И Аггушка, ровно ополоумев с ярости, изо всей моченьки задергал эту холеную, почтенную бороду. Прокудов ревел и весь корчился от боли, а голова его так и покачивалась на плечах из стороны в сторону. Наконец, дернув еще раз за бороду и выхватив из нее порядочный клок волос, Аггушка оттолкнул Прокудова...

— А ну тя... до греха! — прошептал он, запыхавшись.

Прокудов повалился на лавку. Лицо его страшно побагровело. Он задыхался. От половины своих богатств отказался бы Григорий Иванович, чтобы видеть в ту минуту Аггушку мертвым у своих ног и порвать ему волосья и потоптать его ногами...

— Нож, нож подайте мне! Нож! — вопил он, в бессилии сжимая кулаки и неистово стуча об пол ногами. — Зарежу... Зарежу...

Крупный пот выступил у него на лице. Никогда еще, кажется, отроду не испытывал Прокудов такой жестокой встряски, такого унижения. Столько лет почета, уважения — и вот... Прокудов с ужасающей ясностью сознал все бессилие своих деньжищ.

Он оглянул комнату. Аггушки уже не было. Тут Прокудов дал полную волю своему бешенству: он брякнулся головой об стол и заскрипел зубами. Слезы душили его...

Его хозяйка причитала за перегородкой, думая, что и ей последний час приспел. Она ведь тоже не забыла, как мучила Аггушку, как мучила его сестру... Петюшка, забившись с испугу в угол, орал благим матом, заслышав, как отец страшным голосом запросил нож и стращал кого-то зарезать.

IX. АГГУШКА СТРУЖИТ СПИЧКИ

На другой день поутру Григорий Прокудов отправился в правление и принес старшине жалобу, а писарю что-то уж слишком долго, чувствительно жал руку. Туда же вскоре на зов старшины собрались и старики. Посудили-порядили на том, что Аггушку за озорство и за разбойные его поступки с дядей, его благодетелем, призвать в расправу и наказать двадцатью пятью ударами розог. Тут же десятскому был и приказ отдан: представить в воскресенье Аггушку на сход.

Кряжев, узнав поутру про Аггушкино нашествие, отправился к нему на бугор. За несколько шагов от хатки, как водится, с радостным лаем повстречал его Медведко и, помахивая своим взъерошенным хвостом, проводил его к хозяину.

— На что тебе экое место спичек-то? — спросил Дмитрий, усаживаясь на лавку.

— На что! Известно, пригодятся... — отвечал Аггушка, стругая спичку за спичкой, беря их кучей в горсть и обмакивая в разведенную в черепке серу. — Бабье лето, слышь, кончилось... Темное времечко подошло... Вот и засветим!..

— Так! А для чего такую кутерьму-то затеял? — немного погодя заговорил Кряжев. — С чего на Гришку-то вечор полез, а?

— Было с чего! Даром и чирей не сядет... — проворчал нехотя Аггушка.

— И на сходке опять тоже... Э-эх, Аггуха! — продолжал Дмитрий. — А ведь я, брат, и сам здесь не останусь, пойду... Белый-то свет, чай, не клином сошелся! Свет — штука не малая...

— Так-то так... да как кому... Иному и во всем-то

свете места как будто не хватает... — возразил Аггушка.

— Это ты насчет себя?

— Да и насчет себя и тебя...

И пошло время своим чередом.

Кряжев работал в кузнице. На гумнах по утрам молотила стучали. В поле бабы лен стлали. Аггушкина хатка еще не была раскачена, и стояла она на бугре, ровно дожидаясь только своего смертного часа.

Прошла и пятница. Наступила ночь — угрюмая, осенняя, без месяца, без звезд. Темные облака сплошь задергивали небо. Тихо было на Смурине, только ветер гулял кругом него по полю, по перелескам. Смуринцы залегли на покой. Огни везде были погашены...

Григорий Иванович, укладываясь спать и потягиваясь на своей мягкой перине, купленной им задешево в одной из барских усадеб, простуканной с аукциона, уже представлял себе, как уже заревет Аггушка, как он поклонится в ноги ему, Прокудову, и запросит у него прощения. Приятная и лестная то была картина для его игривого воображения! Засыпает Прокудов, а Аггушка все ревет и ревет — ах, славно! а прутья так и свищут, потрескивают — ах, прекрасно!..

— Горит! Пожар! — слышится Прокудову спросонок.

И действительно, где-то близко что-то глухо шумит и потрескивает... Григорий Иванович нехотя, лениво открывает глаза, а зловещее, красное зарево так и пышет во все окна...

— О господи! Уж не близко ли где! Смородом так и несет... Эй, вставай скорее! Бежи! — бормочет Прокудов, толкая жену, и, накинув тулуп, распахивает дверь.

Его обдает дымом, жаром... Сквозь дым кое-где мелькают огоньки. Внизу, на дворе, огонь уже шибко гуляет и трещит на славу. Мгновение Прокудов не знает, что делать: бежать ли в избу за сундуком, в горницу ли, или выскочить на улицу народ скликать.

— Согрешили! — кричит его приказчик, проносясь мимо него на улицу чуть-чуть не нагишом.

Прокудов бросился за ним.

На колокольне сонный сторож изо всей моченьки уже трезвонил в набат. Смуринцы — кто с чем, а больше все с пустыми руками — бежали в Закручье... Головни и искры разлетались по темному небу, густой

дым валил клубами, из него прорывался огонь и, поднимаясь все выше и выше длинными языками, так, казалось, и лизал низко нависшие над землей облака. Несколько потревоженных со сна белых голубей носились в дыму пожара, то высоко взвиваясь вверх и едва лишь белея в темноте, то быстро опускаясь вниз над самым почти огнем... Ночное небо над Смуриным краснело, багровело все пуще и пуще. Вся задняя сторона прокудовского двора пылала. Вожица в своих озаренных пламенем берегах текла, казалось, какими-то огненными струями. На улице шла давка и толкотня. С трудом выгоняли коров, лошадей, свиней, овец. Все это дико мычало, ржало, блеяло и хрюкало. Куры, как сумасшедшие, метались на стены, на изгородь; петух завалился в колодец.

Прокудиха с растрепанными волосами, в одной рубахе, бегала кругом дома с образом в руках и каким-то продранным решетом под мышкой. Григорий Иванович, споткнувшись, свалился в грязь и в бессильном страхе и отчаянии рвал на себе волосы. Он уже измаялся, бегая без толку взад и вперед...

— Помогите! Ох, помогите, православные! Спасите... голубчики! В жисть не забуду!— взывал он к толпе.

— Всяко, брат, случится: и богатый к бедному постучится! — внушительно заметил кто-то в толпе, глядя на ползавшего по земле Прокудова.

Несколько смуринцев взобрались на крышу и рубили пристройки. Другие раскатывали баграми горевшие стропила и балки. Третьи заливали огонь. Ветер, ровно бешеный, рвался туда и сюда, то метнет на деревню и обсыплет деревню искрами и головнями, то заворотится вдруг на поле и почнет — почнет чесать.

К утру от прокудовского двора остались только пять бревешек, груды уголья да выжженное место. Самый же дом кое-как отстояли, только одна стена пообгорела маленько, да крыльцо разломали.

— Ну-у, дешево отделался Гришка! Будь-ко ветер-то на дом, только бы и видали... — рассуждали поутру смуринцы, смотря на пепелище, по которому кое-где еще валялись головешки и вился серый дымок.

Прокудиха, сгорбившись, почти весь следующий день бродила с палкой по пожарищу и, словно бы что-то отыскивая, тыкала палкой в выжженную землю и разгребала уголья.

Кряжев не спал всю ночь, почти до свету проработав на пожаре, спасая с прочими село. Когда пожар стал стихать, в толпе послышались толки о поджоге, и имя Аггушки при этом упоминалось часто. Кудряшев говорил, что Аггушка у него в лавке на днях покупал серу, и когда его жена спросила у Аггушки: для чего ему столько серы? — так он сказал, что Медведко у него болен и он хочет серой полечить его. Кудряшев в ту пору на это внимания не обратил. Одна баба видела, как вечером перед пожаром Аггуха шел вдоль Вожицы от своей избы, но куда он затем прошел — на Закручье или на Смурино, — не видала...

Кряжев на рассвете пошел на бугор. Аггушка помногому был ему близок и дорог. От толков, прошедших по толпе, больно защемило ему сердце. Странно, что Аггухи не было на пожаре! Да ведь, впрочем, он с Прокудовым во вражде. Он мог и так просто не прийти. Может, сердце его еще не уходилось!.. С такими мыслями Дмитрий вышел в поле. По полю на ту пору разгуливал холодный передутренний ветер. Поблекшая трава грустно желтела по сторонам. Вербы глухо шумели. Унылый, тусклый полусвет лежал на всем...

Первое, что поразило Кряжева, был труп Медведки, попавшийся ему шагах в трех от Аггушкиной хатки. Медведко, очевидно, умер насильственною смертью. На шее у него еще болтался обрывок веревки. Кряжев посмотрел на его мутные, застывшие глаза, на его белые оскаленные зубы — и слегка тронул его ногой в бок. Медведко не ворохнулся. Кряжев сорвал с него веревку — Медведко не вздохнул... Недоброе в этом почудилось Кряжеву. «Что за притча? — промелькнуло у него в голове. — Кто его удавил? Не сам же Аггушка? Ведь он любил Медведка, сам часто говорил, что его Медведко один любит и не оставит его ни за что!..»

Дверь хатки оказалась припертою снаружи колом. Кряжев отдернул кол, распахнул дверь и вошел...

Хатка пуста. На подоконце на синей сахарной бумаге рассыпаны для сушки муравьиные яйца; у печки на веревке висят связки какой-то сухой травы с желтенькими цветочками. Несколько длинных, неуклюжих серных спичек валяются по полу... А хозяина и след простыл. «Не натворил ли уж он что ни на есть над собой? Станется! Отчаянная головушка!..» — помыслил

Кряжев и, еще раз оглядевшись по сторонам, пошел вон. Заглянул было он на вышку, но и там пусто... Сквозь щели ветер подувает, да под самой крышей две-три беличьи шкурки висят на шесте. Только Кряжев очень хорошо заметил, что в хатке не оставалось ни ружья, ни топора. Эти два предмета скрылись...

Теперь — ясное дело! Аггушка поджег прокудовский двор и пустился в бега.

Приперши по-прежнему дверь колом, Кряжев быстро зашагал по направлению к Борковскому лесу. «Так это он сам, значит, и Медведку-то придушил! — раздумывал Кряжев. — Собака от него никогда не отставала и не отстала бы, покуда жива... Он, значит, боялся, что Медведко лаем мог бы выдать его, помешать... Т-а-ак!» Кряжев тихо шел по лесу, с оглядочкой и чутко прислушивался. Таинственный шорох расходился кругом. Дятел где-то долбил дерево. В дикой сосновой чаще проухал сыч. Простонала иволга. Змея заползала в куст. Все подмечал зоркий глаз и слух человека, привыкшего к лесной пустыне, к жизни трущобной.

Выйдя на маленькую прогалину, Кряжев тотчас подметил в одной стороне ее у сломанной ели небольшое, слегка вытоптанное местечно с помятой травой. Сухие осочины, очевидно, прилегшие к земле под давлением какой-то тяжести, не успели еще выправиться. Подойдя к ели и ворохнув ногой груду сухих прошлогодних листьев, Кряжев под ними нашел выжженное местечко и несколько разбросанных мельконьких угольков. Вероятно, Аггушка здесь был недавно и зачем-нибудь разводил огонь.

Долго пробродил Кряжев по лесу, возвратился домой уже в сумерки, опечаленный, угрюмый, и никому не говорил про свои поиски, про то, что он видел и встретил в лесу. Эта — впрочем, простая — тайна осталась навсегда при нем.

Об Аггушке же с той поры не было ни слуху ни духу.

X. ПОСЛЕДНЯЯ ДУМА

С виду Кряжев против прежнего не переменился, только разве на гармонике не играл, песни не пел, стал неразговорчивее, посдержаннее на слово, поскупее на откровенность да в будни и в праздники ходил все в одном и том же старом полушубке с заплатами. По-

прежнему работал он в кузнице, домолачивал с Назарычем последний хлеб, ходил по воскресеньям в кассу, хотя из правления уже выписался давно, наведывался в лавку к Горелому, в досужее время толковал со смуринцами про артельные дела. Все казалось бы по-прежнему. А если в душу заглянуть, так у него там за последнее время много не по-прежнему стало. Какая-то дотоле неведомая ему истома напала на него, не отчаяние, а холодное, полное равнодушие — близкое, впрочем, к отчаянию, — равнодушие ко всему тому, что он прежде думал, чувствовал и делал. Затрещи, например, над ним потолок, задрожи земля у него под ногами, свались на него бревно, лейся огненная лава — он и шагу бы не ступил в сторону, чтобы спастись от опасности. Он словно устал, намаялся от непосильной работушки. Молот отяжелел в его руке, рука не по-прежнему бойко ходила, еда иной день на ум не шла. Спина и бок начинали побаливать. Особенно же мучили его бессонные ночи и страшные грезы во время сна. Только просыпаясь, он никогда не мог припомнить свои сны. Они были нелепы, ужасны, безобразны. Кряжев почти вовсе не смеялся; смех просто претил ему. И не было в его думах и речах прежнего жара и задора.

Дело в том, что с каждым новым переживаемым днем Кряжев все яснее и яснее начинал понимать смысл и значение тех невеселых картин, что давным-давно уже стояли перед его глазами.

Он явственно, живо увидал — ну, просто мог руками ощупать, что в ту пору, как он со смуринцами из кишок выбивался перетянуть у закручьевцев полушку, те вытягивали у них, шутя и балагуря, по целковичкам. Смуринцы, примерно, шаг шагнут, а закручьевцы махнут на версту вперед их.

«Не угоняешься! Не перетянешь!» — пробегало у него в голове.

А картины вот в каком роде вставали перед ним...

Общественная лавка не могла тягаться с закручьевскими магазинами, чуть ли не торговавшими даже птичьим молоком.

Артель попала в руки Ильи Петровича Лисина. Уж известно, что худо овцам, где волк воевода. А Лисин был еще волк-то не простой, в овечьей шкуре да с лисьими ухватками. Значит, самое последнее дело.

А касса... Много ждали от этой кассы, да мало дождались. За последнее время и кулаки перестали враждовать с кассой, даже сами в нее записывались. Они находят за себя поручителей — сколько угодно — и берут из кассы денежки для своих оборотов, когда нет дома свободных капиталов, а платить большие проценты неохота. А для неимущих, для бедняков, то есть для тех, кому деньги-то и нужны преимущественно, касса скупа... Вон Василий Кряжев уж которое воскресенье теряет, все ходит, сердечный, в кассу за деньгами. Не выдают, да и шабаш! Он, видите, уже должен двадцать рублей пятьдесят пять копеек. А до смерти ему нужно бы еще рубликов пятнадцать до михайлова дня. Вон Лизавета, хозяйка Абрамкина, баба непьющая, работящая, без мужа кое-как справляющая свое крохотное хозяйство, — тоже сколько времени уж просит десять рублей. Не дают! Ставь поручителей! А кто за Лизутку поручится? Только смех один. А сынку Беспалова в позапрошлое воскресенье пятьдесят рублей до слова выдали (на покупку скота понадобилось), а в прошлое собрание Захару ведровскому семьдесят пять рубликов отвалили... За что — про что, когда заведомо Захар сам отдает деньги под большие проценты?

Вот и все, что поделали смуринцы для себя. Потуги были, а не родилось ничего... Так себе — по воздуху руками помахали... Теперь нужно посмотреть с другой стороны — что успели за это время кулаки натворить. Кулаки успели много...

Антон Кудряшев уже везде, по всем трактам, по всем улочкам и закоулочкам, понасовал своих кабаков, понатыкал своих елочек. Теперь уже окончательно весь уезд Черешинский у него в руках. Прокудов собирается уже другую лавку открывать и устраивает крупяной завод и солодовню. Кузьма Иванович Чирков землю скупает, хутора строит, собак заводит; «молодцов» принанимает и все новые да новые распашки делает. Теперь у него закуплено уже до двадцати тысяч десятин. Да относительно покупки земли и другие прочие не отстают от него. И много было таких... Большинство помещичьей земли в уезде — в их руках.

Ни одному барину, может быть, и в голову не приходило того, о чем вслух толкуют кулаки. И мечты — поистине — величественны, их замыслы — обширны, планы чудовищны...

Закручьевская молодежь тем временем веселилась, тешиться изволила. Молодцы спаивали смуринских девок и баб, ленточками да платками сманивая их на разврат. И рыбка шла, клевала обрывок червячка и попадалась... И старики правду говорят, что ныне в смуринской стороне пошло такое распутство, какого они не запомнят, какого даже при барах не бывало. Отцы обирают, а сынки на те же деньги любовниц себе покупают. Так и выходит, что смуринцы сами дают им деньги на покупку своих же жен, сестер и дочерей. Вон сам черт, надо быть, надоумил Антошку Кудряшева взять да и устроить в своем доме при питейном заднее помещение — нарочно для женщин. Охотницы, конечно, нашлись. Заходили к Кудряшеву с заднего крылечка бабы и девки, запьянствовали, а что с ними — с пьяненькими закручьевские молодцы там проделывали, — и сказать нельзя... Антошку проклинают на Смурине. А ему — ничего: деньга идет законным порядком.

Помещики, как известно, посократились. Они стали уж не господа, а просто «дворяне-поджаренные таракане», как говорят кулаки. Усадьбы либо пустые стоят, догнивают, либо обитает в них какой-нибудь анахронизм, нечто среднее между полоумным и Иовом многострадальным.

Помещики помоложе, побойчее, а следовательно — поподвижнее, разом смекнули, откуда и куда дует ветер, — и приноровились к общему течению дел. Они поехали на одних полозьях с кулаками. Благо им!

Помещик Бирюлькин, например, проживавший от Смурина верстах в трех, преспокойно открыл лавочку в нижнем этаже своего барского дома и действует ныне так мило, что просто посмотреть стоит, — не уступит в надувательстве ни Прокудову, ни Кудряшеву, только поменьше божится и построже покрикивает на мужичье. Разница между его обращением с покупателями и обращением прочих торговцев именно и заключается лишь в том, что он держит голову высоко: перед покупателями не забегает, не позволяет с собой фамильярничать и сто на сто берет как должное. Лавочник за лишний пятиалтынный перед покупателем согнется в три погибели и двери настежь растворит так, что даже стекла задребезжат. А барин-торговец за тот же пятиалтынный только головой кивнет покупателю... А во всем прочем господин Бирюлькин так же, как Проку-

дов и Кудряшев, то есть лупит с покупателей не на живот, а на смерть. Порох, например, стоящий сорок копеек фунт, у него продается по шестьдесят пять копеек четверть фунта. И все так... Фунт постного масла каким-то чудесным образом уходит у него в небольшой чайный стакашек. Совсем как фокусник... Отпуская товар на чистые деньги, Бирюлькин — по его собственному признанию — берет полтину на рубль, а отпуская на счет, получает рубль на рубль.

И все бары так... Кто лавочку, кто магазин, кто погребок в городе открыл, кто винокуренный, кто пивоваренный, кто сахароваренный или иной какой-нибудь завод устроил. Иные завели дело по-барски, на широкую ногу, вели его неумеючи, без расчету, и вылетели зато в трубу. Другие же, получая сто на сто, блаженствовали. И между крестьянами в смуринской стороне за последнее время завелся обычай: нацарапать рубликов до пятисот и лезть в купцы. И торговцев поэтому развелось видимо-невидимо...

Вот такие картины вставали повседневно, повсюдно перед глазами Кряжева.

Артель устроилась, есть и лавка своя, и касса. Ужо опять школа откроется. Добрая барыня при помощи земства хочет на Смурине больницу заводить, может быть, и заведет. Явится фельдшер с аптечкой — один фельдшер на шестнадцать тысяч с лишком душ. Начнет фельдшер оспу прививать, направо и налево раздавать касторовое масло, мяту и иноземцевские капли. А тех, кто в «нехорошей болезни» гниет, кто на коленях ползает, тех фельдшеру не вылечить. Где же тут лечить, если из ста ребят пятьдесят родится зараженных «нехорошею болезнью»!..

А закручьевцы не робеют, не зевают и дело свое делают ловко...

«Одной кассой, лавкой албо артелью тут горю не помочь! Бери выше, хватай глубже!» — осознал, наконец, Кряжев, в бессилии опуская руки перед тем адом кромешным, который разверзался кругом него со всех сторон. И чувствовал Кряжев, что антихристовой или какой-нибудь другою страшною печатью запечатана его родная сторонка. Воздуху, кажется, вольного много, солнышко светит днем, ночью выступают месяц и звезды, места много, простор; леса, реки — раздолье... А людям жить тесно, душно. Кто наложил эту печать, и как

снять ее? — того Кряжев не знал. Об этом не сказывали ему ни люди, ни книги... И в будущем, как Кряжев ни усиливался разглядеть его, не видел ничего иного.

А между тем здесь — именно здесь — он ухлопал себя, по крайнем мере лучшие силы свои. Он увидал, что он, как слепой, бродил по пряслу, — и ему стало невмоготу. Легко ли сидеть у изголовья близкого, дорогого мертвеца, смотреть на него и мучиться, вспоминая о том времени, как он жил, был силен, и не видеть возможности воскресить его. А Кряжев между тем принужден был оставаться постоянно с глазу на глаз с мертвецом, — и этим мертвецом он был для себя сам, он — прежний, молодой, могучий. И потянуло его со Смурина, захотелось ему уйти куда-нибудь или в степи дальние за «большую реку», или в Питер, только бы подальше, только бы все это с глаз долой. Стал он помышлять об этом все чаще и чаще—и днем, и темной ноченькой. Наконец он решился уйти. Необходимого знания у него не было; он считал себя бесполезным. И жизнь и смерть его, казалось ему, ровно ничего не могут принести. Конечно, он остался бы и не пожалел бы себя, если бы знал, что из того выйдет прок...

Помехи ему, разумеется, не было ниоткуда. Только уходи, пожалуйста! Сделай милость! Живой рукой ему выдали паспорт. «Скатертью дорога!» — про себя напутствовал его Лисин. Закручье тоже повеселело...

Кряжев предложил Назарычу жить в его хатке и просил высылать ему в срок паспорт... Наконец, день настал, — Кряжеву пришлось сказать «последнее прости».

— А на могилки-то нешто не сходишь? — спросил его служивый, подразумевая могилы его отца, Евгеши и ее ребенка.

— Что могилки! Разве травушке поклониться? Никто ведь там не отгаркнется мне! — заметил Кряжев.

Попрощался он с матерью, с братом, с Назарычем (с миром он простился еще накануне), перекинул на спину хотули, взял в руки свою дорожную палку и пошел, оставив за собой лишь порванную гармонику, висевшую в пыли и паутине...

Осенний денек выпал серенький, хмурый. Легкая изморозь стояла в воздухе. Сырой, холодный ветер подувал Кряжеву в лицо. И вдруг с чего-то припомнился ему вечер того зимнего дня, когда он бродил раз по

берегу Вожицы, как тихо и бело было кругом него и какие хорошие, светлые надежды роились в ту пору в его бодрой и сильной душе. Тогда Дмитрий был молод, теперь он постарел, — жизнь постарила его прежде времени. Укатали, знать, бурку крутые горки... Пройдя с полверсты, Кряжев приостановился на мгновение наверху бугра и, опершись на палку, еще раз глянул оттуда назад, вниз, на расстилавшуюся перед ним печальную сторону. Ветер со стоном проносился над равниной, и похоронно шумели голые деревья своими поникнувшими ветвями. Вдали чернели смуринские хаты, чернели лепившиеся по берегу кузницы. «Все так же, как и прежде, коли не хуже!..» — подумал Кряжев. Хатки те же, и так же валятся они на сторону, те же растрепанные соломенные крыши, та же грязная, неприглядная улица; та же тощая скотинка шляется по задворкам и гложет травку с землей. Вон и дядя Панфил такой же оборванный, одерганный, в старых лаптишках стоит у своей избы на приступочке. Вон бабушка Акимиха, такая же несчастненькая, жалкая, надсажается у колодца над неподатливой бадьей. Ребятишки, такие же грязные, чумазые, месят по улице грязь заодно с поросятами... Э-эх!

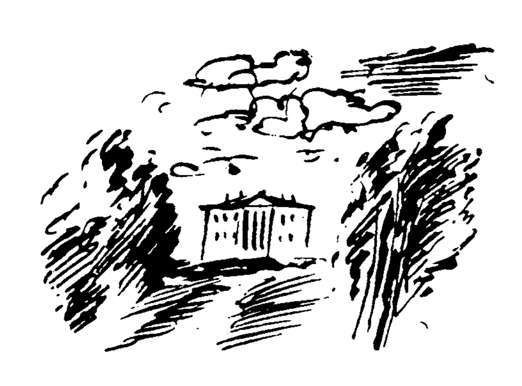
И страшная, скорбная мысль осенила Кряжева. Она уже давно слагалась у него в голове, но теперь лишь впервые предстала ему во всей своей ужасающей наготе. «Ни лешего не сделано! — помыслил Кряжев. — А я то... Э-эх!.. да разве в корыте море переплывешь!..»

И чем долее, чем пристальнее Кряжев всматривался в Смурино, тем горше, больнее становилось у него на душе. Словно вдруг темная, черная ноченька застигла его — и было не видать той ноченьке конца. Тут впервые в жизни слеза прошибла Кряжева... Сквозь слезы, как сквозь туман, еще раз мелькнуло ему родное, бедное Смурино и низко нависшие над ним темные облака.

Кряжев отворотился, смахнул слезу рукавом своей сермяги и побрел по дороге к лесу, тяжело опираясь на посох.

Кряжев прошел в город.

В городе, на базаре, говорят, его видел кто-то из ведровских. Куда он пропал оттуда? — сказать не могу...



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

УЧИТЕЛЬСТВУЮ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

I

Мой добрый знакомый, Ф. Н. Л., сообщил мне, что одна барыня подумывает завести школу в своем имении, подыскивает подходящего учителя, и спросил меня, не возьмусь ли я за устройство школы.

Дело происходило в начале 70-х годов.

Хотя я в это время уже выбрал себе путь в жизни и в течение шести лет довольно прилежно уже работал на литературном поле, но тем не менее в принципе я был согласен сделаться сельским учителем. Самое дело учительства манило меня к себе, да и, кроме того, жизнь в деревне, среди народа, была всегда для меня привлекательна. Но смущал меня чисто практический вопрос: в состоянии ли я буду хорошо устроить школу? Смогу ли я без предварительной, основательной подготовки сделаться порядочным, толковым учителем? Положим, во дни студенчества я живал «на кондициях», давал уроки в помещичьих семьях. Но готовить двух-трех детей к поступлению в гимназию или устроить и вести школу с полусотней крестьянских мальчиков и девочек — два дела, совершенно различные.

Дело, повторяю, мне было по сердцу, но мне казалось страшно взяться за него, ибо я на него смотрел, как на дело весьма серьезное и ответственное, каково оно и есть в действительности. Я сознавал всю свою неподготовленность, и сознание мое высказалось вслух в виде полувопроса, полувосклицания:

— Сумею ли?!

— Конечно, сумеете!.. Добудьте книги, проштудируйте их хорошенько... — ободрял меня приятель. — Ба-

рыня будет очень довольна, и вы, наверное, сойдетесь с ней...

Конечно, я знал, что можно купить книжек и проштудировать их; все это так... но в то же время я знал, что настоящих педагогических приемов, педагогического умения, навыка не вычитаешь ни из каких книг. В этом случае необходима практика: нужно видеть, как на деле применяется тот или другой педагогический прием, и затем надо время, чтобы самому приспособиться к делу. Последствием колебаний вышло то, что я не решился сказать моему приятелю ни «да» ни «нет».

На другой день ко мне пришла сама «барыня» или вернее, барышня — С. А. Л.

Тут вопрос для меня еще пуще осложнился...

По словам г-жи Л., оказывалось, что в их местности, неподалеку от имения ее отца, уже в течение нескольких лет существует школа, но крайне плохая: в две, в три зимы ребята в этой школе едва могут научиться кое-как, с грехом пополам, читать и писать, да и те скудные знания скоро утрачиваются, и случаи рецидивизма безграмотности — самое обыкновенное явление.

Все эти жалости достойные обстоятельства с каждым годом все более и более дискредитировали во мнении крестьян школу, ее значение, да и вообще значение науки, «ученья». Наставниками в этой школе являлись родственники местного священника, но эти наставники смотрели на учительство лишь как на Brotarbeit * до получения более доходного места, как на временное занятие, дающее средства к жизни: школа была для них лишь станцией на пути к дьяконству или священству. Относились они к делу без любви, холодно и нехотя, спустя рукава, словно отбывая какую-нибудь немилую повинность. В ряду учебных пособий розги, как водится, занимали главное место. Наказание производилось, как говорили, тут же, в классе, на глазах у всех (школа, кажется, была только для мальчиков). Крестьяне, может быть, и не оценивали по достоинству весь цинизм подобных наказаний, но было очевидно, что они все-таки оставались недовольны таким отношением к их детям. Крестьяне видели, что ребята напрасно целые зимы ходят в школу, «только напрасно одёжу да обутку рвут», что в школе их походя стегают зря, и деревенские

---

* Работа ради хлеба *(нем.)*.

люди, понятно, стали смотреть на школу, как на пустое баловство, и неохотно пускали ребят в «науку». Школа сама стараниями учителей подрывала к себе доверие в среде сельского населения.

Обо всем этом подробно, обстоятельно рассказала мне г-жа Л.

— Вот видите, при каких неблагоприятных условиях я завожу школу! — закончила она свой рассказ. — Крестьяне почти совсем разочаровались в школе. Чтобы сломить их недоверие и расположить к школе, нужно сразу же как можно лучше повести дело. Пусть они увидят, что в одну зиму мальчик, без розг и без битья, может научиться читать, считать, получить кое-какие сведения о природе, о родной стране...

Можно было бы подумать, что рассказ г-жи Л. окончательно меня обескуражит и охладит, как вылитый на меня ушат студеной воды, и заставит меня окончательно и наотрез отказаться от учительства при таких невыгодных обстоятельствах. Но — загадочна человеческая душа! — именно этот-то рассказ и побудил меня принять сделанное мне предложение. Учительство при сказанных условиях являлось уже в ином свете, подразумевая большие трудности, борьбу, а борьба и бури были мне по душе. Мы ударили по рукам.

Мне было обещано, что никто не станет вмешиваться в мое дело и не будет меня стеснять. Мне давались материальные средства и carte blanche * устраивать и вести школу наилучшим образом, согласно моим взглядам и убеждениям. Такая постановка придавала делу в моих глазах еще большую заманчивость, но в то же время и усугубляла мою ответственность. Наибольшую ответственность принимает на себя тот, кто получает наибольшую свободу действия в известной сфере. Оправдать оказанное доверие (с чьей бы стороны оно ни было дано), не злоупотребить своими полномочиями, воспользоваться наиболее полно предоставленной свободой для общественного блага — нелегкая задача.

Устраиваемая школа была отчасти земская, отчасти частная. Г-жа Л. устраивала ее по своей инициативе в имении отца; она давала землю под школу, помещение, нанимала прислугу и приобретала на свой счет часть школьной обстановки; земство, сколько мне помнится,

* Свободный выбор (*французская идиома*).

сделало на свои средства другую часть обстановки и ассигновало триста рублей в год на содержание учителя. Ремонт школы взялись, кажется, производить сообща земство и г-жа Л. Таким образом, мне было предложено двадцать пять рублей в месяц, квартира и прислуга.

Я спросил г-жу Л., кто будет преподавать в школе закон божий?

— Вы же, конечно! — ответила она.

— Хорошо! — сказал я. — Так я начну с нового завета, с евангелия.

— Кстати, у меня и картины есть из нового завета!

Не позже как через две недели я должен был явиться в школу. Переговоры с г-жой Л. происходили у меня в конце сентября.

Сказано — сделано. Купил я себе книжку Корфа о звуковом методе обучения и другую книжку его же, кажется, под заглавием «Наш друг». Первую книжку я проштудировал основательно, но «Нашего друга» забраковал и предпочел ему для школы книги Ушинского. Все эти прелиминарные сообщения оказываются необходимыми для понимания многого из того, что последует далее.

Г-жа Л. раньше отправилась в деревню, поручив мне кое-что закупить для школы. В первой половине октября и я отправился на свое новое поприще деятельности. Проехав несколько станций по Николаевской железной дороге, я вышел из вагона и нанял пару лошадей. Ямщик веселыми возгласами подбадривал коней: «Эх вы, соколики! С горки на горку! Даст барин на водку...» Местность, действительно, была волнистая, ямщик вез хорошо и мог не без основания льстить себя приятными надеждами... Ночью приехал я в Б., уездный городок, на ту пору уже спавший крепким, мирным сном. Утром рано я тронулся далее в путь к месту моего назначения в село Б. М., бывшее некогда большой станцией на бойком почтовом тракте, уже давно заброшенном и утратившем всякое значение со времени проведения железных дорог.

II

М*** оказывалось большим селением. Мы долго ехали по его главной улице, мощенной жердями, миновали почтовое отделение, завернули за угол, прогремели

по мосту и, наконец, поднявшись с моста на бугор, очутились перед школой или, вернее, перед домом, предназначавшимся под школу. Это была с виду довольно хорошая, почти новая, большая изба, приткнутая на юру и предоставленная на произвол всех четырех ветров. Вокруг — ни дерева, ни кустика; старый, дырявый плетень да какие-то жалкие сарайчики — и только. Узким коридором изба разделялась на две части: направо от входа — кухня и помещение для сторожихи; рядом — чулан, нечто вроде кладовой; налево первая дверь вела в школу, т. е. собственно в классную, далее дверь — в мою комнату. Комната в два окна, с большой русской печью в углу.

«Жить можно!» — решил я про себя, оглянув отведенное мне помещение. Но, как оказалось впоследствии, это помещение имело одно очень большое неудобство, которое, впрочем, в октябре месяце, при теплой осенней погоде, не могло дать себя почувствовать.

Против школы, прямо через дорогу, в глубине двора стоял почтенный, настоящий барский дом, окруженный с трех сторон примыкавшим к нему обширным тенистым садом. В этом-то доме жила основательница школы и ее семья — отец, мать, сестра.

Отец ее был генералом николаевских времен, кажется, сослуживец Клейнмихеля, — высокий, худой старик, полумертвец. Неизлечимый недуг буквально, как говорится, «приковал его к одру». Старик проводил свои последние дни или, вернее, годы, не вставая с постели. Жизнь его только и поддерживалась ежедневными впрыскиваниями морфия. Старшая дочь производила эти впрыскивания, и после них больной оживал, избавляясь на время от своих тяжких страданий.

Мать и обе дочери производили очень приятное впечатление. Между сестрами, впрочем, было мало общего.

Старшая — сдержанная особа, очень любезная и внимательная, с мягкими, спокойными манерами, с тихим, ровным голосом. Из таких девушек жизнь вырабатывает самоотверженных Антигон, добрых, честных жен, прекрасных матерей семейств. Тихо, но не бесследно такие женщины проходят в мире... Младшая же сестра, С. А. (основательница школы), была ее живым контрастом. Наружность ее была также симпатична, хотя совершенно в другом роде. Худощавая, нервная, с живыми темными глазами... Вся — огонь, пламя; вечно увлекающая-

ся, еще более старшей сестры готовая на самопожертвование, готовая забыть себя ради идеи, ради общественного блага. Обращение ее было нервное — то спокойное, тихое, то резкое, порывистое; в голосе ее слышалась нервная дрожь. В загадочной глубине ее выразительных темно-карих глаз было что-то трагическое, что-то роковое, невольно заставлявшее опасаться за нее. Эта молодая девушка не жила, но горела. Многие впоследствии находили, что С. Л. кончила печально. Я же всегда думал, что она кончила так, как должна была кончить, и не было иного исхода для этой натуры — кипучей, страстной и несчастной...

В следующие два дня — пятницу и субботу — я устраивал свое помещение и приводил в порядок всю школьную обстановку. Нужно было повесить в школе висячую лампу, развесить по стенам раскрашенные картины из св. писания, из русской истории и рисунки с изображением разных зверей и птиц. Нужно было переписать книги, имевшиеся в школьной библиотеке, и составить наскоро каталог.

В эти дни с утра до вечера ко мне приходили «записываться» желающие поступить в школу мальчики и девочки, иные в сопровождении отца или матери, иные же, побойчее, — одни. В эти два дня записалось человек сорок, да на следующей неделе, уже во время занятий, прибыло еще около двадцати человек из соседних деревень. С. А. ранее уже сама начинала урывками заниматься с ребятами и теперь пустила самые заманчивые слухи об ее «новой школе».

Некоторые из отцов, приводившие ко мне своих ребят, спрашивали меня:

— Правду говорят, что ты можешь в одну зиму научить читать и писать?

— Постараюсь даже научить скорее... месяца в три! — отвечал я.

— Ой ли! — с изумлением говорили отцы, недоверчиво покачивая головой. — Что уж больно скоро... Ведь этак, пожалуй, и мы, старики, учиться к тебе придем!

— Ну, что ж, — говорю, — и в добрый час! Только хватит ли меня одного на всех!..

— Мальчонка-то моего не оставь, подучи, пожалуйста! — упрашивал один чадолюбивый отец семейства. — Ужо моя старуха как-нибудь яичек тебе принесет, либо кончик холста... Холст-то добрый!.. Уважь! Не оставим!

От холстины и от яиц, как вообще от всяких приношений, я, конечно, отказался раз навсегда, объяснив просителям, что я за свою работу получаю жалованье и уже ни на какие приношения не имею права, что просьбу их «поскорее подучить» я и без того должен «уважить».

Матери все хлопотали больше о теле.

— Стегать-то станешь? — спрашивали меня бабы.

— Нет, не стану! — категорически отвечал я.

Одна мамаша готова была торговаться и идти на уступки и заботилась только о том, чтобы «того»... «не очень больно».

— Известно, парнишка глуп... — рассуждала она, гладя по голове своего сыночка, парня лет четырнадцати, чуть ли не выше ее ростом. — Для чего иной раз не постегать... только, чтобы не шибко.. А то вон в той школе как дерут — страсть! До крови настегают... С разумом ежели постегать — ничего!

Я уверял баб, что ни с разумом, ни без разума сечь ребят не стану, и убедительно просил, чтобы и сами они дома моих учеников и учениц не подвергали этому телесному наказанию. И должно отдать честь этим деревенским отцам и матерям: никто из них не упрашивал меня сечь ребят.

Всем записавшимся я объявлял, чтобы они в воскресенье, к пяти часам вечера, собрались в школу, причем пояснил, что ученья в этот вечер я, разумеется, не начну, но хочу только познакомиться с ними, поговорить кое о чем и, кстати, поучу их тому, как надо учиться.

В воскресенье вечером зажгли лампу. Пришла С. А., собрались ученики; все свободные места около двери и за лавками были заняты разношерстной деревенской публикой. С живейшим интересом следили за каждым моим движением и, по-видимому, ожидали какого-то торжественного начала. Но никакой торжественности не вышло...

Для того, чтобы познакомиться со степенью развития моих будущих учеников, я стал расспрашивать то того, то другого из них: каково они живут? сколько у них лошадей, коров, овец? сколько у них в наделе десятин земли? когда сеют рожь и яровое? почему не раньше? много ли ставят стогов на лугах? поздно ли кончается молоченье? и т. д. Ребята сначала несколько смущались; они, очевидно, не ожидали подобных вопросов, но, не-

смотря на их смущение, ответы по большей части получались толковые. Я скоро увидал, что с этим маленьким народом можно хорошо повести дело.

Затем я указал им на то, что они должны стараться учиться как можно лучше — для того, чтобы деньги, потраченные на школу, на их ученье, не пропали даром. Тут я по пальцам стал высчитывать, что стоит их ученье, т. е. устройство и содержание школы, постройка дома, обзаведение обстановки — столов, лавок, доски, счетов, шкапа для книг; далее — учебные принадлежности: учебные книги, бумага, перья, чернила, карандаши, подвижные буквы, картины на стенах, книги для чтения.

— Все это, — говорил я, — стоит денег — и немалых денег. Я за свои занятия с вами буду получать двадцать пять рублей в месяц. Вы только подумайте: двад-цать пять руб-лей! — проговорил я с расстановкой и внушительно, смотря на ребят.

Я знал, что двадцать пять рублей им покажется громадной суммой; причем мне также было известно, что самое сильное впечатление на детей обыкновенно производят подробности наиболее конкретного свойства. Детский ум еще не готов для отвлеченностей и для широких обобщений: ребенок — реалист par excellence *, и даже в область фантастических вымыслов вносит он свой реализм.

— Смотрите же, чтобы ни один день в школе не пропал для вас даром! — говорил я. — Пусть не говорят добрые люди, что деньги на вас тратятся напрасно! От школы вы не увидите ничего худого, но узнаете в ней много доброго, полезного для себя... Поэтому каждый порядочный ученик будет относиться к школе с уважением и с любовью.

Далее я пояснил, что значит хорошо учиться.

— Нужно внимательно слушать меня, — говорил я, — и стараться понять, о чем я говорю. Чего не поймете, спрашивайте меня сейчас же; когда же поняли, то старайтесь понятое запомнить навсегда, а для того, чтобы запомнить, повторяйте про себя, молча или вслух, то, что надо запомнить. На авось, не подумавши, не отвечайте, не торопитесь; если чего не знаете, так и скажите: «Не знаю!» Нам придется начать ученье с азбуки.

---

* По преимуществу, главным образом (*фр.*).

Я объяснил, что для каждого звука нашего голоса есть соответствующий знак — буква (тут я взял из ящика О и сказал, как читается эта буква), что все буквы вместе составляют азбуку, что слово «азбука» происходит от названия первых двух букв, читавшихся по-старинному «аз», «буки». Чтобы не потерять даром вечера, я воспользовался случаем и экспромтом стал показывать ребятам буквы: о, а, у, х. Тотчас же мы стали разлагать слова: «ухо», «уха», «ох», «ах» — на составляющие их звуки, и затем из этих звуков снова составлять слова. Через полчаса мальчики и девочки посмышленее уже начали постигать механизм слогов, т. е. чтения.

Публика, не дождавшаяся никакого торжественного вступления, тем не менее с напряженным вниманием следила за всем происходившим.

В восьмом часу наша первая беседа кончилась. Назавтра следовало начаться ученью.

— Понедельник — день-то тяжелый! — заметил один из публики при выходе из школы.

— Нет, — говорю, — день хороший, легкий... он тяжел только для того, кто в воскресенье был шибко пьян.

Веселый смех послышался в толпе.

III

В понедельник, едва ли не с семи часов утра, у меня за стеной послышалось движение — стук дверьми, шарканье, сдержанный говор: ученики мои на первый раз спозаранку забирались в школу.

В девять часов я пришел в класс. Смотрю: девочки сидят налево, мальчики — направо, точь-в-точь как народ размещается в сельских церквах: мужчины — направо, женщины — налево. «Ну, думаю, это не дело!»

— Не так, — говорю, — вы сели...

И тотчас же раскассировал их, рассадив вперемежку тех и других. (Мальчиков было больше: они составляли почти две трети всех учащихся). Мальчики были от восьми до пятнадцати лет; девочек не было старше тринадцати.

Против совместных школ и поныне еще изредка раздаются голоса — голоса последних могикан. Трудно привести более или менее основательные возражения против подобных школ. Так я думал до своего учительствования, а после него на практике еще тверже убедился

во всей несостоятельности нападок на совместные школы (я говорю о сельских школах).

В деревнях мальчики и девочки растут вместе, вместе они и дома и на улице, вместе играют, бегают по полям и по лесам, — после этого что же может быть дурного, если они вместе же станут заниматься делом под надзором учителя? Что бы, например, такое предосудительное девочки могли узнать в школе от мальчиков, чего они еще не знали, не слыхали до той поры? Возьмем худшее, — допустим, что девочки рискуют услыхать от мальчиков какую-нибудь грубую, не совсем приличную шутку или даже ругательное слово. Но ведь дело-то в том, что подобные милые шуточки и ругательства в деревне ни для кого не новость, и девочки еще задолго до своего поступления в школу уже много раз слыхали их от отцов, от братьев или просто на улице от какого-нибудь пьяного забулдыги. К тому же, кстати замечу, этим неприятно звучащим для нас словам в деревне далеко не придается того шокирующего значения, какое они имеют для культурного человека, — так же точно, как ребенок до двух, до трех лет без всякой мысли о бесстыдстве проделывает много такого, что во взрослом человеке мы можем признать лишь за проявление цинизма. Вообще, в ругательстве пьяного мужика заключается менее оскорбительного и менее вредного для общественной нравственности, нежели в наших оперетках, в которых самый необузданный разврат, подслащенный и замаскированный и тем еще более ядовитый, заставляет захлебываться от восторга культурных людей.

Школа, напротив, как я убедился на деле, при совместном обучении может только улучшить, смягчить, облагородить отношения между девушками и молодыми людьми. В моей школе мальчики относились к девочкам совершенно по-товарищески, но тем не менее они не позволяли себе с девочками того, что иногда, расшалившись, допускали по отношению друг к другу. Я заметил, что с течением времени в отношениях мальчиков к девочкам стала сказываться скрытная, словами не передаваемая деликатность. Некоторые из моих учеников, может быть, впоследствии женились «по любви» на своих школьных товарках. Но разве подобный союз дурен? Не нахожу, чтобы он был менее желателен, чем брак по расчету, навязанный разными внешними обстоятель-

ствами или заключенный под влиянием бешеной вспышки животной страсти...

Занятия в школе начинались с девяти часов. С двенадцати до часу делался перерыв для обеда; затем занятия продолжались с часу до четырех. В половине одиннадцатого и в половине третьего на пятнадцать минут я отпускал школьников на двор — побегать и поразмять ноги. Таким образом, в сутки выходило на занятия пять с половиной часов. Это не особенно обременительно, если принять в расчет, что у меня было положено за правило никаких работ в течение первого года на дом не давать. Ученики должны были работать только в школе, а дома, если им заблагорассудится, могли лишь читать по своей воле. Я, по крайней мере, не мог заметить, чтобы ученики особенно утомлялись к концу классов, хотя в этом отношении я очень зорко следил за ними. Если же после горячих занятий, требовавших продолжительного умственного напряжения, я иногда подмечал в своих учениках некоторую вялость, как результат утомления, то уже не насиловал их и de facto * ранее кончал урок, но по домам учеников все-таки не отпускал ранее раз назначенного часа: дисциплина — не внешняя, не казовая, но внутренняя, сознательная дисциплина необходима в каждом деле. К такому случаю я, обыкновенно, приберегал какой-нибудь интересный, удобопонятный рассказ без голой морали, но самим содержанием своим дававший возможность вывести ту или другую мораль. Тут уж мне приходилось работать, а ученики как бы отдыхали.

В течение первой недели я познакомил свою аудиторию со всеми гласными буквами и с некоторыми из согласных. Мы разлагали слова на составляющие их звуки и, наоборот, из звуков собирали слова. Так, в течение первой недели мы уже бойко читали: «ухо, уха, муха, мох, мама, Маша, хорошо, соха, борона, кошка, овца, корова, село, деревня, узда, дуга, мука, мыло, тятя, вилы, пила, Фома, Анна» и нек. др. (Твердый и мягкий знаки — Ъ и Ь — я показал лишь в половине второй недели).

Одновременно с чтением шло и письмо. Писали сначала печатными буквами и без употребления прописных букв. Разложив слово и снова составив его, мы прочи-

---

* Фактически (*лат.*).

тывали его раз, другой и третий и затем писали это слово.

Мне могут при этом указать на то, что я, приучая школьников писать печатными буквами, доставлял себе и им двойную работу, так как впоследствии им, конечно, пришлось переучиваться писать. Нет, двойной работы тут не оказывается, и переучиваться почти нечему, потому что очертания большинства наших печатных букв совершенно тождественны с очертаниями письменных литер (за исключением букв: а, г, д, т, ч, е).

По крайней мере, в моей м-ской школе переход от печатных к письменным буквам произошел совершенно незаметно, можно сказать, шутя и потребовал от меня лишь нескольких кратких объяснений и двух-трех дней практики. В сущности приходилось учиться не столько новым начертаниям букв, сколько новому способу письма их.

В школе, как водится, в одном углу стояла традиционная черная доска, с губкой и кусочками мела; в другом углу помещались такой же величины счеты. Познакомив учеников с цифрами, я в течение второй недели приступил к двум первым арифметическим правилам — сначала на счетах, потом на доске, в тетрадях и «в уме». Перешли прямо к практике и занялись решением маленьких задач. Два раза в неделю происходили у нас беседы из закона божьего. Я брал тот или другой праздник и рассказывал историю тех событий, о которых данный праздник нам напоминает. При этих обьяснениях я пользовался картинами, и беседы принимали иногда очень оживленный характер.

Иногда для того, чтобы сосредоточить на время свое внимание на более слабых и отсталых, раздавал я одной половине класса обрывки газет затем, чтобы ученики подчеркивали карандашом встречавшиеся им знакомые буквы и те слова, которые они были в состоянии прочитать; пока одна половина класса занималась таким подчеркиваньем, я работал с другой. Или бывало так: собирал тетради у одной половины класса и раздавал их другой для того, чтобы в словах, написанных под диктовку, были указаны ошибки. Таким образом, я контролировал то одну, то другую половину класса.

Вообще, я старался, по возможности, давать простор самодеятельности и разнообразить занятия, ибо я заметил, что при таком разнообразии дети не так скоро

утомляются: разнообразие служит как бы своего рода отдыхом.

В моей школе не было ни гимнастики, ни маршировки. Гимнастики не было потому, что я сам не мог преподавать ее и не мог также поручить ее преподавание какому-нибудь бессрочному или отставному солдатику: гимнастика — для того, чтобы она приносила пользу — должна быть поставлена на разумных началах, а в одном лазании или прыгании толку мало. Маршировка же, как весьма односторонняя гимнастика, по-моему мнению, в школе вовсе не нужна, ибо мускулы ног у ребят и без нее отлично развиваются от постоянной ходьбы и беганья. А если бы были средства, я завел бы при школе: 1) библиотеку; 2) ремесленное училище и при нем мастерскую (столярную, слесарную, кузнечную и сапожную); 3) метеорологическую станцию; станцию для исследования почв, хлебов, животных, вредных для растений, и семенное депо; 4) небольшой огород и сад — с ягодными кустами или с фруктовыми деревьями, смотря по условиям почвы и климата; 5) поле; 6) небольшой клочок леса и при нем питомник; 7) пчельник.

Теперь уже я не помню, в каком порядке шло ученье. При моей скитальческой жизни затерялось немало интересных документов, потерялся и тот школьный журнал, который я вел изо дня в день, для того чтобы впоследствии по нем было легко составить к концу года отчет о пройденном в школе. Только верно одно, что к началу декабря, т. е. через шесть недель после начала занятий, большинство школьников — девочек и мальчиков, т. е. по крайней мере три четверти учеников, читали и писали, умели постукивать на счетах, слагать и вычитать до тысячи, знали содержание и смысл главных праздников, знали, сколько дней, недель и месяцев в году и как месяцы называются, могли толково передать «своими словами» несколько басен, стихотворений и сказок. Впрочем, читать не торопясь и нацарапать письмо школьники могли и ранее. Они уносили домой газетные обрывки и там вечером читали отцу-матери или соседям разные известия; иногда они брали с собой книги и читали вслух; когда требовалось, смело брались написать письмо.

Я теперь и сам невольно удивляюсь, когда оглядываюсь на прошлое и припоминаю, с какой быстротой у меня двигалось дело. Я и теперь еще не могу дать себе

вполне ясного отчета: каким образом я, человек неопытный, не подготовленный, мог достигнуть в шесть недель такого успеха. Положим, я не манкировал своим делом, занимался им с любовью; я не прогулял ни одного урока, не пропустил ни одного дня даже и по болезни, хотя и бывал болен. Я работал так усердно, как будто сам учился вместе с детьми. Мой жар, мое увлечение, мое настойчивое желание сделать дело как можно лучше и скорее, может быть, сообщались и моим ученикам. А также, может быть, в этом случае кое-что значило и то обстоятельство, что я не насиловал внимания учеников, старался сделать для них, по возможности, «не горьким» корень ученья, старался быть с ними спокойным, ровным и, не выказывая настойчивости, умел быть настойчивым и добиться того, что мне было надо.

Слух о том, что в м-ской школе в полтора месяца ребята научились читать, писать и прикидывать на счетах, быстро разошелся по околотку и произвел поразительное впечатление. Таким образом, одна цель была достигнута: нам удалось поднять во мнении крестьян значение школы, уже сильно дискредитированной в той местности.

Однажды, в начале декабря, ко мне явились несколько крестьян, из них один — человек уже очень пожилой — стал убедительно просить меня научить их грамоте.

— Уж если ты ребятишек так скоро научил, так и с нами не дольше пробьешься! — говорил он. — Ведь мы-то, чай, будем посмышленее.

— Но когда же, — говорю, — стану я учить вас! Днем я вожусь с ребятами, к вечеру устаю... Трудно мне весь день говорить, сил не хватит... Грудь, — говорю, — болит!

Но не мог я отказать им, и условились, что по вечерам в воскресенье и в четверг они станут приходить в школу.

Говорят иногда о равнодушии наших крестьян к школе. Если школа два и три года учит-мучит ребят и в заключение ничему толком научить не в состоянии, то спрашивается: за что же на такую школу крестьяне станут смотреть с особенным умилением и станут интересоваться ею? Подобными школами можно только отбить от учения, но уж отнюдь не привлечь к нему.

О сельской школе, о желаемом ее устройстве, о ее

современном состоянии, об отношении к ней учащихся и сельского населения вообще пишут много и охотно, ибо тема, действительно, весьма богатая, но, к сожалению, часто по этому вопросу пишут люди, витающие в теоретических эмпиреях, лишь вскользь, à vol d'oiseau *, знакомые с деревней и с деревенской школой. Вследствие такого положения дела из всего написанного о сельской школе и об отношении к ней деревни лишь самая незначительная часть имеет хоть сколько-нибудь ценное значение в качестве действительно толковых обобщений или сырого материала по школьному вопросу. Большая же часть этих писаний представляет лишь априорные рассуждения, собственные измышления авторов — в том или другом направлении, с той или другой окраской.

Горе наше в том легкомыслии, с которым люди берутся «с легким сердцем» судить и рядить о предмете, знакомом им лишь понаслышке. О дорожной повинности, например, пишет тот, кто знаком с этой повинностью; об инженерном деле, об архитектуре и т. п. пишут люди, специально изучавшие эти отрасли человеческого ведения. О школе же (так же, как о медицине) каждый, поучившийся грамоте, по-видимому, считает себя вправе писать что ему бог на душу положит. Отсюда-то и происходит у нас немало недоразумений в тех случаях, когда по тому или другому делу вызываются «сведущие» люди, причем вдруг оказывается, что эти «сведущие» люди ни бельмеса в деле не разумеют, но писали по этому «вопросу» для препровождения времени, просто потому, что им «нравилось» писать... Подобные ошибки и недоразумения особенно гибельно дают себя чувствовать в критические моменты, переживаемые обществом. Пирожник начинает шить никуда не годные сапоги, сапожник печет хлеб, которого нельзя в рот взять, или — что еще хуже — принимается писать экономические статьи «о современном состоянии нашего отечества» и на каждой странице городит лишь вздор и чепуху.

Так, например, некоторые утверждают, что крестьяне питают сильное, непреодолимое влечение к церковнославянской грамоте и будто бы настойчиво просят учить их ребятишек по «старой азбуке» (т. е. не по звуковому методу) и обязательно по псалтири. Откуда взялся такой взгляд, я решать не берусь, ибо весьма трудно, да и

---

* Бегло, кое-как, поверхностно *(фр.)*.

мало интересного разбираться в массе показаний часто противоречащих друг другу докладчиков по этому вопросу.

Я вырос в деревне, по выходе из университета жил в деревне и затем в течение последних двадцати пяти лет не порывал связей с деревней, так что безошибочно можно положить, что половину моей жизни я провел в деревне, среди народа. Я знаком с крестьянством, со школами и школьными учителями в местностях, весьма различных по своим этнографическим, экономическим и др. условиям, как, например, в губерниях: Петербургской и Воронежской, Новгородской и Тамбовской, Тверской и Уфимской, Вологодской и др., — и, решительно, нигде ни разу я не слыхал, чтобы крестьяне выражали свое пристрастие к церковно-славянской грамоте. Нигде я не слыхал ни от учителей, ни от самих крестьян о желании последних, чтоб их детей учили «по-старому».

Можно ли считать случайностью то обстоятельство, что я в столь различных по положению местностях нигде не встретил подтверждения указанного взгляда? Напротив, можно думать, что такое мнение о любви крестьян к церковно-славянскому языку сложилось именно на немногих, действительно исключительных данных.

IV

В принципе никаких наказаний в школе я не допускал. Но вышли три случая, которые не могут быть названы иначе, как наказанием.

Была одна девочка в числе моих учениц, довольно тупая в деле ученья, но на шалости — большая мастерица. Однажды во время занятий я заметил, что ближайшие соседи этой девицы чем-то взволнованы, перешептываются, хихикают, заглядывают под стол, а та делает им какие-то знаки. Я несколько времени присматривался, ничего не говоря шалунам, но присматривался напрасно: никак не мог догадаться, в чем тут было дело. Наконец я быстро подошел к девочке и взял ее за руку. В руках у нее оказался сделанный из платка «зайчик»... Хотя зайчик сам по сбее предмет совершенно невинный, но, несмотря на всю свою невинность, все-таки он отвлекал от дела наше внимание, отнимал у меня моих учеников. На будущее время надо было предупредить повторение подобных явлений, не идущих к делу.

— Встань! — сказал я этой шаловливой девице. — Подними руку, повыше... вот так! Покажи всем своего зайчика! Пускай знают, какая ты рукодельница...

Девочка стояла выпрямившись во весь рост. Зайчик заметно дрожал в ее высоко поднятой руке, и на ее обыкновенно тупом, невыразительном лице теперь проступал легкий румянец. Девочка, по-видимому, смутилась под сотней устремленных на нее глаз. Она стояла с опущенными глазами, понурив голову, и ей, очевидно, хотелось бы совсем сократиться на это время. Пытка длилась не дольше полминуты. Мне стало жаль эту шалунью... Не всегда легко быть строгим... После того зайчиков в классе уже не появлялось.

Другой неприятный случай.

Мальчик, уже довольно взрослый, лет четырнадцати, сын местного кулака, рассчитывая на безнаказанность ввиду своего привилегированного общественного положения, стал позволять себе в классе разные шалости и выходки, обращавшие на себя внимание школьников. Я уже несколько раз внушительно посматривал на него и, в виде предостережения, говорил ему:

— Сиди же смирно, не мешай нам!

Успокоится малый на время, а назавтра, как ни в чем не бывало, снова принимается за свои проделки.

Однажды, когда встретились кое-какие трудности и мне было нужно сосредоточить все внимание моих учеников на том, о чем шла речь, этот парень нахальнее обыкновенного принялся за свои штуки. Что оставалось делать? Один мешал пятидесяти. Будь на его месте обыкновенный деревенский мальчишка-проказник, забывающий о месте и времени, сын заурядного крестьянина-бедняка, я, вероятно, и на этот раз постарался бы словами убежденья усмирить его. Но тут во всех движениях и позах, в каждом взгляде и в усмешке сказывалось нахальство, ясно говорившее всем: «Я и в школе так же, как на улице, делаю все, что хочу... не так, как вы!»

Взял я этого «привилегированного» баловня и вытащил из школы на крыльцо.

— Ты один всем мешаешь! — резко сказал я ему. — Сам не хочешь учиться, так не учись, а другим не мешай! Убирайся!

И захлопнул за ним дверь. Парень, по-видимому, был ошеломлен...

Подобный поступок с моей стороны, может статься, был вовсе не педагогичен. Не спорю: учитель более опытный, постарше меня, может быть, действовал бы в таком случае иначе... Но что же делать? Я уже сказал, что был не подготовлен к учительству и нес на служение делу лишь искреннее желание быть добросовестным и исполнить дело, как могу и как сумею лучше.

Через день, сколько помнится, парень опять появился на нашем горизонте. Он, очевидно, не смел войти в школу, но, мрачный и молчаливый, толкался в сенях. Я нашел его перед дверьми школы.

— Ты зачем здесь? — спросил я его.

— Отец послал... — промолвил он, не глядя на меня.

Отец, вероятно, велел ему пойти просить у меня прощенья, но мальчуган стоял молча, как истукан. По-видимому, ему было трудно попросить извиненья, т. е. выговорить обычную, заученную фразу. Последнее обстоятельство меня несколько расположило к нему.

— Ну, ладно! Помиримся на первый раз... Но если ты не перестанешь мешать нам, я совсем прогоню тебя из школы!

Последние слова я сказал твердым, решительным тоном.

На несколько времени этот шалун, действительно, присмирел, стал даже тише и скромнее прочих, но недели через две, через три опять было начал распускать крылышки, но тут подошло рождество.

Третий случай...

Несколько мальчиков — человек шесть или семь — жили при школе, в большом помещении, предназначенном для сторожихи. Эти мальчики были из соседних деревень — версты за три, за четыре от нашего селения, и зимой, в морозы, им было бы крайне неудобно каждый день странствовать в школу. С моего разрешения они устроились при школе и ходили домой лишь в воскресенье; они запасались из дома хлебом, кое-каким приварком, и сторожиха готовила им обед. Однажды вечером, на сон грядущий, один из этих пансионеров развозился с товарищем и, увлекшись, разорвал тому шапку. Обидчик оказался из семьи зажиточной, а потерпевший — бедняк. Он не жаловался мне, но был в большом горе и плакал. Единственная шапка — и теперь стала никуда негодна; не в чем на улицу выйти. А обидчик еще подсмеивается: «Волосьями, — говорит, — при-

кроешься... не что и надо!» Сторожиха на другой день рассказала мне об этой истории. Потерпевший мальчуга́н со слезами показал мне свою растерзанную шапку. Пришлось быть судьей... Не берусь судить, насколько был прав мой суд, но только могу поручиться, что он был скор и нелицеприятен. Изорванную шапку я отдал изорвавшему ее («чини или покупай новую!»), а его шапку, тоже довольно поношенную, отдал потерпевшему. Тем дело и кончилось, и никаких протестов ниоткуда не последовало.

Вспоминая темные тени, невольно вспоминаешь и о свете. Какие славные крестьянские дети были у меня в школе!

Помню, например, одного маленького мальчугана. Ему не было еще восьми лет, и в школу его приняли лишь по усиленным просьбам его матери-вдовы. Он сидел на первой скамейке, потому что был очень мал ростом — он был всех меньше в школе. Маленький, но довольно коренастый, здоровый, «гладкий», как говорится, с круглым личиком, с большими голубыми глазами, открытыми и доверчивыми, и с густыми-густыми льняного цвета волосами, нависшими надо лбом, — этот мальчик мне очень нравился, и я любил смотреть на его милую белокурую головку. За его неуклюжесть я звал его «медвежонком». Иногда в деле ученья он не поспевал за своими взрослыми товарищами, и мне порой приходилось останавливаться с ним и помогать ему. Но по своим годам он был довольно развит, даже развитее многих из его товарищей.

В своих воспоминаниях я с каким-то необыкновенно тихим, отрадным чувством останавливаюсь на этом «медвежонке» и еще на одной темноглазой девочке, Маше, — смуглой, высокой и худенькой; вот тоже было милое, прекрасное созданье — натура нежная, жалостливая, отзывчивая. И «старый сельский учитель» через тридцать долгих лет теперь вспоминает о них и раздумывает: что-то сталось с ними? Живы ли они? А если живы, то какова судьба пала на их долю?

Впрочем, да не подумает читатель, что из всех школьников только эти двое, мальчик и девочка, были хорошими, добрыми существами и остались в моей памяти! Вовсе нет! Вся моя маленькая публика (за весьма незначительными исключениями) была — для меня, по крайней мере,— крайне симпатичной: с этими крестьян-

ски́ми детьми я чувствовал себя лучше, легче, чем с избалованными, капризными детьми богатых семейств. Крестьянские дети в общем оказывались несомненно серьезнее этих детей (тех, с какими мне приходилось сталкиваться на своем веку — в городах и в помещичьих усадьбах). Правда, крестьянские дети, каких я знавал, не умели «шаркать ножкой», делать «смехотворные реверансы» и т. п., но в них было больше деликатности, чем в других детях, «приседавших» и «шаркавших ножкой»...

С соседями школа моя жила в мире и любви.

Только еще на первых порах, осенью, у моей маленькой публики вышло некоторое недоразумение со становихой из-за индюка; это недоразумение могло, пожалуй, повлечь за собой последствия, весьма неприятные для шкур моих учеников, но, к счастью, все разрешилось благополучно.

Дело в том, что рядом со школой находилась квартира станового пристава (значит, «особы» — в известном смысле); школьные владения разграничивались от соседнего двора плохоньким, старым плетнем. Становиха была любительница всякой птицы, и, между прочим, водилось у нее изрядное стадо индеек. Моим шалунам нравилось, когда индейский петух со своей индюшечьей важностью распускал хвост и крылья и, размахивая своим великолепным, красно-сизым наростом, начинал все пуще и пуще бормотать и волноваться. Мальчуганы, как только, бывало, урвутся из школы, сейчас и примутся всячески дразнить его из-за плетня. А тот, бедняга, ревет, надрывается, индюшки тоже начинают усиленнее клоктать, а мальчуганы и рады — и в упоении чувств гогочут, гикают и свищут. Одним словом, поднимался страшный содом. Комната моя находилась далеко от места этих подвигов, и о дразненьи индюка я ничего не знал до тех пор, пока становихина кухарка, весьма почтенная старуха, не пришла ко мне и не попросила унять шалунов.

— Индюк, того и гляди, надорвется, еще заболеет, пожалуй! Нешто это порядки... дразнить чужую птицу! — рассудительно говорнла мне старуха.

Я согласился с тем, что это, действительно, непорядки.

— Ну, вот то-то и есть! Ты, батюшка, своих атаманов-молодцов не распускай, а то ведь от этой вольницы

житья никому не станет! Озорной здесь народ... что и говорить! — шамкала старуха.

— Усмирю, усмирю, бабушка! Иди с миром! — успокаивал я старушку.

Я сказал школьникам, что индюк — птица смирная, безобидная, что нехорошо дразнить и обижать его, когда он никакого худа им не сделал. Этим инцидент с индюком и был окончательно исчерпан. Дразненье индюка прекратилось, и лишь иногда изредка кое-кто из «непримиримых» ироническим тоном покрикивал по адресу тщеславной птицы: «Хо-рош! хорош!» и вполголоса передразнивал ее бормотанье...

Вышел и еще один случай — одна из тех неприятностей, от которых в жизни ни за что не убережешься, как ни хлопочи.

Приближался храмовой праздник в том приходе, к которому принадлежало наше селение. Храмовой праздник — значит пивной день, день пьянства, гульбы и драк. Еще задолго до этого многознаменательного дня ребята мои стали поговаривать о том, что у них «праздничают» три дня. Я тогда же им заявил и накануне праздника повторил, что я буду праздничать только один день, что на другой же день после праздника школа будет открыта, и я стану заниматься, хотя бы пришли только трое или двое. Вот на рождество им будет дан большой отдых, а теперь достаточно и одного дня. (Я и не воображал тогда, как окажется продолжителен их святочный отдых!)

На другой день праздника половина учеников явилась в школу; на следующий день не хватило человек десяти. Отмечу при этом как интересный факт то обстоятельство, что в первый и на второй день не являлись в школу исключительно мальчики, девочки же в оба дня были все налицо.

Через день или через два после праздника — в точности теперь не помню — во время занятий ввалился в школу причетник, бывший сильно навеселе, и шибко заплетающимся языком, с трудом немалым, кое-как довел до моего сведения, что батюшка остался в избе такого-то (имя рек) и послал его узнать, может ли он прийти в школу «пославить». За мною уже слышались сдержанные хихиканья и шепот... Я чувствовал: еще одна минута — и ученики мои придут в весьма игривое настроение духа, а тогда занятия наши — «прости-про-

щай!» Я думал: сегодня уже не праздник, а будни — идут занятия в школе... А с другой стороны, священник, весьма может быть, и совершенно трезв, но ведь и появление «со славой» одного пьяного причетника представится уже немалым соблазном для ребят. Я поспешил объявить вестнику, что теперь принять не могу.

V

Иные, я слыхал, жалуются на то, что занятия и жизнь сельского учителя крайне монотонны. Сам человек придает своим занятиям тот или другой характер, сам складывает жизнь, дает ей смысл и значение. Человек на отмежеванном ему судьбой клочке земли может или посеять пшеницу, или развести терния и плевелы... Самую отчаянную монотонность человек может превратить в самое живое разнообразие. Средства для такового превращения у человека всегда под рукой: они, главным образом, в нем самом, а затем уже в окружающей его среде.

При добром желании, при стараниях и энергии каждое действительно полезное дело можно сделать живым и разнообразным. Стоит только перестать относиться к миру с чиновничьей точки зрения и осознать себя общественным работником.

Представлю здесь краткий сжатый очерк моего времяпрепровождения.

С девяти часов утра начинались занятия в школе; в двенадцать я завтракал и урывками читал газету; с часу до четырех продолжались занятия в школе. В четыре часа я обедал с книгой по одну сторону прибора, ибо повторяю: я мог находить время для чтения лишь урывками. После пяти ко мне приходили за книгами деревенские грамотеи — взрослые крестьяне и парни из нашего селения и из соседних деревень. Таких читателей у меня было около трех десятков.

Всего охотнее, помню, читались: чья-то книга «О грозе», «О деньгах», «Откуда пошла русская земля» (может быть, заглавие было как-нибудь иначе), «Год на Севере» С. В. Максимова и другие книги того же автора, рассказы А. И. Левитова, «Безоброчный» Нефедова, «Батрачка» Бельского, стихотворения Никитина, Кольцова.

Книг у нас было немного — заглавий до двухсот, т. е. триста экземпляров с чем-то, но я надеялся с каждым годом расширять библиотеку.

Библиотека при сельской школе составляет насущную интеллектуальную потребность деревенской жизни. Где же и быть деревенской публичной библиотеке, как не при школе? Не устраивать же ее при волостном правлении, где никто не в состоянии дать объяснений и указаний, иногда настоятельно требуемых читателями. Библиотека может и должна служить постоянною связью между учителем и деревней, между школой и бывшими ее учениками. Школа с библиотекой должна быть центром жизни деревни — таким местом, куда каждый крестьянин и крестьянка, старый и малый, богатый и бедный могли бы обращаться с запросами по поводу разрешения всяких недоразумений.

Ныне школа стоит особняком от деревни и на все лето, т. е. на треть года, если не более, порывает с деревней и последнюю связь. Ныне мальчик, по окончании курса уходя из школы, забывает и дорогу к ней. Этого не должно быть в интересах народного просвещения. Ныне деревенский парень, кончивший курс в школе, не находя порядочных, полезных книг для чтения, за неимением библиотеки, и не находя возможности покупать их, должен поневоле ограничиваться всякою случайно попавшею ему в руки печатною дрянью — иногда просто глупою книжонкой вроде, например, «Проказиицы Нади», а иногда книжонкой и безусловно вредной, или же должен оставаться вовсе без книги. (Не должно упускать из виду, что ныне, с успехами типографского дела, «печатная дрянь» широким мутным потоком заливает книжный рынок, так что дешевые, но ценные по существу издания совершенно тонут в этом грязном омуте: на одну порядочную книжку приходится до полусотни таких книг, которым не следовало бы и появляться на свет).

Вследствие вышеуказанных обстоятельств и происходят печальные явления рецидивизма безграмотности. Для того чтобы школа до конца доводила свое благое дело, необходимо, нужно иметь ей при себе библиотеку.

Выдача книг и разговоры по поводу их занимали иногда час времени, — случалось меньше, случалось и больше. Затем я обдумывал порядок занятий на завт-

ра, вносил заметки в свой журнал, писал письма и — если оставалось время — читал. Иногда вечером я ходил в «большой дом», навещал своих хозяев; иногда же ко мне приходил какой-нибудь крестьянин, а то и несколько человек за раз. Сторожиха ставила самовар, и мы за чашками чая иной раз до поздней ночи гуторили о том, о сем: я рассказывал о городе, о городской жизни и о жизни в дальних иностранных краях; собеседники мои говорили мне о своих деревенских делах, толковали иной раз о школе.

В то же время, т. е. когда я был сельским учителем, мною были набросаны начальные главы моего первого романа «Хроника села Смурина» (впрочем, этою работой мне удавалось заниматься только ночью).

Окружавшее в ту пору дало мне материал для создания некоторых образов и сцен в этом первом моем романе; отчасти также материал дали мне для этого романа кузнечные артели, с которыми я ознакомился в начале же 70-х годов, во время моих странствований по Тверской губернии для изучения артельного дела вообще...

С декабря месяца, как уже сказано, по воскресеньям и четвергам открылись у меня в школе вечерние курсы для взрослых рабочих. По воскресеньям утром, кроме того, ко мне являлись с просьбами написать «письмецо». До моего приезда, конечно, был же у них кто-нибудь, писавший им письма, но этот «писатель», вероятно, собирал с них за свое писанье копеечки или брал натурой. Я же, разумеется, мог оказывать им эти услуги бесплатно и без всяких затруднений, так как день был праздничный и время свободное. Диктовавшие мне письма волей-неволей должны были иногда посвящать меня в разные более или менее интимные стороны своей семейной жизни. Меня просили «никому не сказывать», и я, таким образом, являлся как бы в роли носителя чужих маленьких тайн, впрочем, интересных более лишь для тех, кто хранил их за «тайну».

Все эти обстоятельства ставили меня близко к народу. На меня не смотрели как на барина, на чиновника, но считали своим человеком, готовым со всяким и побеседовать по душе, и оказать услугу, и поучить коечему. Занять такое положение для сельского учителя — весьма важно. Но нужно знать границу, до которой можно брататься или, как говорится, «сливаться» с

народом. Нельзя идти вместе с народом, когда он, например, пьянствует и сквернословит, когда собирается мазать у соседей ворота дегтем, когда во время падежа скота заставляет баб ночью в одних рубахах «опахивать» деревню, или когда он собирается жечь «колдунью», или убивать конокрада...

Я с крестьянами держался совершенно запросто, как с ровней, пил с ними чай, делил хлеб-соль, беседовал с ними решительно обо всем, о чем они со мной ни заговаривали, но водки с ними не пил и ругательства обрывал на полуслове. И крестьяне скоро узнали, что я водки не пью и пьяных не терплю, а поэтому пьяные ко мне и не показывались; только как-то в праздник крестьяне однажды под хмельком заходили ко мне — звать меня к себе в гости.

Впрочем, такое мое отношение к водке и к пьяным не произвело ни малейшего охлаждения между мной и крестьянами, а со стороны женщин даже снискало мне самое горячее одобрение и похвалы. Ведь и между крестьянами не все же пьют и сквернословят, и за то односельчане хуже не относятся к ним. Строгостью жизни, ригоризмом не оттолкнешь от себя крестьянина; отталкивает его посматриванье на него свысока, желание морализировать, читать ему проповедь — одним словом, народ не может лишь терпеть ханжей и лицемеров и чутьем быстро угадывает Тартюфа, под каким бы костюмом он ни прятался...

Бывали и такие случаи, когда крестьяне приглашали меня на сходки, в качестве как бы эксперта, истолкователя по тому или другому вопросу. Такое приглашение служило доказательством высшего доверия, какое только крестьяне могли оказать человеку, не принадлежащему к крестьянскому миру.

Помню живо первый такой случай из моей практики. Сходка собиралась вечером в избе одного из «стариков», которому, впрочем, как часто случается, было не более сорока пяти—сорока шести лет. («Стариками» называются хорошие, добропорядочные домохозяева, — стары они или молоды, богаты или бедны — все равно. В иных местностях «стариками» звали прежде сельских судей). За мной зашли два крестьянина. С минуту я колебался: идти или нет? Могу ли я быть на крестьянской сходке и говорить — хотя бы только с правом совещательного голоса? Нравственное право было за мной;

мне даже казалось совестно не пойти на такой зов. И я пошел...

Замечательно, как иногда ярко запечатлевается в памяти какая-нибудь отдельная сцена, картинка, выхваченная из ряда дней серой, обыденной жизни!

Как теперь вижу: был ясный морозный зимний вечер. В избах кое-где мерцали красные огоньки. Я шел по опустелой, безмолвной деревенской улице, залитой на ту пору серебристым лунным светом. Снег скрипел под ногами, искрился, блестел; искрились и блестели при сиянии месяца деревья, опушенные инеем. Ярко сияли звезды в далекой синеве небес над безмолвным селением, занесенным снегом, над безмолвными полями, задернутыми снежной пеленой, искрившейся в месячных лучах... Избы казались совсем темными, и густая, черная тень ложилась от них на одну сторону дороги.

Я шел молча; молча шли рядом провожатые — дюжие, рослые молодцы с разбойничьими физиономиями, нравом кроткие и смиренные, как агнцы. Мне, помню, тогда еще подумалось: «Мы — точно заговорщики!»

Когда мы пришли, в избе уже стон стоял, и в синеватом дыме махорки виднелись раскрасневшиеся лица, оживлением блестевшие глаза, и явственно слышались лишь отрывочные восклицания. Жестяная небольшая лампочка с закоптелым стеклом на столе и мутным красноватым светом озаряла распахнутые азямы, красные и синие пестрядинные рубахи, головы со всклокоченными волосами, большие густые бороды... далее — закоптелые черные бревенчатые стены, полати и с полатей свесившиеся белокурые детские головы.

В дальнем углу избы сидела очень древняя старуха, все что-то бормотала себе под нос, охала и зевала. Неподалеку от нее молодая женщина пряла, качая ногой колыбель, задернутую рваным пологом.

Сходка собралась для того, чтобы привести в известность, много ли крестьяне переплатили лишнего оброку своему бывшему помещику. Надо было сделать учет, так как при сборе оброку вообще вышли какие-то недоразумения, надо было составить приговор и написать барину письмо «миром», т. е. в виде коллективного заявления... Сходка затянулась до поздней ночи, но все-таки письмо написали, приговор составили, и староста приложил к нему печать.

Люди, не посвященные во все подробности крестьян-

ских дел, — люди, даже, прямо сказать, мало знакомые с укладом народной жизни, принимаясь описывать крестьянскую сходку, изображают ее в виде беснующейся зря, бушующей толпы. Подобные наблюдатели, конечно, не в состоянии уловить общего смысла речей, часто перекрещивающихся между собой: они не знают подробностей дела, и общий смысл ускользает от них. Наблюдатель видит только, что люди целые часы топчутся на одном месте, кричат, шумят, как будто даже ругаются, хватают друг друга за руку, за плечо, то на минуту стихают, то вдруг с удвоенной яростью начинают кричать и жестикулировать. Члены сходки понимают каждый намек, понимают один другого с полуслова, а наблюдателю, не разумеющему этих намеков и полуслов, начинает казаться, что люди как будто говорят на каком-то тарабарском, непонятном для него языке.

И вот посторонний наблюдатель заносит в свою тетрадь впечатление, произведенное на него крестьянской сходкой: «Столпотворение вавилонское! Шумят, галдят, друг друга не слушают, перебивают. Не видал ничего безобразнее крестьянского схода!» Благодаря таким наблюдателям-верхоглядам в известной среде образованного общества и слагается такое мнение, что наши крестьянские сходы — нечто в высшей степени бестолковое и сумбурное... Замечу только, что я никогда не слыхал, чтобы крестьянский сход когда-нибудь закончился рукопашной свалкой.

А затем, в виде параллели, я напомню о том, как иногда ведут себя интеллигентные люди, когда речь заходит о каком-нибудь животрепещущем вопросе, о жгучем вопросе, близко касающемся интересов той или другой общественной группы, — я напомню, как эти благовоспитанные, просвещенные граждане ведут себя иногда во время прений в своих кружках, в собраниях обществ — ученых и иных, в земских собраниях, в собраниях городских дум, наконец, в парламентах, где таковые имеются (в таких, например, как английский — старейшее и самое почтенное из народных собраний, или как французский), куда страна (в принципе, по крайней мере) посылает весь цвет и блеск своей интеллигенции и где тем не менее министры, для вразумления своих собратов по собранию, представителей народа, не находят более убедительных доводов, как пощечины и подзатыльники...

Не станем же лучше и заикаться о безобразии и бестолковости наших крестьянских сходок!..

Я не мог пожаловаться на монотонность моего существования: жизнь моя была полна интереса и самого разнообразного содержания. Допустим, мое положение, в роли сельского учителя, было несколько исключительное. Я пришел в школу уже в то время, когда знал деревню, когда народ со всем его складом духовной и внешней жизни, с его взглядами и мировоззрением, с его нуждами и потребностями, с его радостями и горем не был для меня тем таинственным незнакомцем, каким он был и остался для многих моих сверстников и коллег.

Иные кичатся знанием народа, выставляют это знание как бы заслугу, как некий патент на получение каких-то особенных привилегий при собеседовании о том или другом вопросе из народной жизни. Для меня же знание народа было совершенно естественным последствием всей моей известным образом сложившейся жизни. Я никогда не поставлял себе задачей изучение народа, никогда я не смотрел на народ как на объект, подлежащий исследованию, никогда я не подходил к народу с заранее выработанной программой «для собирания сведений», но я был бы совсем неумным человеком, если бы не узнал народа, целые годы — с раннего детства — живя с ним вместе. Я никогда не смотрел на людей из народа как на каких-нибудь замечательных козявок, которых нужно рассматривать чуть не под микроскопом, а затем, уехав в Москву или в Петербург, писать в журналах по поводу их глубокомысленные трактаты или весьма легкомысленные повести и рассказы. Мне всегда казалось странно, когда иной исследователь открывал Америку, бывшую до той поры неизвестной лишь ему и расположенным к нему критикам.

Конечно, я не всегда сидел с народом на трехногой скамье, в курной хате, не всегда питался хлебом из лебеды или из ильмовой коры, но тем не менее с малых лет я сживал с ним и в курной избе, и в овине у дотлевавшей теплины, спал с ним в степи и в лесу у разведенного костра, ночевал с ним и в землянках на берегу Волги, ел и «лебедовый» хлеб, и знаю вообще вкус той пищи, какую он ест, на опыте знаю всю тяжесть его работ в лесу и на поле — во все времена года. С малых детских лет я жил среди народа, узнал

его и полюбил, узнал его слабость и мощь — одним словом, узнал его настолько, насколько возможно узнать его человеку, по своему общественному положению стоящему вне крестьянской среды.

Так, положение мое в роли учителя было несколько исключительное вследствие моего близкого знакомства с деревней. Но, мне думается, и каждый сельский учитель при добром желании — если не вдруг, то мало-помалу может занять в среде деревенского населения такое же положение, какое удалось завоевать мне.

VI

Зима в тот год встала рано: с половины ноября затрещали морозы. Тут-то одно из неудобств школьного здания и дало себя почувствовать. Оказалось, что полы были не сколочены, на чердак земли не наношено, от окон дуло. Напрасно я топил свою большую русскую печь, напрасно я жарил ее; стужа была страшная... Ребята в школе сидели в шубах и в полушубках, я дрог в своем пледе. В это время я попростудился; заболели зубы и не давали мне покоя ни днем, ни ночью. Недели две я чувствовал себя совсем несчастным человеком.

В половине декабря С. А., на возвратном пути из Петербурга, заезжала в наш уездный город и вечером же в день своего приезда, придя ко мне в школу, заявила, что я оставаться учителем не могу... (Я не был утвержден в звании учителя). Приближались святки, и было условлено, что дня за три до рождества я распущу учеников на праздник и объявлю, что уезжаю в Петербург.

Пришлось укладывать свои малые пожитки и собираться в путь: всю жизнь, кажется, мне только и приходилось распаковывать и запаковывать свой чемодан и собираться в путь. Я так привык к тому, чтобы судьба перебрасывала меня из угла в угол, не давая мне покоя в сем мире, что мне даже кажется странным, когда приходится прожить месяцев шесть-восемь на одном месте.

На этот раз, признаться, с грустью оставлял я школу. Я уже попривык к делу, начал сживаться с людьми, успел привязаться к своим ученикам, полюбить их, да и они уже успели попривыкнуть ко мне. Кто заменит

меня? Добрый ли то будет человек? Сумеет ли он любовь к идее слить с гуманностью, с нежным, участливым отношением, необходимым для живой, впечатлительной детской натуры так же, как необходимы тепло и свет для распускающегося цветка? Легко заставить ребенка спрятаться от нас, уйти в самого себя и, словно за семью печатями, скрыть от нас свою душу...

Тяжело видеть, когда хорошо начатое дело ускользает от нас в другие руки и гибнет. Конечно, тяжело бывает и тогда, когда дело рушится, находясь у нас в руках, но в последнем случае некоторым утешением служит, по крайней мере, то обстоятельство, что человек может и сам пасть и погибнуть под развалинами рухнувшего здания, так же точно, как знаменосцу легче умереть со знаменем в руке, нежели, умирая, видеть знамя в руках неприятеля... С такими горькими думами собирался я в путь.

Слухи и без помощи газет разносятся быстро; слухи, как известно, иногда каким-то странным таинственным образом даже предупреждают имеющий совершиться факт.

Стали похаживать ко мне мои ребятишки и крестьяне. Спрашивали: правда ли, что я уезжаю в Петербург? Не желая никого морочить, я прямо говорил, что уезжаю и уже не возвращусь. Вопросы сделовали далее, и нужны были объяснения.

Оставляя школу, я вывел одно, по моему мнению, весьма важное и отрадное заключение: из числа людей, не принадлежащих к крестьянству, но живущих в деревне, сельскому учителю всего легче (и всего естественнее) сделаться человеком самым близким и влиятельным по отношению к деревенскому миру. Вопрос лишь в степени умственного и нравственного развития учителя, в его взгляде на его права и обязанности, в его миросозерцании. Только один священник мог бы соперничать с учителем в этом отношении, но священник, как известно, вследствие различных обстоятельств материалистического свойства иногда, к сожалению, встает в весьма натянутые отношения к крестьянам. Учитель же в материальном отношении поставлен в более независимые условия.

Накануне отъезда, после урока, на прощанье я рассказал притчу об умиравшем старике, об его сыновьях и о венике и убеждал моих учеников жить

дружно, мирно и любовно, поддерживать друг друга, не выдавать в беде... В последний раз погладил я маленького Ваню по его льняным волосам, наскоро простился с учениками, сказал им в утешение, что без учителя они не останутся, и ушел из класса — с тем, чтобы уже не возвращаться в него.

На этот раз тихо, без шума, без обычных возгласов: «Прощайте! Прощайте, П. В.! До свиданья! До утречка!» разошлись мои ребята из школы, но долго еще топтались они в сенях, как будто о чем-то совещаясь, прежде чем разбрелись по домам.

Я просил ямщика приехать за мной в семь часов утра, еще до рассвета; мне хотелось уехать из М. пораньше, пока деревня еще спала. Ночь я провел плохо (а если бы мне было дано знать будущее мною оставляемой школы, ночь я провел бы еще хуже)*, поднялся я в пять часов, напился чаю и, перекинув через плечо свою дорожную сумочку, уселся на чемодан в ожидании лощадей. В восьмом часу подкатил ямщик — один из моих хороших знакомых.

На небе еще чуть брезжил рассвет. Когда я вышел на крыльцо, сердце мое екнуло и забилось шибко-шибко... При свете предутренних сумерек я увидал около саней толпу школьников, десятка два-три мальчиков и девочек.

Шестьдесят лет в мировой истории — один момент: в жизни же человеческой шестьдесят лет — большое время, шестьдесят лет прожить — не поле пройти за сохою. Всего бывало на моем веку: переживал я, как и всякий, минуты радости и горя, минуты уныния и минуты торжества, но редко в течение этих шестидесяти лет я бывал так глубоко растроган, как в эти серые предрассветные сумерки декабрьского дня.

Мне было больно, было жаль этих малюток... Ведь я уже знал, что более не возвращусь к ним никогда. Без меня они вырастут, без меня судьба разбросает их на разные стези жизни. Иной из них станет пахать дедовскую ниву, иной уйдет на чужую сторону и потонет в городском омуте; иному, может быть, предстоит светлая доля, иному — тяжкий крест до могилы. Я уже знал, что жизнь наша — ряд свиданий и разлук, а все

* Учитель Гамов, сменивший меня в школе, был арестован, а школа была закрыта администрацией.

же мне было горько в те минуты... В то же время мне было и отрадно сознавать, что эти малютки не забудут меня и, очевидно, не станут поминать меня лихом. Кто их созвал к школе ни свет ни заря? Не по приказу, не по чьему-нибудь наущенью — «ломать комедию», но сами, по доброй воле собрались эти крестьянские ребята проститься еще раз со своим учителем... Добровольно. Вот что было дорого и так растрогало меня.

— Приезжайте, П. В.! — плаксиво говорили они. — Возвращайтесь к нам!..

Я расцеловал их...

Пара бойких коней уносила меня вдаль от моей школы. Колокольчик гудел под дугой. По сторонам расстилались белоснежные поляны, темнели леса, — и было все тихо, безмолвно вокруг.

На востоке, где осталась моя школа, на горизонте уже светлела полоса, разгоравшаяся с минуты на минуту красноватым светом, а там, на западе, куда я держал путь, предрассветными тенями, как темно-синим туманом, была задернута даль — так же, как и мое будущее, ожидавшее меня там, в этой темно-синей дали...

МОЕ ЗНАКОМСТВО С М. Е. САЛТЫКОВЫМ

В течение 1873 года, отрываясь лишь для небольших текущих дел, я работал над повестью «Печать Антихриста» — из деревенской жизни. Работал я над ней с увлечением, и «зеленую» тетрадь с этой повестью в своих странствованиях по России я возил с собой. Как только находилось время, днем и ночью — в минуты бессонницы, я раскрывал тетрадь и брался за карандаш. Писал я эту повесть и в Петербурге, и в Москве, где был проездом, и в Усмани, и в селе Никольском-Кабаньем (в усадьбе Н. И. Кривенко), и даже в вагоне. Я кончил ее в начале марта 1874 года, и целый месяц после того я еще сидел над нею, перечитывая и раздумывая над некоторыми ее страницами.

В начале апреля я отнес повесть в редакцию «Отечественных записок» и отдал ее Некрасову. Мне предложили прийти за ответом через три недели. В этот раз я видел в редакции, кроме Некрасова, лишь А. Н. Плещеева, бывшего секретарем «Отеч. записок»:

я пришел рано, когда ближайших сотрудников Некрасова еще не было в редакции.

Через три недели, придя за ответом, я застал в сборе всю редакцию. Тогда, кроме Некрасова и Плещеева, с которыми я был уже знаком, я в первый раз увидал: Салтыкова, Елисеева, Демерта, Михайловского, Скабичевского, Ник. Курочкина...

— Вашу рукопись я передал Салтыкову... Он читал ее! — сказал мне Некрасов. — Вот я сейчас познакомлю вас, и вы переговорите с ним... Михаил Евграфович! — крикнул он своим слабым надтреснутым голосом.

Салтыков в ту минуту стоял с Плещеевым у окна. На зов Некрасова он оглянулся вполоборота и тяжелой, неторопливой поступью пошел к нам.

— Вот, Михаил Евграфович, автор «Печати Антихриста» ...Сдаю вам его с рук на руки! — добродушно-шутливым тоном промолвил Некрасов и, пожав мне руку, отошел к бильярду, где его ожидали какие-то посетители.

Первое впечатление, произведенное на меня нашим знаменитым сатириком, было не особенно приятное. Его серьезное лицо, густые нахмуренные брови, большое pince-nez* в темной черепаховой оправе, сердитый взгляд, как мне показалось, словно с недовольством надутые губы — не понравились мне. Его глухой голос, говор, ворчливый тон, жесты — все в нем мне показалось грубо, отпугивало меня. Он напомнил мне одного строгого директора гимназии.

— Мы берем вашу повесть... — проворчал он, не спуская с меня глаз и поблескивая своим ужасным pince-nez. — Только вот насчет заглавия... «Печать Антихриста»... Что такое!.. Надо переменить... Что это за «печать»!**

Я ему возразил, что из повести ясно видно, что это за «печать».

— Так-то так, да все-таки неловко... — продолжал он. — Лучше — попроще... Надо придумать что-нибудь другое... А то бог знает что — «Печать Антихриста»!

---

* Пенсне *(фр.)*.

** Конечно, нельзя требовать, чтобы через тридцать лет я помнил и передавал буквально происходившие разговоры, но смысл и тон их я хорошо помню и стараюсь, сколько могу, передавать их с приблизительной точностью.

Испугать можно... Да что ж мы... пойдем сядем! — перебил он себя на полуслове и увел меня в глубину комнаты.

Несколько секунд мы сидели молча.

— Ну, например, скажем, «История села Смурина»? — подумав, предложил Салтыков.

— «История села Горюхина» Пушкина... — заметил я.

— Гм! Да... положим... — проворчал мой собеседник. — Ну, «Летопись»... «Хроника», что ли...

Так мы и порешили.

— Вот еще что... — заговорил Салтыков. — Не можете ли вы подписаться псевдонимом... Вы до сего времени работали в «Деле», у Благосветлова, и теперь вдруг появитесь у нас...

— Но ведь, я полагаю, оба эти журнала прогрессивного направления! — отозвался я.

— Да, но... все же мы разных, как говорится, лагерей, не одного прихода... Знаете, как-то неудобно... Нет, уж вы, пожалуйста, изберите какой-нибудь псевдоним, на первый раз! — настаивал Салтыков.

Я обещал придумать псевдоним и сообщить ему.

Для меня было совершенно безразлично, как ни подписать повесть, и через несколько дней я написал Салтыкову, чтобы он под рукописью вместо моей фамилии поставил «Вологдин». Таково было происхождение моего псевдонима, которым я впоследствии часто пользовался.

Кратко переговорили об условиях: кроме гонорара, редакция была должна сделать мне отдельное издание «Хроники» (в количестве 1200 экз.).

По окончании делового разговора Мих. Евг. вдруг оживился, «опростился», редакторская суровость слетела с него, и сатирик-громовержец обратился в приятного, веселого и очень для меня симпатичного собеседника. При виде такой чудесной метаморфозы я подумал: вот уж именно «наружность иногда обманчива бывает, иной — как зверь, а добр, тот ласков, а кусает...» В жизни не раз мне вспоминалась эта мораль крыловской басни.

— А ведь я узнал в Вашем романе одного из наших тверских земцов! — с улыбкой заговорил Мих. Евг. и назвал одну фамилию.

Я сказал, что он угадал, что я именно это лицо имел в виду.

— Похож, похож! — говорил Салтыков.

Поговорили о тверских земских деятелях.

Потом Мих. Евг. поинтересовался узнать: с кого списан Кряжев*, из жизни какой местности взяты мною факты, кто такая Лизавета Петровна*, действительно ли у меня есть письмо Лисина*, с кем еще из тверитян я знаком и т. д.

Проговорили мы битый час, если не дольше.

«В первый раз он может напугать, — думал я, идя из редакции в свой Тюремный переулок. — Но он только с виду суров и мрачен... Он добрый!»

Так, приблизительно, срезюмировал я впечатления, полученные мною при первом знакомстве с М. Е. Салтыковым.

В письме от 20 мая Салтыков, между прочим, сообщал мне: «Что же касается до Вашей рукописи, то извините меня: я еще не успел приступить к ее редактированию. Но прошу Вас быть уверенным, что я в ущерб ей ничего не сделаю. Об одном считаю долгом предупредить Вас: времена тяжелые наступили, и 5-й № «Отеч. записок» арестован и, вероятно, будет сожжен. Рукопись Вашу я беру в деревню, куда выезжаю в субботу. Мы думаем начать печатание ее с августовской книжки»...

II

Как-то в конце мая, придя на Николаевский вокзал за какими-то справками, я встретил Некрасова и Салтыкова, медленно ходивших по платформе. Я несколько раз прошелся с ними взад и вперед. Оказалось, что Мих. Евг. провожал в деревню свою семью, но жена его с детьми еще не приехала на вокзал.

— И вы скоро поедете в деревню? — спросил я его.

— Да, скоро... — ответил он. — И рукопись вашу увезу с собой... еще перечитаю все... посглажу кое-где... Но вы, пожалуйста, не беспокойтесь! Я ведь не испорчу...

Вскоре после того и я уехал на лето к родным, в Вологодскую губернию.

Осенью, по возвращении в Петербург, я стал большею частью видаться с Мих. Евг. у него на квартире, в его рабочем кабинете. Тут я окончательно убедился, что под

---

* Действующие лица моего романа.

этой суровой, мрачной, угрюмой наружностью скрывался очень добрый, даже мягкий человек...

Однажды, помню, я застал его не совсем здоровым и в ворчливом настроении духа: вышли какие-то неприятности с цензурой.

— Вчера я перечитывал последнюю главу вашей «Хроники»... — сказал он, хмуро посматривая на ворох лежавших перед ним корректурных листов. — Невозможно ее пускать... я сократил ее! Жаль, а сократил...

— В отдельном издании, Михаил Евграфович, я восстановлю все, что вы из этой главы выбросите! — самым решительным тоном заметил я.

— Восстановляйте, восстановляйте! Сделайте милость... — насмешливо промолвил Мих. Евг., сердито комкая корректуры и что-то разыскивая под ними. — Одной сожженной книгой будет больше, а вы при своей храбрости останетесь... Что ж, восстановляйте! Дело ваше...

Он вытащил из-под корректуры мою уже растерзанную «зеленую» тетрадку и прочитал вслух несколько отрывков из последней главы.

— Ну, что ж? — спросил он меня. — Вы находите, что так можно. А? Вы думаете, те... черти-то цензурные — олухи, что ли? Вы думаете, им это понравится?.. Они за последнее время точно белены объелись... Рассказывал я вам, как они на майскую-то книжку набросились...

— Да, но у меня-то в последней главе что уж такого особенного!.. — начал было я убеждать Мих. Евг., но он перебил меня.

— Гм! «Что особенного! Что особенного!» — передразнивающим тоном заговорил он. — Младенец вы... оттого и не боитесь! А вот поживите с мое... да еще с ответственностью за журнал... — И он выразительно махнул рукой.

Из последней главы моего романа Салтыков оставил лишь одну страницу. Все пропущенное им, как я сказал, мною было восстановлено в отдельном издании.

В последних числах декабря «Хроника села Смурина» была послана в цензуру.

Начальник Глав. Упр. по делам печати перед тем только что умер, другой не был еще назначен, и книга моя попала в цензурное чистилище во время смут междуцарствия.

Кажется, 4 или 5 января 1875 года «Хроника» поступила в мое распоряжение или, как говорится, «вышла в свет». С торжествующим видом я принес книгу Михаилу Евграфовичу.

— Ну, счастлив ваш Бог! — сказал он, просмотрев окончание романа, за которое он так опасался. — Видно, под благоприятным созвездием вы родились... Рад, очень рад, что вышло так счастливо!

И было видно, что он не пустую фразу говорил, а действительно от души, искренно порадовался со мною по поводу того, что мою книгу «черти цензурные не слопали»...

ПОХОРОНЫ Н. А. НЕКРАСОВА

Был ясный морозный день.

На Литейной, у дома Краевского, где помещалась редакция «Отечественных записок» и жил Н. А. Некрасов, уже с восьми утра стали собираться толпы народа — интеллигенции и «простолюдинов». В то утро первым был принесен на гроб усопшего поэта венок «От русских женщин».

В начале десятого часа литераторы и учащаяся молодежь вынесли гроб из квартиры и решили нести его на руках до кладбища Новодевичьего монастыря. И шествие медленно двинулось по Литейной, по направлению к Невскому проспекту. Впереди несли лавровые венки с надписями: «От русских женщин», «Певцу народных страданий», «Бессмертному певцу народа», «Некрасову — студенты», «Слава печальнику горя народного» и др.

За гробом шли родственники покойного, литераторы, ученые, художники — вообще люди всех свободных профессий. Почти все литераторы, большие и малые, други и недруги, воздали дань почтения певцу горя народного. Здесь были представители всех литературных лагерей. Вокруг гроба Некрасова, можно сказать, собрались представители всей русской интеллигенции.

Многих из людей, известных русскому обществу, шедших в то утро за гробом Некрасова, уже давно нет в живых. Не стало Салтыкова, Достоевского, Елисеева, Дм. Гирса, Шеллера, Плещеева, Н. К. Михайловского, С. Максимова, Омулевского, Григоровича, Микешина, Данилевского и мн. др.

Тысячи народа шли за гробом. Вокруг гроба и вокруг несших венки молодежь составила цепь, и шествие могло беспрепятственно двигаться вперед. Но шли очень медленно. Похоронная процессия лишь в одиннадцать часов прибыла к технологическому институту.

Наконец, около часу дня, процессия достигла ворот Новодевичьего монастыря и здесь была встречена громадной толпой. Народу было тысяч пять или шесть. Проникнуть в церковь могла, разумеется, лишь самая незначительная часть собравшейся публики. В церкви профессор Петербургского университета, священник Горчаков, произнес надгробное слово и, между прочим, высказал ту мысль, что лучшим свидетельством заслуг Некрасова перед родиной служит собравшаяся вокруг его гроба молодежь...

На кладбище положительно происходила давка: лепились на памятниках, на решетках, на деревьях, кладбищенская ограда была усеяна народом. Едва ли когда-нибудь кладбище Новодевичьего монастыря видело в своих стенах такую громадную толпу народа...

После того как гроб опустили в могилу и в последний раз в тот день пропели «Вечную память», на кладбище водворилась мертвая тишина.

Заговорил Панаев... В течение почти сорока лет он был близок с Некрасовым. По-видимому, он был сильно взволнован, говорил с паузами. Я плохо, урывками слышал его речь.

Я забрался на каменный приступочек решетки, окружавшей чей-то памятник, и стоял, держась одной рукой за решетку, а другою придерживая на плечах плед. Мороз крепчал, пощипывал уши, щеки и сильно давал мне себя чувствовать через довольно легкое пальто. Вздрагивая от холода под своим пледом, я невольно вспомнил некрасовское стихотворение «Баюшки-баю», в котором мать, убаюкивая, ободряя и утешая умирающего поэта, говорит: «Я схороню тебя весною»... Нет! Не весною, но в лютую зимнюю стужу нам пришлось хоронить его. Не теплый ветерок веял в воздухе — ледяным холодом дышало на нас ясное голубое небо; не цветы вокруг нас расцветали, а деревья, покрытые инеем, как призрачные виденья, поднимались вокруг...

Вспомнив «Баюшки-баю», я подумал о том, как, должно быть, горячо поэт любил свою мать, если так

часто, так хорошо, так трогательно, с таким искренним, глубоким чувством вспоминал о ней в своих произведениях; если даже больной, исстрадавшийся, измученный злым недугом, томимый смертельной тоской, уже «перед ночью непробудной», поэт, вдохновленный воспоминанием о матери, оставил нам такое чудное стихотворение, полное грусти, нежности и силы, пророческое стихотворение...

Уступит свету мрак упрямый,
Услышишь песенку свою
Над Волгой, над Окой, над Камой...

Разве же это не пророчество, и разве это пророчество не исполняется?

Уже и теперь, если бы поэт мог слышать из мрака могилы, он услыхал бы свои песни кое-где «над Волгой, над Окой, над Камой»... А еще через немного лет его песни проникнут и в самые трущобные, глухие уголки обширной Руси...

В этот морозный декабрьский день, в то время, когда я вздрагивал от пронизывающего холода, в моем воспоминании ожило утро одного теплого майского дня. То было в 1874 году. Тогда я собирался ехать на родину и пришел на Николаевский вокзал навести какие-то справки о поездах. Выйдя на дебаркадер, я там встретил Некрасова и Салтыкова, медленно ходивших взад и вперед.

Теперь вся эта сцена с мельчайшими подробностями живо, ярко встала передо мной... Только что поданный поезд, еще запертые вагоны, почти пустынный дебаркадер, а там, вдали, куда убегали рельсы, — волшебный свет и блеск ясного весеннего дня... Некрасов в сером летнем пальто, в серой фетровой шляпе, несколько вялый и медлительный в движениях, но в ту пору еще здоровый и бодрый... Салтыков с pince-nez в темной черепаховой оправе, нахмуривший свои густые брови, по-видимому чем-то недовольный, строгий и суровый, как Юпитер-громовержец, а в действительности человек очень добрый, великодушный, гуманный...

После Панаева заговорил Ф. М. Достоевский. Говорил он прекрасно, выразительно, и слова его далеко были слышны отчетливо. Теперь, через много лет, конечно, я не могу припомнить его речь с буквальною точностью, но общий смысл ее был тот, что Некрасов

любил человека, что людские несчастья нашли живой отголосок в его произведениях, что Некрасов в поэзии поднял ту нить, что, умирая, выпустил из рук другой наш великий поэт, Лермонтов, что если бы Лермонтов пожил долее, то он, вероятно, сделался бы тем же, чем был для нас Некрасов... Помню, что Достоевский, протянув руки и указывая на могилу Некрасова, дрогнувшим голосом проговорил:

Замолкли звуки дивных песен,
Не раздаваться им опять,
Приют певца угрюм и тесен
И на устах его печать!

При этих словах об «угрюмом и тесном приюте» певца и при виде гроба, засыпаемого землей, мне (да, вероятно, и многим) подумалось в ту минуту о том, что, действительно, такой приют тесен для того, кто так любил простор родных полей, лугов, лесов тенистых, кто так тонко, так чутко чувствовал, понимал и умел передавать словами задумчивую мечтательную прелесть нашей северной природы...

После Достоевского говорил я. Своей речи я также теперь не могу воспроизвести в подробностях. Я говорил о том, что Некрасов был поэт-гражданин, поэт в лучшем, благороднейшем значении слова, что в его произведениях главным, всего слышнее звучавшим мотивом было живое сочувствие к человеческим страданиям, сожаление к тому, чему

Как будто появляться вредно
При полном водвореньи дня,
Всему, что зелено и бледно,
Несчастно, голодно и бедно,
Что ходит, голову склоня...

В заключение я напомнил о том, как Некрасов в одном из своих стихотворений говорит: «За каплю крови, общую с народом, прости меня, о родина, прости!»— «И она простила!» — сказал я.

Я вовсе не намеревался говорить, но заговорил по вдохновению, просто в силу потребности высказаться, говорил экспромтом, но речь моя, по-видимому, произвела впечатление.

Говорились еще речи, читались стихи, и особенно глубокое впечатление произвело стихотворение неизвестного мне автора:

Замолкла муза мести и печали...

Публика долго оставалась у могилы Некрасова и стала расходиться поздно, когда зимние сумерки уже набрасывали на кладбище полупрозрачные тени и в темно-синем небе вспыхивали звезды...

ПРИМЕЧАНИЯ

Хроника села Смурина

Роман П. В. Засодимского «Хроника села Смурина» опубликован в журнале «Отечественные записки» (1874, № 8—10, 12).

Работа над романом была начата осенью 1872 г. в селе Большие Меглецы Боровичского уезда Новгородской губернии. «Когда я был сельским учителем, мною были набросаны начальные главы моего первого романа «Хроника села Смурина», — писал автор. — Окружавшее меня в ту пору дало мне материал для создания некоторых образов в этом первом романе». (Засодимский П. Из воспоминаний. М., 1908, с. 259).

Активная работа над романом (первоначальное название «Печать антихриста») продолжалась в 1873 г. «В течение 1873 года я с небольшими перерывами писал роман из крестьянской жизни. Странствования по Тверской и Тамбовской губерниям, житие в вологодских деревнях и в новгородской глуши, житьё в крестьянской среде доставили мне материал для моего первого серьезного, большого труда,.. для которого большая часть действующих лиц и событий была выхвачена из жизни», — писал Засодимский в неопубликованной автобиографии (ИРЛИ, ф. 93, оп. 3, ед. хр. 529, л. 4).

Особенно важное значение имела поездка в Тверскую губернию летом 1872 г., когда по заданию Г. Е. Благосветлова Засодимский изучал работу сельских кооперативных учреждений (артельных сыроварен, кузнечных артелей и т. д.). Собранный материал был широко использован в «Хронике села Смурина». Некоторые факты для своего произведения писатель почерпнул из судебного процесса над псковским крестьянином Буруновым, который стал прототипом главного героя романа Дмитрия Кряжева.

В марте 1874 г. роман был закончен и в апреле передан в «Отечественные записки» Н. А. Некрасову (к этому времени Засодимский прекратил сотрудничество в журнале «Дело», так как между ним и редактором журнала Г. Е. Благосветловым обнаружился «принципиальный разлад»). Редактировать рукопись стал М. Е. Салтыков-Щедрин. В письме П. В. Засодимскому от 20 мая 1874 года он писал о «Хронике села Смурина»: «...прошу Вас быть уверенным, что я в ущерб ей ничего не сделаю. Об одном считаю долгом предупредить Вас: времена тяжелые наступили, и 5-й № «Отеч. записок» арестован и, вероятно, будет сожжен». (Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч., т. 18, кн. 2. М., 1976, с. 170). При встрече с автором Щедрин посоветовал ему дать роману новое название — «Хроника села Смурина» — и сказал, что кое-что ему придется «сгладить» и сократить во избежание столкновений с цензурой: «Вчера я перечитывал последнюю главу вашей «Хроники...» Невозможно ее пускать... я сократил ее! Жаль, а сократил...» (Из воспоминаний, с. 314). В результате в журнальном тексте осталась всего одна страница из последней главы. Придавая этой главе большое значение, Засодимский восстановил пропущенное в первом издании романа (1875).

Появление «Хроники села Смурина» стало значительным событием общественной и литературной жизни. На роман откликнулись печатные органы разных направлений: «С.-Петербургские ведомости» (1874, № 246 и 302), «Петербургский листок» (1874, № 234), «Сын отечества» (1874, № 249), «Неделя» (1874, № 40), «Киевский телеграф» (1874, № 121), «Новости» (1874, № 231), «Русский вестник» (1875, т. 115). Позднее с оценкой романа выступили критики П. К. Ткачев («Дело», 1879, № 7), М. К. Цебринова («Русская мысль», 1896, кн. II), А. М. Скабичевский («Новое слово», 1896, № 4).

Участник народнического движения Н. С. Русанов указывал, что «Хроникой села Смурина» зачитывалась молодежь 70-х годов. (Н. С. Русанов. На родине. М., 1931, с. 255). В 90-е годы XIX века ее с интересом читали участники социал-демократического кружка Иваново-Вознесенска (Кубиков И. Н. Рабочий класс в русской литературе. Иваново-Вознесенск, 1926, с. 63).

При жизни писателя, кроме указанного издания 1875 г., вышедшего с посвящением жене писателя А. Н. Засодимской, роман издавался еще трижды: в 1895 г. он был включен в двухтомное собрание сочинений Засодимского, в 1906 г. дважды вышел отдельными книжками, изданными «Товариществом М. Д. Орехова и К°» и — Вятским товариществом «Народная библиотека». В изданиях 1906 г. вместо посвящения был дан подзаголовок «Из жизни русского крестьянина». Последнее издание (Вятского това-

рищества «Народная библиотека») было заново отредактировано автором. Оно и легло в основу советских изданий «Хроники села Смурина», в 1956 г. (Вологда) и в 1959 г. (М.: ГИХЛ).

В настоящем издании текст романа печатается по изданию: Засодимский П.В. Хроника села Смурина. Послесловие С. А. Розановой. Подготовка текста и примечания А. И. Кучминой. М.: ГИХЛ., 1959. В примечаниях частично использованы комментарии к указанному изданию.

Выражаю сердечную благодарность внучатой племяннице Засодимских Татьяне Григорьевне Морозовой за ценные советы и помощь.

Стр. 26. *...ставил свечку за престол господу Саваофу...* — Саваоф — одно из названий иудейского бога.

Стр. 41. *Прочел он анекдоты о Балакиреве...* — Балакирев И. А.— придворный шут Анны Иоанновны. В 1830 г. К. А. Полевой издал сборник «Собрание анекдотов Балакирева», который пользовался большой популярностью в 60—70-е гг. XIX в.

Стр. 43. *...раздобылся книжечкой, к которой был приложен образец устава ссудо-сберегательного товарищества.* — Речь идет о книге «Где и как дешево добыть денег? Ссудо-сберегательные товарищества». Н. Ф., Спб., 1873.

Стр. 52. *Становой пил чай у отца Петра...* — Становой пристав — полицейский чиновник в России, в ведении которого находилось несколько волостей.

Стр. 87. *...он казался Самсоном.*—Самсон — библейский герой, обладавший огромной силой.

Стр. 88. *...портрет митрополита Филарета...*—Филарет (В. М. Дроздов, 1782—1867) — московский митрополит, проповедник и писатель. В 1868 г. И. П. Пожалостиным был сделан его гравюрный портрет.

...картина, изображавшая «Григория Отрепьева в корчме»... — Картина, написанная русским художником Г. Г. Мясоедовым в 1862 году; удостоена большой золотой медали.

Стр. 97. *Не хошь ли в носки...* — Картежная игра, в которой проигравшего бьют колодой по носу.

Стр. 124. *...рассказывал... о битве при Черной речке...* — Сражение у Черной речки произошло 4 августа 1855 г. во время обороны Севастополя.

Стр. 133. *...как Щеголев наводил пушки на неприятельскую эскадру...* — Щеголев А. П. — офицер, один из героев Крымской войны 1853—1856 гг. Лубочные картинки с изображением щеголевской батареи были широко распространены.

...как Александр Благословенный вступал в Париж. — Вероятно, гравюра Бовье «Въезд императора Александра I в Париж».

«Последний день Помпеи» — известная картина К. П. Брюллова (1799—1852).

Стр. 145. *Вон хошь наш мировой...* — Мировой посредник — правительственная должность, учрежденная в России по «Положению» 19 февраля 1861 г. для содействия размежеванию земли между крестьянами и помещиками. Обладал большой административно-судебной властью.

Стр. 151. *...бывая в консистории по делам.*—Консистория — коллегиальный церковный орган в России (с 1720 г.), осуществлявший управление и духовный суд в епархии.

Стр. 152. *...в местных «Епархиальных ведомостях»...* — Официальные печатные органы епархий, издававшиеся в губернских городах. «Домашняя беседа» — реакционная еженедельная газета, издававшаяся в Петербурге с 1858 по 1877 г. В. И. Аскоченским.

«Современные известия». — Полное название: «Современные известия политические, общественные, церковные, ученые, литературные и художественные» — консервативная газета, издававшаяся в Москве с 1867 по 1887 г. Н. П. Гиляровым-Платоновым, профессором Московской духовной академии.

Стр. 161. *...убитого на Малаховом кургане в день последнего приступа.* — 27 августа 1855 г. начался последний штурм Малахова кургана во время Крымской войны 1853—1856 гг.

Стр. 189. *...так швырнул чернильницей об стену, как едва ли швырял ею в черта и сам Мартин Лютер.* — Лютер Мартин (1483—1546) — вождь протестантизма в Германии, основатель лютеранской церкви, автор страстного памфлета против папы римского, отлучившего его от церкви.

Стр. 190. *...счел возможным поговорить о Шульце-Деличе.*—Шульце-Делич Герман (1808—1883) — немецкий буржуазный экономист и политический деятель. С 1849 года предлагал немецким рабочим и ремесленникам создавать кооперативные товарищества и ссудо-сберегательные кассы, видя в них единственный путь к избавлению от нищеты. Он считал, что кооперация позволит устранить социальные противоречия в рамках капиталистического общества. Идеи Шульце-Делича получили некоторое распространение в либеральных земских кругах.

Стр. 191. *...по ревизским сказкам составляют одну семью...* — Ревизские сказки — списки лиц, подлежащих обложению подушной податью и отбыванию рекрутской повинности в России XVIII — XIX веков.

Стр. 229. *...в казачихах у дяди из-за хлеба живет...* — Жить в казачихах — жить в батрачках.

Стр. 263. *...кулаки начали проповедовать из слов апокалипсиса.*— Апокалипсис, или «Откровение Иоанна», — одна из книг Нового за-

вета, содержащая пророчество о «страшном суде» и о «конце света».

Стр. 293. *...нечто среднее между полоумным и Иовом многострадальным.* — Иов многострадальный — мифический герой — праведник, образец веры и терпения. Рассказ об испытаниях, выпавших на его долю, изложен в «Книге Иова», включенной в Библию.

Из воспоминаний

«Из воспоминаний» — одна из лучших книг П. В. Засодимского. Создавалась она в течение длительного времени, начиная с 80-х годов. Завершена и опубликована в 1908 году. В ней писатель, оглядываясь на пройденный путь, освещает наиболее важные и значительные события своей жизни, рассказывает о встречах с замечательными людьми, которыми наградила его судьба (Г. Е. Благосветлов, Н. В. Шелгунов, А. И. Левитов, В. С. Курочкин, Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, Г. И. Успенский, А. И. Эртель, В. М. Гаршин), размышляет о литературе, о судьбах своей страны. В воспоминаниях ярко раскрывается личность автора, его преданная любовь к русскому крестьянству, к родному вологодскому краю.

В настоящее издание включены три отрывка из воспоминаний П. В. Засодимского. Текст печатается по книге: Засодимский П. Из воспоминаний. М., 1908.

Учительствую в сельской школе

Стр. 299. *Мой добрый знакомый, Ф. Н. Л., ...* — Ф. Н. Л. — Лермонтов Феофан Никандрович (1849—1878) — участник революционного движения народников, уроженец Вологодской губернии, из крестьян.

Стр. 300. *...барышня — С. А. Л.* — С. А. Л. — Лешерн фон Герцфельд Софья Александровна (1842—1898) — профессиональная революционерка, активная участница народнического движения, дочь генерал-майора, дворянка Новгородской губернии.

Стр. 302. *Купил я себе книжку Корфа о звуковом методе обучения...* — Корф Николай Александрович (1834—1883) — видный русский педагог и методист, автор «Руководства к обучению грамоте» (по звуковому способу), 6-е изд. М., 1874. Ушинский Константин Дмитриевич (1824—1871) — выдающийся русский педагог.

Все эти прелиминарные сообщения оказываются необходимыми... — Прелиминарный — предварительный.

Ночью приехал в Б., уездный городок... — Имеется в виду г. Боровичи Новгородской губернии.

... *село Б. М.* — село Большие Меглецы Новгородской губернии.

Стр. 303. ...*сослужцвец Клейнмихеля*... — Клейнмихель П. А. (1793—1869) — реакционный государственный деятель царской России, управляющий строительством Николаевской железной дороги.

... *жизнь вырабатывает самоотверженных Антигон*... — Антигона — героиня трагедий Софокла «Эдип в Колоне» и «Антигона» — олицетворение дочерней любви, долга и мужества.

Стр. 313. ...*обязательно по псалтири.* — Псалтырь (псалтирь) — одна из церковных книг, состоит из 150 песен, или псалмов.

Стр. 319. *Приближался храмовой праздник*... — Храмовой праздник — праздник в честь того события или святого, именем которого назван данный храм.

... *ввалился в школу причетник*... — Причетник — младший член церковного причта; псаломщик, пономарь.

Стр. 320. Максимов Сергей Васильевич (1831—1901) — русский писатель-этнограф. Левитов Александр Иванович (1835—1877) — русский писатель-демократ. Нефедов Филипп Диомидович (1838—1902) — писатель-народник. Бельский Н. — псевдоним Водовозовой-Семеновой Елизаветы Николаевны, детской писательницы.

Стр. 323. ...*ригоризмом не оттолкнешь от себя крестьянина*... — Ригоризм — суровое, непреклонное соблюдение каких-либо принципов, правил нравственности.

...*быстро угадывает Тартюфа*... — Тартюф — герой одноименной комедии Ж. Б. Мольера (1664) — тип лицемера и ханжи.

Стр. 329. Гамов Дмитрий Иванович — революционер-народник, активный член кружка «долгушинцев» в Петербурге.

Мое знакомство с М. Е. Салтыковым

Стр. 330—331. Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893) — известный русский поэт. Елисеев Григорий Захарович (1821—1891) — русский публицист, сотрудник «Современника», «Искры», «Отечественных записок» и др. изданий. Демерт Николай Александрович (1835—1876) — русский публицист, сотрудник «Искры», «Отечественных записок» и др. изданий. Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — русский литературный критик, публицист, один из теоретиков народничества. Скабичевский Александр Михайлович (1838—1911) — русский критик, историк литературы. Курочкин Николай Степанович (1830—1884) — поэт, сотрудник сатирического журнала «Искра».

Стр. 332. *«наружность иногда обманчива бывает, иной — как зверь, а добр, тот ласков, а кусает...» В жизни не раз мне вспоминалась эта мораль крыловской басни.* — Ошибка. Цитата из басни И. И. Дмитриева «Нищий и собака».

А ведь я узнал в Вашем романе одного из наших тверских земцов! — Имеется в виду Ф. И. Родичев — впоследствии один из лидеров кадетской партии.

Похороны Н. А. Некрасова

Свои первые впечатления о похоронах любимого поэта Н. А. Некрасова П. В. Засодимский изложил в письме к А. И. Эртелю от 31 декабря 1877 г. Очерк о похоронах Некрасова был написан к 25-летию со дня смерти поэта и опубликован в газете «Северный край» (1902, № 340) под названием «Погребение Н. А. Некрасова». Затем он был включен в книгу «Из воспоминаний».

Стр. 335. Гирс Дмитрий Константинович (1836—1886) — писатель. Шеллер (Михайлов) Александр Константинович (1838—1900) — писатель, автор многочисленных романов, рассказов и повестей, популярных в демократической среде. Омулевский (Федоров) Иннокентий Васильевич (1836—1884) — русский писатель. Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1900) — известный русский писатель. Данилевский Григорий Петрович (1829—1890) — писатель, автор исторических романов.

Стр. 336. Панаев Валериан Александрович (1822—1899) — двоюродный брат литератора И. И. Панаева, инженер путей сообщения.

Стр. 337. *Уступит свету мрак упрямый...* — Цитируется конец стихотворения Н. А. Некрасова «Баюшки-баю» (1877).

Стр. 338. *Замолкли звуки дивных песен...* — Неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта».

Как будто появляться вредно... — Строки из поэмы Н. А. Некрасова «Несчастные» (1856).

...За каплю крови, общую с народом, прости меня, о родина, прости... — конец стихотворения Н. А. Некрасова «Умру я скоро» (1867), неточно процитированный.

Стр. 339. *Говорились еще речи...* — После П. В. Засодимского выступили Г. В. Плеханов и рабочий, чье имя неизвестно.

...Замолкла муза мести и печали... — Автор стихотворения поэтесса М. Ватсон.

СЛОВАРЬ ДИАЛЕКТНЫХ И МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

Азям — верхняя одежда крестьян, имеющая вид долгополого кафтана.

Благочинный — священник, выполняющий административные обязанности по отношению к нескольким церквам с их приходами.

Блекотать — пустословить, говорить вздор.

Варзать — проказить.

Верея — столбы, на которые навешиваются ворота.

Взаболь — в самом деле, вправду.

Голбец — отгородка или чулан в крестьянской избе (возле русской печи) со спуском в подполье.

Жамки (жемки) — пряники.

Кантовать — здесь: кормить за свой счет, угощать.

Красоуля — большая кружка, ковш.

Лонись — в прошедшем году.

Олябыш — круглый пирожок из кислого теста.

Ономеднись, ономиясь — недавно, на днях.

Опричь — кроме.

Паужин — еда между обедом и ужином.

Поршни — обувь, сделанная из одного куска кожи или шкуры, по форме напоминающая лапти.

Поставец — невысокий шкаф для посуды.

Разварзаться — здесь: разойтись, порвать связь.

Разрюмиться — расплакаться.

Сомустить — соблазнить, прельстить, смутить кого-либо.

Сполщать — сбить, скосматить.

Струг — строгальный инструмент.

Сусло — пивной навар без дрожжей и хмеля.

Суслон — снопы, составленные на поле для просушки.

Сусляник — пряник, приготовленный на сусле.

Т а в л и н к а — плоская табакерка из дерева или бересты

У п о в о д — время работы в несколько часов, от одного отдыха до другого.

Ф а ш и н н и к — хворост.

Х о т у л я — походная котомка.

Ч и в ы й — щедрый, великодушный.

Ш у г а й — женская одежда в виде короткополой кофты с рукавами.

СОДЕРЖАНИЕ

Книга четвертая

Книга пятая

Из воспоминаний

Серия «Русский Север»

Павел Владимирович Засодимский

ХРОНИКА СЕЛА СМУРИНА

Редактор
А. А. ИВАНОВ
Художник
Р. С. КЛИМОВ
Художественный редактор
А. С. МАЗУРИН
Технический редактор
Н. Б. БУЙНОВСКАЯ
Корректоры
Н. Н. ГАВРИЛОВА
Н. С. ДУРАСОВА
Г. В. СМАГИНА
В. А. ФОКИНА

ИБ № 622

Сдано в набор 30.09.85 г. Подписано в печать 3.03.86 г. Форм. бум. 84×108/32 (бум. тип. № 3). Гарнитура «Литературная». Высокая печ. Усл. п. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 18,48. Уч.-изд. л. 19,175. Тираж 100 000. (1-й завод — 50 000). Заказ № 8215. Цена 1 р. 90 к.

Северо-Западное книжное издательство, Вологодское отделение, 160000, Вологда, Урицкого, 2.

Областная типография, 160001, Вологда, Челюскинцев, 3.

1 р. 90 к.